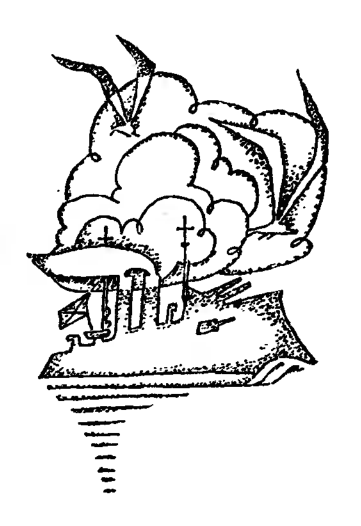


А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

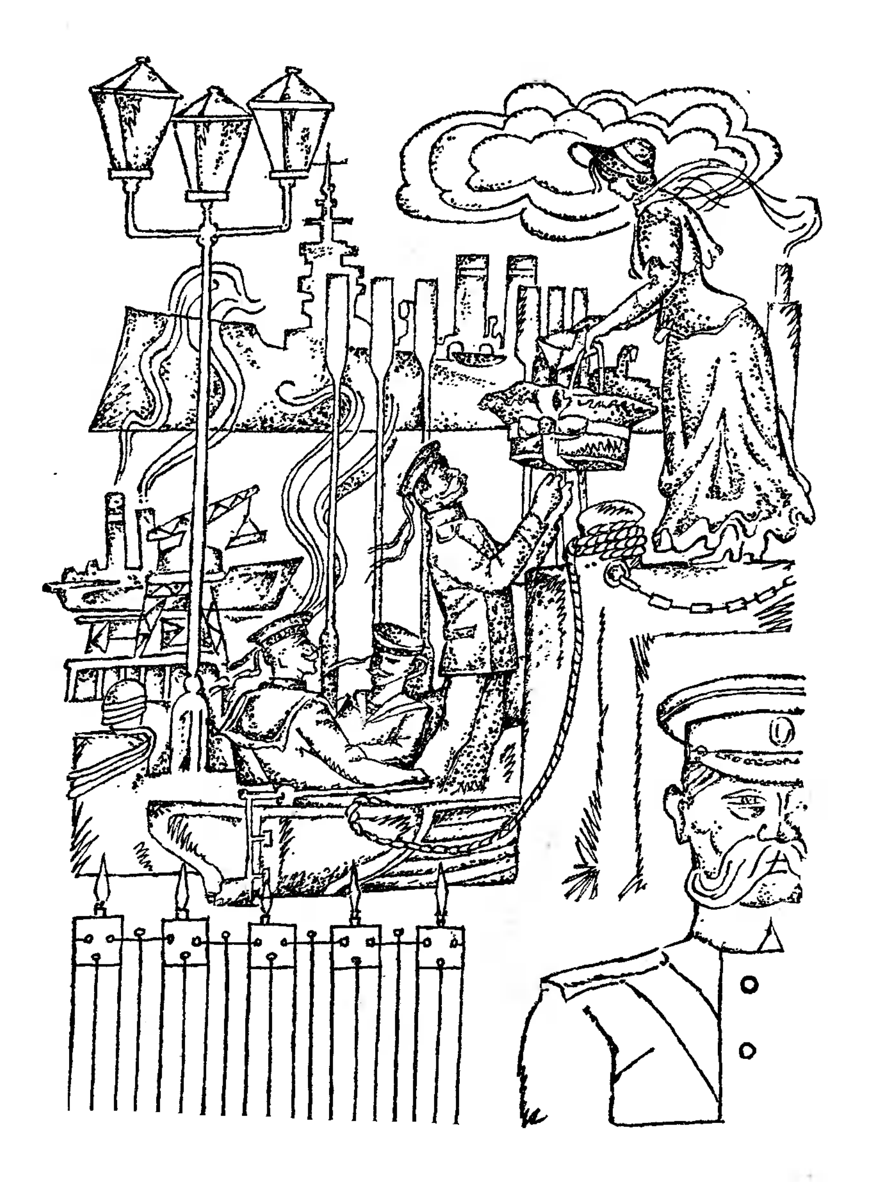
# В БУХТЕ „ОТРАДА"



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1977

Р2
Н 73

Текст печатается по изданию:
А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ
Собрание сочинений в пяти томах, т. 1, 5.
М., издательство «Правда», 1963.



РАССКАЗЫ

**Новиков-Прибой А. С.**

**Н 73** В бухте «Отрада». Рассказы. Роман. Составитель И. А. Новикова. М., «Моск. рабочий», 1977.

384 с.

В книгу Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877—1944) вошли рассказы «По-темному», «Подарок», «Шалый», «Певцы», «В бухте «Отрада» и др., а также роман «Капитан первого ранга», созданные писателем в разные годы,

Р2

Н $\frac{70302\text{-}301}{М172(03)\text{-}77}$ 186-77

# ПО-ТЕМНОМУ

## I

Грязный и жалкий трактирчик, какие бывают только в бедных кварталах. Почерневший потолок. Обои на стенах оборваны, висят клочками. Кое-где виднеются картины лубочного производства. В одном углу скучно тикают большие старые часы со сломанными стрелками. За несколькими столиками сидят извозчики, мелкие торговцы и рабочие. Отдуваясь, звучно прихлебывают из блюдечек горячий чай, пьют водку и жадно уничтожают дрянную закуску. За буфетом, облокотившись на руки, дремлет сиделец, толстый, лысый, в полосатой ситцевой рубахе и засаленном пиджаке.

Духота. Пахнет поджаренным луком, гнилой пищей и водкой. Над головами клубится облако табачного дыма. Говорят вяло, неохотно, избитыми словами. Изредка кто-нибудь крепко выругается, и то не от сердца, а так себе — по привычке. Ни мысли, ни желаний, точно все уже давно передумано, рассказано и тысячу раз решено. И жизнь кажется такой же бессмысленной, как ход тех часов, у которых сломаны стрелки.

Скучища невыносимая.

Я приютился за угловым столиком, в стороне от других. Передо мною стоит наполовину опорожненная бутылка с пивом. Часа уже два сижу я так, занятый одной лишь думой: куда бы скрыться из этого города...

Оставаться здесь больше нельзя. Товарищи арестованы. Я тоже хорошо известен полиции, и она разыскивает меня повсюду. Ускользая от нее, я уже несколько не-

дель бегаю по городу с одного конца его на другой, как затравленный зверь. Паспорт мой провален, достать другой нет возможности. У меня положительно нет никакого крова. Треплюсь между небом и землею. Правда, я имею несколько давнишних знакомых, у них можно было некоторое время провести безопасно, но при моем появлении они начинают трепетать за свое благополучие. Некоторые даже не узнают меня. Все это заставляет искать по ночам убежища в каком-нибудь строящемся здании или под мостом; иногда провожу ночи, скитаясь по улицам. Чувствую усталость. Почти в каждом человеке вижу шпиона.

Необходимо куда-нибудь уехать, хорошо отдохнуть, осмотреться.

Но... в кармане у меня всего шесть рублей...

А главное — меня страшит мысль, что и следующую ночь мне придется скитаться по улицам, дрожа от холода, пугливо озираясь и страшась своей собственной тени. Да и деньгам моим скоро конец...

Что тогда делать?..

Неприятное чувство подавленности и беспомощности овладевает мною. Так жить нельзя; это все равно, что болтаться на гнилой веревке над зияющей пропастью, ежеминутно рискуя сорваться и разбиться вдребезги.

Мрачные думы мои были прерваны двумя лицами, только что вошедшими в трактир. Они сели за столик, рядом с моим, заказав сороковку водки и яичницу с колбасой.

Мое праздное внимание останавливается на них.

Один — здоровенный мужчина лет двадцати восьми. Роста выше среднего. Кряжистый, мускулистый. Голова большая, круглая, крепко сидящая на короткой шее. Русые щетинистые волосы всклокочены. На широком, типично русском лице с небрежно спутанными усами запечатлен тяжелый труд. Но серые глаза смотрят весело и самоуверенно. Голос твердый и сочный, точно пропитанный морскою влагою.

Товарищ его, наоборот, маленький, тощий человечек, в каждом движении его чувствуется забитость.

Первый наполняет стаканы водкой и, добродушно улыбаясь, треплет по плечу товарища:

— Ну, брат Гришаток, пропустим. Последний разок русскую пьем. Через неделю позабавимся английской виской.



— За счастливое плавание,— приветствует Гришаток.

Из дальнейших разговоров их я узнал, что оба — матросы и плавают кочегарами на коммерческом пароходе. Слушаю дальше.

Боже мой, они на следующий день уходят в Лондон!

А что, если попросить их, чтобы увезли меня в Англию.

На минуту отвожу взгляд в сторону, стараюсь не выдать своего волнения.

В России для меня, разбитого и измученного, нет больше дела. Если только эти ребята пособят мне, уеду за границу. Посмотрю, как другие люди живут на свете, отдохну...

В воображении, как в туманной дали, уже рисуется новая жизнь, еще не изведанная, манящая, полная разнообразия.

Как с ними заговорить? С чего начать?

«Смотри, не промахнись, а то пропадешь!» — всплыла предостерегающая мысль.

«О, нет! Я сам моряк и знаю, как со своими разговаривать: умирай, а шути».

— С корабля, что ли, братцы?

— Да,— отвечает мне здоровенный, как после узнал, Трофимов.

— Надо полагать, роль духов исполняете в преисподней?

— Верно сказано. А вы кто же будете?

— Существо, потерпевшее аварию от норд-остской бури. Потерял руль и компасы. Ношусь по волнам житейского моря, куда гонит ветер. Случайно забрел в сие пристанище. Отдохну немного и опять лавировать начну между подводными камнями, пока не потерплю полного крушения...

— Тоже, значит, моряк? — перебивая меня, спрашивает Гришаток.

— Да еще какой! Целых семь лет пробыл во флоте. Весь просолел. Сто лет пролежу в земле — не сгнию.

Трофимов пытливо оглядывает меня. Затем, точно следователь, начинает расспрашивать, где плавал, какие обязанности исполнял. Отвечая на его расспросы, я пускаю в ход морскую терминологию.

— Вот теперь вижу, что и ты из смоленых,— гово-

рит наконец он, широко улыбаясь.— И поэтому пожалуйте к нашему столу: вместе разделим трапезу...

Выпиваем по стакану водки.

Вижу, что ребята ко мне расположены. Недолго думая, начинаю расспрашивать их, можно ли им перевозить пассажиров.

Трофимов сразу догадался, к чему веду я этот разговор.

— Вот что, брат, как тебя звать-то? — спрашивает он, понижая голос и вглядываясь в меня.

— Когда-то величали Дмитричем.

— Ну, так слушай, Митрич: ты это верно сказал, что тебя ожидает крушение?

— Конечно.

Он осторожно озирается кругом и спрашивает меня уже шепотом:

— Скажи, слышь, откровенно: дело серьезное?

— Вздернут,— кратко отвечаю я.

Лицо Трофимова выдает волнение. Руки беспокойно ерзают по столу. Он смотрит уже сочувственно. Гришаток бледнеет.

— Хочешь поехать по-темному? — снова спрашивает меня Трофимов.

Я не понимаю его.

— То есть без билета. Куда-нибудь в темноту забиться и ехать. Вот что это значит. Понял?

— Понял.

— Ладно.

Я чувствую, как через черную тучу отчаяния врывается в душу мою светлый луч надежды, приводя меня в самое восторженное состояние. Я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься им на шею.

— А сколько это стоит?

— Да что с тебя взять-то? Купи для ребят бутылку горлодерки, штук пять селедок на закуску да дай им еще трешницу, коли найдется, и дело в шляпе. Часам к восьми выгребай на корабль.

Я с радостью соглашаюсь.

— Только бы Ершов, часом, не узнал,— предупреждает Гришаток.

Что такое? Неужели хочет расстроить уже налаженное дело? Нет, слышу возражение другого:

— Брось, дружище, толковать-то. Такого осла да не



надуть? Он сегодня гуляет, вернется на корабль к одиннадцати, не раньше.

Я справляюсь, что за Ершов.

— Да угольщик наш,— поясняет мне Трофимов.— Подводила естественная. Третье ухо капитанское. И капитан наш тоже — ух, зловредный! Акула! Попадешься ему — не жди пощады! Слопает, анафема. Погубить человека для него одно наслаждение. Бывали случаи. Но ты все-таки не опасайся. Сумеем спрятать.

Мы поговорили еще о том, о сем, и кочегары, объяснив мне, как добраться до парохода, покинули трактир.

А через полчаса и я последовал за ними.

## II

На дворе, несмотря на апрель месяц, стоит пронизывающий холод. Дует сильный ветер. Тоскливо гудят телеграфные провода. Небо темнеет; тяжелое и неприветливое, оно все ниже и ниже нависает над землей. Всклокоченные тучи, клубясь, быстро несутся невесть куда.

День гаснет. Серым и угрюмым сумраком надвигающейся ночи окутывается город. Каменные здания, как будто чего-то пугаясь, съеживаются и плотнее прижимаются друг к другу. Кругом почти ни души — пустынно и мертво. Только кое-где одинокие городовые, вобрав головы в плечи, торчат на своих постах сонливо и неподвижно.

Но я полон бодрости.

Закупив для кочегаров подарки, я не иду, а лечу вперед, не чуя под собой земли. Стараюсь выбирать узкие и глухие переулки. Водку держу снаружи — смотри, на! Смеюсь в душе над своими преследователями:

«Ищите в поле ветра!»

Прохожу мимо большой площади.

Невольно в памяти воскресают картины недавнего прошлого. Три года тому назад я стоял на этом месте. Десятки тысяч людей собрались здесь. Гордо развевались знамена. А оттуда, со средины площади, с опрокинутой бочки, служившей трибуной ораторам, слышались вдохновенные речи. Толпа горела. Грянули песню, свободную и могучую. Из надорванных грудей, из недр измученных и разбитых сердец, веками ее хранивших, вырвалась она и захлестнула всю площадь.

И что же? Куда мы пришли? Что осталось от прошлого?

Но прочь уныние! Иду дальше, снова окрыленный надеждами.

Вот и гавань. Не больше двух недель открылась навигация. Местами еще виднеются льдины. Вдоль каменной набережной вытянулся ряд пароходов и барж. На некоторых яркие фонари. Мачты бросают на воду длинные тени. Кипит судовая работа. Люди, согбенные под тяжестью грузов, бегают в разных направлениях. Воздух оглашается криком грузчиков, грохотом лебедок, паровыми свистками, ударами дерева и звоном железа.

Быстро нахожу нужный мне пароход. Пришвартованный к стене, он густо дымит. Видать, что уже пожил на свете, побороздил океаны. Как только может еще справляться с бурей?

На нем тоже идет погрузка.

Жандарм! Но он глядит на воду, туда, где два яличника из-за чего-то грызутся между собой.

Я уже на палубе. Направляюсь в носовое отделение, где помещается судовая команда. Открываю дверь.

— Пожалуйте,— приветствует меня Трофимов.— Все свои люди.

Выложив принесенные припасы и деньги на стол, я знакомлюсь с кочегарами. Их четверо, ребята все симпатичные.

— А я, признаться, побаивался, как бы тебя дорогой не застопорили,— смеется Трофимов.

— Где уж тут застопорить! Я так пары развел, что десятиузловым ходом летел.

Через минуту мы уже все сидим за большим деревянным столом. Настроение у кочегаров веселое. Выпивая, они дружелюбно угощают и меня. На радостях я выпиваю две рюмки водки и, чувствуя себя голодным, с большим аппетитом уничтожаю целую селедку. Все болтают, шутят.

Входит еще один кочегар, длинный, как верстовой столб, с острыми плечами и впалою грудью. Лицо хмурое. О чем-то таинственно переговаривается с Трофимовым и другими.

— Сколько дает? — спрашивает кто-то.

— Восемь целковых.

Трофимов, переговорив еще кое о чем с ним, обращается за советом уже ко всем:



— Вот, братцы, еще один хлопец хочет ехать по-темному. С Петровым уговорился. Молодой парень. Можно, что ли?

— Да уж все равно: семь бед — один ответ,— раздается чей-то голос.

— Вот и я так же думаю. Следует взять. Да и Митричу вдвоем будет веселее.

Порешили, что новый пассажир должен прийти позднее, так как сначала нужно запрятать одного.

Водка выпита, закуска съедена. Кочегары расходятся по своим делам, наказав мне сидеть безвыходно в их помещении, пока меня не позовут.

Ждать долго не пришлось. Скоро вернулся ко мне Трофимов.

— Теперь пора.

Он мигом переодел меня в грязное платье кочегаров и грязной штаниной натер мне лицо. Потом поднес маленький осколок зеркальца.

— Смотри, как я тебя под масть с нами подогнал.

Действительно, я совсем преобразился.

— Шагом марш! — смеясь, командует он мне.

Выходим на верхнюю палубу. Последний раз я оглядываюсь кругом.

На небе ни звездочки. В темной дали ничего не видно, кроме сверкающих огней. В снастях воет ветер, предвещая бурю. Вода в гавани волнуется, шумит, будто сердится на то, что ее огородили кругом гранитными камнями, лишив свободы и простора. Сверху падает крупа, с яростью щелкает о палубу и больно, как иглами, колет лицо. Народу в гавани стало меньше. На некоторых кораблях уже прекратилась погрузка, но на нашем корабле все еще продолжают работать, набивая его объемистое чрево разными товарами.

— Не отставай,— наказывает мне Трофимов.

Спускаемся по трапу в самую преисподнюю. На момент остановились в узком коридоре, чтобы посмотреть, нет ли в кочегарке людей, не посвященных в наше дело. Здесь жарко. Мерцая, тускло горят масляные лампочки; на паровых котлах виднеются циферблаты манометров. Валяются молотки, ломы, железные кадки и другие принадлежности «духов». Несколько человек кочегаров несут свою вахту. Среди них и Гришаток, который, изгибаясь, «шурует» в топке. Кто-то, вооружившись лопатой, складывает в кучу шлак.

Пройдя еще несколько шагов, мы останавливаемся между котлами. Под нами железная настилка. Трофимов, нагнувшись, поднимает одну из плит. Между дном и настилкой небольшое пространство.

— Полезай туда,— говорит он мне, показывая в темную дыру.— После, может, переведем в другое место.

Пока я спускаюсь, кочегары смеются:

— Попалась, грешная душа!

— Ненадолго — за меня сорок сороков нищих молятся,— отшучиваюсь я.

Плита захлопнулась. Тьма кромешная. Подо мной какая-то котловина. На дне грязная масляная вода. Пространства вверх так мало, что я не могу даже прямо сидеть. Нужно устраиваться в лежачем положении. Ощупываю стенки. Они влажные и холодные. Пахнет сыростью и ржавчиной.

Но я не унываю. Чем дальше я ухожу от грозящей опасности, тем все больше и больше просыпается во мне жажда жизни, и я готов переносить какие угодно лишения.

Лежу и размышляю о том, как иногда человек может зависеть от разных случайностей. Не зайди я в трактир или даже не сядь за тем столиком,— что было бы со мною дальше? А теперь я наполовину спасен.

Потом вспоминаю о своем логовище, и мне становится смешно...

«Ах, ты, разрушитель старых устоев и творец новой жизни! Куда, однако, тебя занесло!..»

Открывается плита. В дыру влезает человеческая фигура. Раздается голос Трофимова:

— Это твой компаньон, Митрич. Не разговаривайте, а то услышат.

— Хорошо,— отвечает за меня мой попутчик тонким, совсем юношеским голосом.

Молчим. Друг друга не видим.

Спустя минут десять снова открывается плита. На этот раз в отверстие просовывается только рука, держащая какой-то узел. Опять слышен голос Трофимова:

— Держи, Митрич. Это тебе и Ваську говядина, хлеб и вода в жестянке. Пока до свидания. Завтра увидимся. Мы навалим на вас тонны три угля — безопаснее будет. Ну, с богом!

— Спасибо, дружище,— успел вымолвить я, и плита захлопнулась.



Все, что принес нам кочегар, я осторожно ставлю в сторону, боясь, чтобы не опрокинуть воду.

Захотелось покурить, а кстати и осмотреть при свете наше жилище и товарища по бегству, но я, как на грех, забыл спички у кочегара. И у Васька нет спичек, да он и не курит. Мысленно ругаю себя за свою оплошность.

Чтобы скоротать время, решаю соснуть. Ложусь на спину, заложив под голову руки. Ноги кладу в воду: иначе нельзя устроиться.

Над нами проходят люди, стуча каблуками о настилку. Слышен говор кочегаров. Мысли становятся смутными, расплывчатыми, и я крепко засыпаю...

## III

Просыпаюсь. Кругом непроглядная тьма. Над головой что-то грохочет, как будто жесткие комья глины падают на гробовую крышку. Забыв, где нахожусь, я вообразил себя в могиле, заживо погребенным. По телу пробегает холод ужаса.

Пытаюсь вскочить, но чуть не до потери сознания ударяюсь головой о железо. Я бросаюсь в сторону, снова получаю удар и падаю на товарища.

— Дмитрич! Что с вами? — называя по имени, говорит он испуганным голосом.

Сразу вспоминаю, зачем я попал сюда. Становится понятным и грохот: это кочегары насыпают на настилку уголь.

Придя в себя, я мало-помалу успокаиваюсь. Скоро все стихло.

— Вы так напугали меня: нас могли бы услышать,— тихо шепчет Васек.

— Простите,— так же тихо отвечаю я, стараясь устроиться поудобнее.

Что-то теплое и липкое струится мне за ворот рубахи. Ощупываю голову. На ней рана, на лбу тоже ссадина и шишка. Только после этого начинаю чувствовать боль от ушибов.

Платье на мне мокрое. Воды заметно прибавилось. Хочу пить — нахожу жестянку, но она опрокинута. Делать нечего, надо терпеть.

— Вы куда едете? — слышится шепот Васька.

— В Лондон. А вы?

— Я тоже.
Немного погодя снова задает мне вопрос:
— Разве большие дела за вами, что бежите в такую даль?
Я не отвечаю. Мне вдруг приходит в голову, что это шпион.
Между тем Васек не перестает расспрашивать.
— Молчите! — с негодованием шепчу я.
Замолк...
Но в то же время я начинаю беспокоиться: почему он расспрашивает меня о таких вещах, когда нам сказано не разговаривать? Да, тут что-то не так. И чем больше думаю, тем более увеличивается моя подозрительность. Я уже не сомневаюсь, что со мной сидит предатель.
«Задушу!» — решаю я про себя.
Судя по голосу, он должен быть не из сильных. С таким справиться мне ничего не стоит.
Передвигаюсь на то место, против которого должна, по моему расчету, открываться плита. Руки мои дрожат. Пальцы судорожно корчатся. Пусть только вздумает приблизиться к выходу! Схвачу за горло и сдавлю так, что не успеет пикнуть! А там пусть что будет...
Но он лежит неслышно, как будто нет его.
Тихо. Сверху доносятся едва уловимые звуки колокола. Это бьют склянки. По семи ударам заключаю — либо $3^1/_2$, либо $7^1/_2$ часов утра.
Над самой головой слышен разговор:
— Где это ты, Ершов, вчера прогулял так долго?
— Да известно где. Затворниц навестил,— отвечает он охотно гнусавым голосом.— Запеканку пил. А мамзель-то какая! Чернявая! Так и обожгла!.. Да и то надо сказать: ведь в рублевый затесался...
Смакуя каждое слово, он подробно рассказывает о своих похождениях.
Кто-то закатисто хохочет.
Но Трофимов с ненавистью обрушивается на Ершова:
— Совесть твоя стала чернявая, как угольная яма!
— Да за что же ты, Павел Артемыч, так на меня? — лебезит он перед Трофимовым.— Сам ты рассуди: вреда я никому не делаю. А ежели какое удовольствие имею, так на это я трачу из своего собственного кармана. Видит бог — не вру...



— Знаю я тебя. Бога-то хоть не упоминай. За полтинник в любое время его продашь...
Кочегары продолжают разговаривать, но мысли мои снова возвращаются к соседу. Откуда он узнал, кто я такой? Неужели кто из кочегаров предал меня? Ничего не могу понять. Чувствую лишь одно: что я задыхаюсь от злобы и что лицо мое наливается кровью. Сердце стучит беспорядочно. Каждый мускул мой напрягается. Полный решимости, я жду только случая, чтобы наброситься на своего врага.
«А что, если он сильнее меня? — мелькнуло вдруг у меня в голове.— Ведь я уже не такой, как прежде: изломался, ослабел».
Уверенность в победе исчезает, но тут я вспоминаю, что в кармане у меня большой складной нож. Вынимаю его, раскладываю и держу в правой руке. Нет и тени страха. О последствии не думаю. Мозг мой работает исключительно над тем, как лучше нанести удар.
«Ну, подойди теперь ко мне, гнусная тварь, подойди! — мысленно злорадствую я.— Как всажу нож в твое подлое мясо! Только кровь брызнет... Больше уж никого не поймаешь...»
Безмолвствует.
Опять бьют склянки, и звонкий голос выкрикивает:
— Бросай, ребята, идем завтракать!
Ясно, что восемь часов утра. Скоро должны отвалить от берега.
Но что же мой предатель? Я занимаю выжидательную позицию.
Начинают разводить пары. Котлы зашипели и запыхтели. Послышался однообразный гул машины. Пароход вздрогнул, качнулся раз-два, и мы тронулись в путь.
Слава богу, Васек не предатель. Ведь ему нет никакого смысла ждать дольше. Я облегченно вздыхаю.
И тут же спохватываюсь... Ах, безумный я, безумный! Как я мог раздуть свои дурацкие предположения! Ведь я мог бы совершить самое безрассудное преступление. Стоило Ваське немного приблизиться ко мне или даже пошевелиться — и все было бы кончено... Меня бросает в жар. Стыд и угрызения совести разрывают сердце. Нет, я положительно ненормален.
С досады бросаю нож в сторону.
До обеда время проходит незаметно. Но затем насту-

пают часы скучные, полные томительного ожидания. На новое место нас не переводят.

Пароход начинает раскачиваться. Мы, вероятно, выходим в открытое море.

Наше мрачное логовище наполняется водой. Она заливает ноги и часть спины.

Холодно.

Страшно хочется пить. Во рту пересохло, какая-то горечь. Я проклинаю селедку, которую с таким аппетитом ел накануне.

Васек все молчит.

Мне хочется загладить свою вину. Пробую с ним заговорить, но из-за шума котлов не слышно. Подползаю ближе и, ощупав его, располагаюсь так, что наши головы соприкасаются.

— Товарищ, вы не спите? — спрашиваю я.

— Нет.

— Как чувствуете себя?

— Плохо. Совсем замерзаю.

— Я тоже.

— Неужели будем все время здесь?

— Обещали перевести.

Хочется еще поговорить, но сознаю, что это небезопасно. Ограничиваюсь еще одним вопросом:

— Раньше вы плавали на корабле?

— Никогда.

Молчим.

## IV

Должен быть уже вечер.

Качка ужасная. Наверху ревет буря страстно и напряженно. Чудовищными голосами воют вентиляторы. Волны, вскипая, с яростным гневом бьются о железо бортов. Пароход бросает, как щепку. Временами, взобравшись на высоту, он опрометью бросается вниз, точно в пропасть. Но тут же снова взбирается вверх. Трещит, как будто беснующаяся стихия ломает его остов. Над головой, гремя о плиты, перекатываются с одного места на другое куски угля и другие неприкрепленные предметы.

Мы сидим с Васьком рядом, подавленные и ошеломленные происходящим. Нет ничего хуже, как переносить бурю, сидя на дне судна да еще взаперти. Наверху



она просто грозна, здесь ужасна даже для привычного моряка. Там в случае крушения корабля все-таки можно остаться живым. Здесь чувствуешь близость разверзающейся могилы.

Вода упорно наполняет наше логовище.

Теперь она доходит до груди.

Мы мокнем в ней, как селедки, брошенные в бочку с соленым раствором. Тела наши сморщились. От стужи дрожим, как в лихорадке, неистово щелкая зубами.

Лечь на спину — значит захлебнуться в воде; сесть прямо — мешает настилка. Приходится устраиваться, изогнувшись и постоянно опираясь рукой о дно. Это становится через некоторое время невыносимым.

Васек изнемогает. Я чувствую на своей шее его холодные дрожащие руки. Из груди вырывается бессильный стон:

— Не могу... Сил нет... Сейчас упаду...

Я боюсь, что он и в самом деле может упасть и захлебнуться, поддерживаю его за плечи. Они узки, как у десятилетнего.

Меня тревожит мысль: откуда проникает вода? Мне известно, что при продувании котлов и тушении шлака вода всегда выливается на настилку и стекает вместе с грязью в трюм. Но она не должна быть такой холодной. Кроме того, в таких случаях пускают в ход помпы. Нет, тут что-то не то: либо корабль, треснув, дает течь, либо другое.

Проходит еще некоторое время. Сколько — не знаем. Вероятно, несколько часов. Они показались нам вечностью.

Беспокойство растет.

— Что это значит? — прижимаясь ртом к моему уху, спрашивает Васек.

— Не знаю...

— Закричим...

— А если Ершов услышит?

— Боже мой, мы погибли...

В голосе Васька звучит смертельная тревога. Сам он, пугаясь, плотнее прижимается ко мне. А когда корабль, срываясь с водяного гребня, с треском падает вниз, Васек бьется в моих руках, крутит головой, задевая меня по лицу. Слышно иногда, как над самым ухом неприятно лязгают его зубы. Раз от разу он все слабеет, опускает-

ся вниз, становится тяжелее. Мои руки настолько устали, что я едва могу поддерживать его.

А волны еще сильнее, еще яростнее начинают обрушиваться на корабль. Сражаясь с ними, он падает, поднимается, мечется в разные стороны, как обезумевшее от ран животное. Мне, как моряку, понятны эти убийственные взмывы волн, этот лязг железной громады, дрожащей и стонущей в буйных объятиях стихии. Вот слышится вопль ржавого железа — корабль гнется. Я чувствую этот момент положения корабля на вершинах двух гребней, когда под серединой его рычит разверстая бездна. Ветхие корабли с тяжелым грузом в таких случаях не выдерживают собственной тяжести, разламываются, сразу проваливаясь в темную клокочущую пропасть. Но наш пока еще выносит. А то вдруг раздастся громкая и неровная трескотня: тра-та-та-та... Это силою моря подброшена вверх корма. Винты оголились, вертятся в воздухе, и машина, работая впустую, кричит о своей беспомощности. Иногда корабль содрогается всем своим корпусом. Кажется, он всецело попал во власть всемогущей бури и его схватывают судороги. И тогда над нами усиливается грохот, шипенье, вой. По плитам что-то ерзает, стучит, скачет, словно тысячи бесов, собравшись вместе, совершают свою безумную пляску...

Вдруг недалеко от нас что-то громко ударилось о железо. Должно быть, сорвался какой-нибудь тяжелый груз. Но нам показалось, что начинается ломка корабля. Мы оба рванулись...

Почему нас не переводят? Неужели погибнем?

Не слышно ни одного человеческого голоса. Все заглушено грохотом и ревом бури...

Вода прибывает.

Чувствую себя, как во льду. Холод проникает в самые кости. Члены окоченели. Кровь стынет. Нет воздуха. Задыхаемся. При каждом крене судна, при каждом ударе в борт морской зыби грязная вода, плескаясь, обдает наши лица. Во рту чувствуется что-то масляное, горько-соленое, отвратительное...

Васек начинает рыдать. Бедняга! Какие невыразимые муки должен переживать он, если я, моряк, виды видавший, не раз переживавший грозные капризы океанов, трепещу от страха...

Дольше терпеть нет возможности. Каждая минута стала невыносимой пыткой.



Закричать? Попадешься, погибнешь. Мало того, подведешь кочегаров. Ведь недаром они нас не освобождают. Вероятно, кто-нибудь мешает. Предстоит выбрать, как умереть лучше: от руки палача или задохнуться в этой норе?..

Стучу кулаком в плиты. Напрасно! Нужно бить молотом, чтобы меня услышали. Есть еще одна надежда: приподнять настилку. И я с радостью хватаюсь за эту мысль. Бросаю Васька. Чувствую, как он беспомощно барахтается в воде. Но мне не до жалости. Я уперся спиною в настилку. Грудь от натуги готова лопнуть. Глаза вылезают из орбит. Не поддается! Я забыл, что на настилке навален уголь. То, что должно нас спасти, стало для нас гибелью. Быть может, его немного, но достаточно для того, чтобы держать нас, как в могиле.

Все кончено... Мы в западне, забронированной железом. Приговор судьбы совершился: обоим смерть! Через несколько минут должна начаться казнь: вместо эшафота — проклятая дыра; вместо стражи — железо; вместо палача — вода.

Холодная дрожь пробегает по телу...

Нет, так нельзя. Попытаюсь еще раз приподнять настилку. Если не удастся, то закричу. Надо только передвинуться на другое место, над которым, быть может, меньше угля.

Бросаюсь в сторону. Сталкиваюсь с Васьком. Издавая нечеловеческий визг, он крепко впивается руками в мою шею, как будто хочет задушить меня. Я отталкиваю его от себя. Либо мои внутренности оборвутся, либо мы будем спасены! И меня охватывает безумное отчаяние. Напрягся...

А там, за пределами нашей гробницы, миллионами незримых пастей рычит и грохочет ураган, точно издеваясь над моим бессилием...

Вдруг в моем сознании возникает новая страшная мысль... Боже мой, ведь несомненно, что крик Васька должны услышать. Тем не менее нас не освобождают. Неужели я ошибся, считая кочегаров за товарищей? Неужели мы жертвы неслыханного варварства? Через несколько минут мы будем трупами...

Все это проносится у меня в голове в одно мгновение, как мрачный шквал, обескураживающий и не дающий опомниться.

Но в этот момент на корабль рухнула какая-то тя-

жесть, точно свалилась каменная гора. Все затрещало. Он быстро и сильно накренился на один борт, точно намереваясь опрокинуться вверх килем. Я упал и, захлебываясь в воде, куда-то покатился...

С неумолимой и жестокой ясностью представляется весь ужас катастрофы. Все существо мое пронизывает такая боль, точно с меня, еще живого, сдирают кожу. Из груди вырывается вопль отчаяния. Это момент, когда люди сразу седеют...

Я рванулся вверх со всей силой, но, ударившись головой о плиту, беспомощно падаю на дно. Оглушенный, я несколько мгновений кружусь на одном месте, глотая воду. Но тут меня снова охватывает приступ бешенства. Непроизвольно взмахивая руками, задеваю за что-то и срываю с них кожу. В глазах сверкают кроваво-огненные круги. Мне уже кажется, что я не в трюме, а в проглотившей меня беспросветной бездне. Может быть, корабль опускается на дно. Каждый раз, как только я хочу закричать, в рот с силой врывается какая-то масса, разрывает на части горло. Тяжело... Задыхаюсь...

## V

Я чувствую, как двое подхватывают меня под руки и куда-то волокут. Сам не могу сдвинуться с места. Перед глазами плывут бесконечно разнообразные цветные круги.

— Этот жив! — кричит кто-то, нагибаясь к моему лицу.— Смотрит... Рот разинул...

— Ну?

— Гляди...

Тут же около меня раздается знакомый басистый голос:

— А где же другой? Тащи сюда...

Меня поворачивают, мнут спину.

Чувствую внутри дергающие движения, точно при невероятной икоте; разжимаются челюсти; все тело напрягается — начинается рвота. Желудок, освобождаясь от проглоченной соленой и грязной воды, готов, кажется, вывернуться наизнанку. Скоро становится легче. Дышу свободнее.

Слышу радостные возгласы, открываю глаза. Со мной начинают заговаривать сразу несколько человек. Суетятся, шепчутся. Беспокойно куда-то всматриваются.



Я начинаю понимать окружающее. Это меня успокаивает. В бессилии закрываю глаза. Хочется уснуть...

Куда-то поднимают. Несколько человек торопливо выкрикивают:

— Держи крепче!

— Ладно!

— Подхватывай!

Тело скользит по горячей стенке. Потом кладут на железо и исчезают. Я в новом месте.

Оглядываюсь кругом. Слабо горит лампочка, прикрепленная к стенке. Нахожусь в каком-то четырехугольнике, со всех сторон огороженном железными стенами. Со средины, заполняя собой большую часть помещения, поднимается вверх что-то круглое. Ощупываю рукой: горячее. Это дымовая труба. Сверху также переплетаются между собой паровые трубы, точно огромные змеи, уходя своими концами сквозь железные перегородки. Еще выше начинается палуба. Всюду виднеется толстый слой черной пыли. Тепло. Все это дает мне возможность догадываться, что я попал на кочегарный кожух. Подо мной, стало быть, расположены котлы, а ниже — топки.

Израненную голову разъедает осадок соленой воды, причиняя нестерпимую боль.

Вспоминаю происшедшее с нами там, внизу...

Где же Васек? Что с ним? Жив ли он? Как раз в этот момент Трофимов, Петров и еще один кочегар приносят его на кожух и кладут рядом со мной. Он лежит без чувств. Только на шее слегка колеблются вздутые вены, свидетельствуя, что в нем еще теплится жизнь.

Кочегары, глядя на него, стоят на одном месте, запыхавшиеся, потные, с вытянутыми лицами.

Я приподнимаюсь на локоть.

— Отошел, Митрич! — заметив мое движение, радостно восклицает Трофимов.— Ну, слава богу. Ух, как мы перепужались! Прости уж, невзначай вышло. После объясню.— И, повернувшись от меня, обращается к своим товарищам: — Ну, ребята, давайте Васька откачивать.

— Нельзя: тесно больно,— возражает ему Петров.— Да и не скоро так оживишь. По-моему, лучше за ноги встряхнуть. Говорят, в таком разе самое лучшее средство. Живо вода выльется.

— А ежели коленкой на живот надавить? — предлагает третий.

— Очумел, что ли? — горячится Трофимов.— Так моментально пузырь лопнет.

— Ну, скажет тоже! Пузырь-то где? Чай, ниже. А я говорю, повыше надавить. У нас в деревне...

— У вас коровы на крышах пасутся, дурная твоя башка! — слышится нервный выкрик Трофимова.— Молчал бы уж, коли бог умом обидел. Орясина!

В конце концов останавливаются на мысли Петрова. Один из кочегаров, отойдя к выходу из кожуха, караулит, чтобы кто-нибудь не застал врасплох, а остальные двое подхватывают Васька за ноги и начинают его встряхивать. Голова его болтается. Хотя он и не тяжелый, но вследствие качки корабля кочегары, постоянно балансируя, едва его удерживают. Кажется, вот-вот упадут вместе с ним и окончательно его доконают.

Васек как будто начинает вздрагивать, и наконец изо рта легкою струей показывается вода.

— Довольно, а то как бы внутренности не попортить,— заявляет Трофимов.

Кладут Васька на железо. Теперь он уже сам освобождается от воды. Ворочается, стонет. На лице страшная гримаса. Когда рвота стихает, Трофимов глубоко засовывает ему в рот палец, снова таким образом возбуждая в нем тошноту. И тогда тело Васька, делая невероятные потуги, извивается, как червь, которому наступили на голову.

Кочегары наконец уходят, высказав свою уверенность, что теперь будет хорошо.

Я все больше начинаю отходить. Оживает и Васек. Но нас обоих все еще продолжает прохватывать дрожь, несмотря на то, что находимся в таком теплом месте.

— Где это я? — опомнившись, спрашивает меня Васек.

Мое объяснение окончательно приводит его в себя. Он удивляется:

— Ах, боже мой... Так вот что случилось...

Слышны глухие громовые раскаты бури, но последняя здесь уже не производит того ужасающего впечатления, какое мы испытывали, находясь в трюме.

Креном корабля повернуло Васька на спину. Он несколько минут остается лежать на одном месте. Свет лампочки, падая прямо на него, дает мне возможность разглядеть его как следует.

Васек... Да, именно еще Васек! Совсем юноша, на вид не больше семнадцати лет. Роста маленького, тощий и тонкий. Лицо привлекательное, с правильными чертами, с высоким и умным лбом, но измученное и печальное. В больших и доверчивых глазах отражается усталость; но они еще смотрят так мечтательно, как будто перед нами не железная, покрытая копотью стена, а лазурная, заманчивая даль.

Глядя на него, я удивляюсь, как это он мог отважиться на поездку «по-темному». И зачем? Что он, хрупкий и слабый, будет делать на далекой чужбине?

— Вы не переоделись? — спрашиваю я, заметив на нем хороший костюм.

— Предлагали, но я не согласился.

Петров принес нам холодной воды в коробке из-под консервов, хлеб и в какой-то черепице тушеное мясо с картофелем. Но сам с нами не остался, говоря:

— Больно некогда. У нас там целая полундра: воду из трюма выкачиваем. После зайду.

Предлагаю своему попутчику закусить.

В то время как я ем с аппетитом, он проглотил несколько кусочков мяса с картофелем и от всего отказался.

— Не хочу,— печально заявляет он.— Я совсем нездоров.

Приходит Трофимов. Чувствуя себя виноватым, он говорит робко и нерешительно. Однако из его слов ясно, что кочегары тут ни при чем. Произошла непредвиденная случайность: в одной из труб, проходящих в трюме, выбило фланец; она дала сильную течь; помпа же, выкачивающая воду, засорилась в клапанах и работала почти вхолостую.

— А нам и невдомек было это,— объясняет дальше Трофимов.— А посмотреть вас раньше нельзя было, потому что Ершов на вахте стоял. Через час должен был смениться. Вдруг слышим визг. Что, думаем, такое? Схватили лопатки и давай сбрасывать уголь с настилки. Глядь, а на ней уж вода показалась! Это когда пароход-то шибко накренило. Так все и ахнули. Думали, капут вам обоим. Хорошо, что Ершов в это время как раз был в угольной яме... Ничего не слыхал. А то бы совсем беда...

— Вам бы сразу посадить нас куда-нибудь в другое место,— укоряю я.

— Да ведь, чудак ты этакий,— опасно! Могли бы

найти. И то перед отходом приходил человек. Очень подозрительный. И все шушукался с Ершовым. Шпион, не иначе.

Справляюсь у него, сколько времени мы пробыли под настилкой.

— Теперь девятый час утра. Стало быть, больше суток.

Пароход качает по-прежнему.

Трофимов смотрит на Васька, который все время лежит молча.

— Ну, как, малец, здоровье твое?

— Тошнит...

— Без привычки, значит...

На лице кочегара появляется озабоченность.

— Куда же все-таки посадить-то вас? Было у нас одно место очень подходящее. Но оказывается, что туда нельзя. А еще, хоть тресни, ничего не могу придумать.

— А почему не остаться нам здесь? — спрашиваю я.

— Жарко больно. Поди, градусов пятьдесят, а то и больше будет. Не выдержать, пожалуй, вам.

Действительно, чувствовалась жара. Но для нас, только что начавших согреваться, она казалась сносной; мне, например, новое место, в сравнении с трюмом, показалось прямо-таки раем, поэтому я просил Трофимова пока о нас не беспокоиться.

Васек начинает страдать морской болезнью, мучительной и терзающей. Он весь корчится, то сгибаясь в кольцо, то выпрямляясь во весь свой маленький рост. Несколько раз вскакивает на колени и снова падает на железо. Чтобы заглушить неестественные звуки, вырывающиеся из его груди, он руками плотно закрывает свой рот. Кажется, будто кто-то вырывает из него внутренности.

Трофимов, увидев муки Васька, достал где-то лимон, а для меня принес табаку. Пробыв еще немного с нами, пока Ваську не стало лучше, он потушил огонь в лампочке, наказал нам не разговаривать и ушел.

Утомленные, мы наконец заснули.

## VI

На кочегарном кожухе мы пробыли целые сутки. Насколько нам показалось хорошо здесь с первого раза, настолько же стало плохо потом. Новое наше логовище



превратилось в дьявольское пекло. Мрак, невыносимая жара, горячее железо — все это действовало на нас убийственно, ослабляя и тело и душу.

Видя муки Васька, на которого качка действовала одуряюще, я также начинаю лишаться стойкости моряка и испытываю довольно остро морскую болезнь. Мозг точно размяк от жары.

Кочегары приносят нам пищу, но мы к ней не прикасаемся. Нет аппетита... Сухость в горле. Мучительная жажда. Но стоит лишь немного выпить воды, как сейчас же желудок выбрасывает ее обратно.

— Сколько времени мы в пути? — уныло спрашивает Васек.

— Двое суток.

— А сколько осталось?

— Суток пять.

Васек с горечью заявляет:

— Нет, не выдержу я... Больно... В груди больно...

И, откинувшись от меня в сторону, начинает метаться на железе. Напрасно я стараюсь его успокоить. Он не отвечает мне. Только слышны заглушенные стоны.

Железо становится горячее, как будто кто нарочно его раскаливает. Разостлали полученный от кочегаров брезент. Это несколько облегчает муки. Кочегары часто приносят нам холодную воду. Обливаясь, мы чувствуем себя бодрее. Но спустя несколько минут становится хуже. Мокрое платье, согреваясь, прилипает к телу и больно щиплет. Чтобы развлечься, начинаю заговаривать с Васьком.

— Кто-нибудь есть у вас в Лондоне?

— Да, хороший друг.

— Давно там?

— Прошлой осенью уехал... Он так же переправился, как и мы... Только ему было лучше... Как он писал...

Васек замолкает, не имея сил продолжать разговор.

Мне тоже становится невмоготу. Слабость чувствуется во всем организме. Наступает какое-то умопомрачение.

Несколько раз навещает нас Трофимов. Видимо, он болеет душой за нас. Наши страдания удручают его. Он тщетно старается придумать что-либо и уходит, ругаясь в пространство. Наконец, что-то смекнув, решительно заявляет:

— Придется переправить вас в угольную яму. Иначе ничего не поделаешь. Есть запасная яма с углем. В ней, может, и не наткнется на вас Ершов. Ну, а ежели уж попадетесь ему...

Он остановился и так громко заскрежетал зубами, точно старался раскусить железо. И закончил голосом, дрожащим от злобы и выражающим непоколебимость человека, пошедшего напролом:

— У-у-у, стерва! Раздавим, как муху! Нет, не так... В топке сожгем и пепел по морям развеем. Я сам это сделаю! В случае чего, так прямо и скажу ему об этом! Не робь, друзья!..

Против перевода в угольную яму мы уже не протестуем. У нас одно лишь желание: вырваться скорее из этого пекла.

Но не успел Трофимов исчезнуть, как заявляется к нам другой кочегар. Оказывается, в котле номер четыре произошла какая-то порча, при исправлении присутствует механик, и, пока не уйдет, переправлять нас рискованно.

— И сидите здесь тише,— уходя, наказывает нам кочегар.

Нам пришлось остаться на кожухе еще довольно долго — вероятно, часов пять или шесть. Время точно остановилось. Силы покидают нас. Мы не можем уже встать на ноги, не можем даже сидеть. И без того плохой воздух еще больше испортился. Мы дышим часто, разинув рот, как рыбы, выброшенные на сухой песок. Воды нет. А между тем жажда одолевает. Раскаленный воздух жжет нас, пробирается внутрь, сушит легкие. Мы не можем не сознавать, что задохнемся.

С Васьком творится что-то необыкновенное. Он вертится и опрокидывается на железе, как вьюн на раскаленной сковородке, то плача, то издавая протяжные и хриплые стоны. Раза два я зажигал спичку и пробовал его успокоить, но потом стал совершенно о нем забывать.

В ушах у меня шумит. Какая-то тяжесть давит душу. Сильно клонит ко сну, но я каждые пять минут просыпаюсь, ворочаюсь, подставляя раскаленному железу другую сторону своего тела. Я не могу спрятать голову. От жары она точно разламывается на части. И чем дальше, тем становится все хуже и хуже. Рассудок омрачается. Возникают обрывки каких-то воспоминаний. Их сменяют страшные видения, созданные больным воображением.



Мне кажется, что я в какой-то норе. Надо мной большая гора. Темно. Тесно. Зачем я попал сюда? Не знаю... Ищу выхода... Ползу на животе. Дальше и дальше. Прополз целую версту или больше, выбиваюсь из сил, а света божьего все еще не видно... Ух как жарко, как душно! Назад... Застрял... Не могу сдвинуться с места. Хочу кричать. Язык не шевелится. Голос глохнет в подземелье... Неужели конец?..

Какой-то толчок меня возвращает к действительности, но я еще долго не могу прийти в себя. Тревожно бьется сердце. На лбу капли пота.

Кто-то бьет меня по лицу и ругается:

— Нахал вы! Уйдите! Не дам вам показания!

По голосу узнаю, что это Васек.

— За что вы?

— Негодяй.

Голова его беспомощно падает мне на колени. Тело становится неподвижным.

Изумленный, я некоторое время раздумываю над случившимся.

По-прежнему качается пароход. Слышно, как что-то шумит, грохочет, гудит, ухает.

Обессилев, я падаю на бок. И минуту-две спустя опять какой-то туман, черный и непроницаемый, заволакивает мой рассудок. И снова мне представляются кошмарные видения... Лежу на берегу моря. По мутной и волнующейся поверхности воды, извиваясь, приближается ко мне что-то длинное. Оно вырастает в бесформенную массу... Что такое? На меня, разинув пасть, смотрит морское чудовище! Боже, оно меня проглатывает! Я попадаю в желудок. Меня удивляет, что его стенки горячи и тверды, как железо. Я задыхаюсь...

## VII

Очнулся я уже в угольной яме.

Около меня стоит фонарь, мерцающий огонь которого еле пробивается сквозь грязные стекла. Кругом полумрак. Тихо колеблются тени. Качки почти не заметно. Где-то далеко-далеко однообразно гудит машина. В горле у меня сухо до боли.

Трофимов, склонившись, смачивает холодной водой мою голову. В ней все еще что-то шумит. Страшно ломит виски.

— Ах, Митрич, Митрич, беда нам с вами,— увидев, что я открыл глаза, взволнованно говорит Трофимов.

Я вопросительно смотрю на него.

— Второй уж раз это происходит с вами,— продолжает он.— Сюда вас обоих принесли на руках. Ну, прямо сказать, замертво! Вот уже целый час, кажись, бьемся, чтобы оживить вас.

Он подносит мне кружку холодной воды. Продолжая лежать, я с жадностью выпиваю ее. Вода меня освежает.

— А как Васек? — справляюсь я о своем спутнике.

— Совсем швах! Да... Вот он лежит, посмотри. Хоть бы тебе шевельнулся!

Хочу взглянуть. Приподнимаюсь. Но от острой, щемящей боли во всем правом боку сваливаюсь на прежнее место. Из груди невольно вырывается стон. Что такое? Боже мой!.. У меня страшные ожоги на боку и лице! Одна щека моя вздулась.

Трофимов смотрит на меня глазами, полными печали и тревоги, тихо приговаривая:

— Коли не повезет, то уж ничего не поделаешь. Какая, право, досада!

Сделав невероятное усилие, я приближаюсь к Ваську. Всматриваюсь в лицо. Грязное и осунувшееся, оно кажется безжизненным. Глаза плотно закрыты, а из полуоткрытого рта сверкают красивые, белые зубы. Прощупываю пульс. Он еще бьется, хотя очень слабо.

— Сейчас принесут воды,— сообщает мне Трофимов.— Мы его хорошенько обмочим. Может, и отойдет...

Вскоре приходит Петров, держа в руке большое железное ведро.

Лицо и голову Васька несколько раз обливают холодной водой. Треплют его, ворочают с боку на бок. Ничего не помогает. Васек лежит пластом, как мертвец.

Хлопочут долго, склоняя потные, усталые лица; прислушиваются, встряхивают, ощупывают.

— Надо грудь ему смочить,— предлагает наконец Петров.

Никто ему не отвечает. Он нагибается над Васьком, развязывает ему галстук, расстегивает жилет и рубашку...

Вдруг Петров отскакивает, точно отброшенный невидимой силой. Быстро выпрямляется и смотрит на нас с недоумением и испугом, растопырив большие грязные руки.



— Что с вами? — спрашиваю я.

— Да не знаю, право... Не того... Вот те раз!.. Как же это!..

И Петров со странной торопливостью оправляет свою засаленную куртку, которая в хлопотах расстегнулась и сбилась.

Трофимов берет фонарь в руки и подносит его ближе к Ваську.

Удивлению нашему нет пределов. Мы не верим своим глазам, не верим тому, что это действительность, а не сон.

Слабый свет фонаря освещает обнаженную девичью грудь. Молчим, растерянно глядя друг на друга.

— Женщина! — как вздох, произносит Трофимов и беспомощно опускает фонарь на уголь.

— Да! — вторит ему Петров, точно освобождаясь от какой-то тяжести.

Мы приходим в себя.

Я советую застегнуть ей грудь, прежде чем она проснется. Кочегары соглашаются.

Но не успел один из них приступить к делу, как она проснулась. Смотрит странно, блуждая глазами. По-видимому, никак не может понять, где находится.

Огонь горит слабо. Остолбеневшие кочегары, почти упираясь своими головами в верхнюю палубу, стоят безмолвно. В полумраке они кажутся несуразными. На их лицах, покрытых сажею и сливающихся с темнотою, сверкают белки глаз. А тут еще я стою на коленях, опираясь руками на уголь, с изуродованным до неузнаваемости лицом. Она ежится, не то собираясь закричать, не то просить пощады. В томительной тишине проходят несколько мгновений. Она приходит в сознание. С большими усилиями приподнимает голову, замечает свою обнаженную грудь и падает, разражаясь истерическими рыданиями.

Кочегары безнадежно смотрят на меня, не зная, что им предпринять. По моему знаку они исчезают из угольной ямы.

Снова темно. Женщина продолжает плакать. Слушать ее невыносимо тяжело. Начинаю утешать. Но

прошло довольно много времени, пока она овладела собой.

— Вы хотели меня опозорить? — с каким-то отчаянием спрашивает она меня.

— Ничего подобного,— отвечаю я и рассказываю ей, как все произошло.

— Боже, как я испугалась! — восклицает она, продолжая все еще всхлипывать.

Пою ее холодной водой. Понемногу она успокаивается.

Осведомляюсь о ее здоровье. Жалуется, что плохо. Сильный жар. В груди хрипит, мешая дышать. Кроме того, у нее сильный ожог на руке.

Качка совсем прекратилась. Пароход идет плавно, почти незаметно, слегка лишь вздрагивая. А немного времени спустя до нас доносится грохот якорной цепи. Затем наступает тишина.

— Кажется, остановились? — спрашивает меня спутница.

— Несомненно.

— Может быть, мы уже в Лондон пришли?

— Весьма возможно,— отвечаю я, не имея еще действительного представления о времени, проведенном на кожухе.

Такое предположение нас обоих невыразимо радует. Женщина готова уже смеяться. Голос ее крепнет, хоть с трудом, но она уже может разговаривать. Повидимому, силы ее возвращаются. Этому способствует и умеренная температура в нашем помещении.

Мне тоже становится лучше, особенно после того, как я поел немного хлеба, оставленного нам кочегарами.

— Как мне теперь называть вас?

— Наташей,— охотно отвечает она.

Не успел я намекнуть о своем удивлении, что встретил ее в таком месте и в мужском костюме, как она сама пустилась в объяснения.

— Я не сомневаюсь, что вы товарищ,— начала она дружеским тоном.— Поэтому в нескольких словах расскажу вам все откровенно... Видите ли, вместе с другими я оказала сопротивление... Произошла свалка. С той и с другой были убитые. В тюрьму попала. В одиночке долго просидела... До суда. Грозили отправить к праотцам... Тяжело было, невыносимо тяжело... Изболелась душой. До того дело дошло, что хотела покончить с собой... Потом задумала бежать. Симулировала сумасшествие. Долго не верили, испытывали, морили карцером. Но я упорно стояла на своем... Временами казалось, что я действительно лишалась рассудка. Наконец перевели в больницу. План удался... Подождите... Ох, как мне тяжело говорить... В груди что-то мешает... Задыхаюсь...

Она немного отдохнула.

— Так вот я и очутилась на воле. Но я не знала, куда мне деться — ни денег, ни надежных знакомых... Что, думаю, делать? Наконец нахожу одну знакомую, на которую можно положиться. Женщина бедная и с детьми. Приютилась у нее... Место очень опасное, того и гляди, что опять схватят... Остригла волосы. Одела мужской костюм. Совсем превратилась в парня-подростка. Через неделю добыли кое-какой паспортишко... Так я в продолжение трех месяцев и провела у своей знакомой... За это время списалась с Егором. Он в Лондоне живет. Я не говорила вам о нем?

— Это ваш друг, к которому вы едете?

— Да, да... Просит переправиться в Англию. Но денег прислать не может: сам голодает. Потянуло меня туда... Приятельница достала немного для меня денег. На дорогу, однако, не хватает. Решила ехать «по-темному». Тем более, что на мне мужской костюм... В жизни мне всего приходилось переживать... Судьба не гладила меня по головке. Поэтому такой путь не страшил меня... А приключения и риск я люблю. Такова уж натура. Да и не представляла я, что так ужасно будет... Как-то я... Опять что-то душит меня... Как-то...

Голос Наташи вдруг оборвался. Кашляет тяжело, долго. Потом точно чем-то захлебывается.

— Зажгите огонь...—едва произносит она.

Я зажег спичку и ужаснулся: у нее горлом идет кровь...

В продолжение нескольких минут Наташа вздрагивает, хрипит, но затем как-то сразу лишается чувств и вытягивается почти без признаков жизни...

Я сижу возле, не знаю, чем помочь ей. Измученный, я сам вскоре падаю на уголь. Меня охватывает какое-то оцепенение. Я обо всем забываю... И вдруг вскакиваю как ужаленный: за руку укусила крыса. Целое нашествие. Вся наша пища съедена. Привлеченные, вероятно, запахом крови, они прыгают через нас. То и дело слы-

шится пискотня, дергающая нервы. Так и кажется, что вот-вот, стоит лишь перестать шевелиться, и голодные крысы доконча т наше существование.

## VIII

Кочегар Петров, приносивший нам пищу, сообщил, что мы заходили в Киль, где простояли часа три, и пошли дальше.

Следовательно, мы должны пробыть в пути еще четверо суток, прежде чем доберемся до Лондона.

Наша временная радость сменяется унылым разочарованием.

Пароход, раскачиваясь, дает знать, что мы снова в открытом море. Буря усиливается. Слышен глухой рокот моря.

Темно. Опасаясь, как бы не заметил нас угольщик, и лишь в редких случаях зажигаю спичку.

Во время стоянки я немного отдохнул. Но с Наташей стало хуже. Все время лежит на голых углях. От еды отказывается.

— Жжет,— жалуется она.— Ужасная мука! В груди точно расплавленный свинец.

Я беру ее голову и кладу себе на колени.

Она с горечью продолжает:

— Эх, товарищ, досадно... Погибаю в этой проклятой яме. Хотелось бы лучше умереть... С пользой...

— Не падайте духом,— утешаю я.— Как-нибудь доберемся до Лондона.

— О, если бы так... Как я была бы счастлива!.. А Егор как обрадовался бы. Но не выдержать мне...

— У вас есть родители?

— Да, отец... Мать умерла, когда узнала, что ее сына расстреляли... Не вынесла горя... Сразу свалилась... А отец в несколько месяцев состарился... согнулся... Один он теперь... Я не могу ему помочь...

Наташа заплакала.

Я прекратил расспросы и задумался.

Все это тяжелое и безотрадное было знакомо мне.

Буря, постепенно усиливаясь, доходит до наивысшей степени напряжения. Мощный рев доносится до нас сквозь железо. Чувствуется, как там, за бортом, происходит титаническая борьба стихийных сил. Глухие удары по бортам корабля следуют один за другим, и это продолжается без конца. Падая то на один борт, то на другой, он приходит в трепет, точно живое существо. Порой на мгновение останавливается, словно раздумывая, потом, вдруг рванувшись, несется вперед бешено и порывисто.



Сначала я кое-как держался, стараясь поддерживать и Наташу. Но долго мы не можем сопротивляться качке. При сильных толчках мы опрокидываемся, перекатываемся с одного места на другое, ударяемся о железные борта. Уголь, как говорят кочегары, «гуляет». Большие куски его катятся за нами, то осыпая нас мусором, то прощупывая тело острыми углами. Ни минуты отдыха. Боль нестерпимая. В особенности, когда ударишься об уголь обожженным боком.

Чувствую, что с каждой минутой Наташа угасает. Начинает впадать в беспамятство. Бредит:

— Не толкай меня... Мне больно. Да, да... Этот план не годится... Нас переловят...

Сознание к ней возвращается все реже и реже. Однажды в такие минуты я спрашиваю ее:

— Плохо, Наташа?

— Скорее бы конец... Бог мой!.. О, проклятие!..

Трофимов принес нам свой матрац. Пробую уложить на него больную, но она каждую секунду скатывается с матраца.

Проходят сутки. Может, больше. Буря не прекращается. По словам кочегаров, волны перекатываются через верхнюю палубу, сорвана одна шлюпка; опасаются аварии...

Наташа, как-то придя в себя, кричит с болью:

— Не хочу, не хочу!.. Мне страшно... Вынесите меня наверх...

— Но ведь там вы попадетесь капитану... Он выдаст...

Она снова начинает бредить.

Подкатываемся к борту. Лежим некоторое время рядом на одном месте. Вдруг она бросается мне на грудь. Руки ее обвиваются вокруг моей шеи. Чувствуется ее горячее, порывистое дыхание.

— Милый, милый Егор...— шепчет она, целуя мое лицо.

Больные, неестественные ласки чужой умирающей женщины среди жуткого мрака приютившей нас ямы,

при зловещих звуках завывающей стихии, наполнили все мое существо тяжелым леденящим ужасом. Я стараюсь освободиться от объятий. Но она не отпускает и плотнее прижимается ко мне.

— Дорогой мой!

Но тут на помощь мне приходит буря, рванувшая корабль с такой силой, что я мгновенно оказываюсь у противоположного борта, и острый кусок угля больно впивается в мою обожженную щеку.

В последний раз возвращается к Наташе сознание. Сквозь сон слышу ее слабый голос:

— Товарищ... Дмитрич...

Я спохватился:

— Что?

— Умираю,— говорит она, как бы примирившись со своей участью.

Торопливо, дрожащими руками, я зажигаю спичку и смотрю на Наташу.

Лицо израненное, покрытое угольной пылью, жалкое. В глазах слезы. Смотрит печально, с глубокой безнадежностью.

— В портмоне у меня... адрес... Скажите... Егору... я... я ехала... Ох, не могу...

Стонет. Делает последние усилия, чтобы досказать:

— Все... объясните... Пусть... будет...

Она не договорила.

Я бросился к ней...

Напрасно! Она уже в агонии. Смерть вступает в свои права — властная, неумолимая, жестокая... Глубокий вздох... Еще раз... И все кончено. Я держу в руках труп...

Я отползаю в сторону. Лежу на угле, закрыв руками лицо...

Наступает килевая качка. Это буря переменила свой фронт. Она терзает корабль с таким остервенением, что кажется, будто чьи-то гигантские руки, схватив его за мачты, встряхивают в воздухе, как игрушку. Я перекатываюсь с одного места на другое. По-прежнему колотит меня уголь. Израненное тело ноет от боли. Никто не приходит. Слабею. Чувствую, что и мне не избежать гибели...

Что такое? Как будто кто-то наваливается на меня? Ощупываю... Наташа! Но ведь она мертвая! Животный, безрассудный страх наполняет мою душу, и, забыв все, я кричу:

— Помогите!.. Помогите!..

Кто-то тормошит меня за плечо и говорит:

— Митрич! Да будет тебе орать-то!..

Открываю глаза. Передо мной с фонарем Трофимов.

— Что с тобой?

— Покойница... гоняется,— отвечаю я, продолжая еще дрожать.

— Неужто умерла?

— Умерла!

Он осматривает труп Наташи.

— Ну, дела! — говорит Трофимов упавшим голосом, садясь около покойницы.— Не выдержала! Такая молоденькая, слабенькая...

На глазах у него слезы. Задумывается, понурив голову.

— Ну, наварили каши, надо расхлебывать...— так же внезапно, вставая на ноги, говорит Трофимов, и лицо становится сурово-спокойным.— Так-то брат! — прибавляет он, глядя на меня, точно я ему возражаю.— Еще этот дьявол угольщик наткнется... Тут тогда, боже мой, что будет! Уголовщина...

Взяв труп на руки, он относит его к задней железной переборке, где на скорую руку зарывает в уголь.

Что было со мной дальше? Помнится только, как поочередно дежурили около меня кочегары, поддерживая мое разбитое тело на матраце и не позволяя мне «гулять» по яме вместе с углем.

## IX

Буря стихла. Без шума и толчков несется пароход, слегка лишь покачиваемый мертвой морской зыбью.

Но зато теперь начинается действие крыс. Снова во мраке слышатся их пискотня и возня. Они приступают к своей работе, маленькие и жадные, и время от времени нападают на меня. В угольной яме я один. Едва обороняясь от крыс, я лежу на матраце — больной, разбитый. Не могу заснуть ни на одну минуту. Голова отказывается думать. Время тянется медленно.

Кочегары, узнав о смерти Наташи, сильно испугались. Их мучит совесть... Почему, они вряд ли понимают, но, видимо, ясно сознают, что загублена молодая

жизнь ни за что ни про что. В этом они до некоторой степени и себя считают виновными; а еще больше, кажется, мучит их в случае чего... вопрос ответственности. Труп продолжает лежать вторые сутки. Никак не могут улучить удобного момента, чтобы от него избавиться. Предполагали сжечь его в кочегарной топке, но никто не осмеливается взяться за это дело первым. Неизвестность и опасность напрягают нервы и не дают им покоя.

О моем положении больше всех беспокоится Трофимов. Он приходит ко мне, как только представляется возможность.

— Боюсь, как бы и ты еще не умер,— тревожится он за меня.

— Нет, теперь я выдержу,— успокаиваю его я, сам не веря своим словам.

— Так-то оно так. Видать, что крепкого сложения. А все же после такого случая как-то боязно.

Однажды, беседуя со мной, он засиделся у меня долго, рассказывая о своей морской жизни. С ним я чувствую себя гораздо легче, хотя и с большими усилиями поддерживаю разговор.

— На многих кораблях приходилось плавать? — спрашиваю я у него.

— Хватит с меня: семь штук сменил.

— Достаточно, поди, нагляделись, как люди едут «по-темному»?

— Известное дело. С каждым кораблем по нескольку человек отправляются. Когда с матросами уговорятся, а когда и самовольно забираются на корабль. Иной спрячется в трюм али еще куда — и сидит себе. Хорошо еще, коли пищи да питья припасет. А как без ничего поедет? Ведь несколько суток голодает.

— Всегда сходит благополучно?

— Всяко!.. Иной раз хорошо, а иной и, поди, как плохо! Одно только верно: пострадать уж каждому приходится. Случалось, и умирали. Однажды пришли в русский порт, стали товары выгружать, да между тюками и нашли двух покойников. Как тут поймешь, отчего они умерли: может, не ели, а может, укачались морем, а то и еще что другое...

Трофимов закуривает папиросу.

— А то вот еще происшествие. Года четыре прошло, как я плавал на одном корабле. Это был сущий капкан. Как только, бывало, приедем в Россию, так смотришь, и арестовали человека, и все в одном месте: в румпельном отделении. Долго мы ломали голову над этим. А все-таки догадались. Рулевой оказался предатель форменный! Так он, понимаешь ли, из-за границы все людей возил и в России предавал. Проследили мы его. Ну, уж тут и ему солоно пришлось...

— Что же с ним сделали?

— Матросы, коли захотят, сумеют что сделать. Народ-то ведь ко всему привыкший, смелый. Ночью раз вышел он на палубу и стал у борта. Буря была жесточайшая. Один товарищ мой, машинист, силы непомерной, подошел к нему тихо, схватил за ноги да как ухнет его за борт! Скоро это он — только булькнуло. Тот даже крикнуть не успел. Ох, и дрянь был, рулевой-то...

Замолкнув, Трофимов что-то соображает.

— Теперь, знаешь ли, все больше за границу люди едут,— говорит он дальше задумчиво, как бы рассуждая с самим собой.— А вот допрежь было наоборот: в Россию больше направлялись. Плохие, брат, времена настали. Вразброд народ пошел, всякий только для себя живет. Корысть тоже проснулась. Вот оно и выходит: кто кого сможет, тот того и гложет. Эх, жизнь! Не глядел бы на все...

Трофимов что-то еще рассказывал. Но я, через силу напрягая свое внимание, настолько утомил свою голову, что перестал его понимать. Слышались только баюкающие, мерные звуки голоса, лишенные для меня всякого содержания и смысла...

Я заснул.

Последняя ночь. Завтра будем в Лондоне. Путешествию моему конец. О, скорей бы, скорее! Уголь таскают из моей ямы. Я могу попасться.

После полуночи в угольную яму приходят трое: Трофимов, Петров и Гришаток. Один из них держит в руках веревку, другой брезент. Лица у всех озабоченно-угрюмые. Глаза смотрят беспокойно.

— Хоронить пришли,— объявляет мне Трофимов. Кочегары отправляются к трупу.

Желая последний раз взглянуть на покойницу, кое-как и я ковыляю за ними. Шатаюсь, как пьяный.

Трофимов, нагнувшись, с большой силой дергает покойницу за ноги...

Перед нами страшное лицо... Наташа съедена кры-

сами... Все лицо изглодано. Нет ушей, носа, губ. На костях почерневшие обрывки мяса. Зубы оскалены. Остались целыми только глаза, и то без бровей и век. Скосившиеся в сторону, застывшие, с большими белками, отражающими отблеск фонаря, они смотрят так, как будто этот маленький человек, воплотив в себе сатанинскую силу, намеревался совершить самое невероятное злодеяние. Ничего похожего на Наташу...

— Надо действовать! — после тягостного минутного молчания прозвучал властный голос Трофимова.— Времени терять нельзя!

— Я не могу, не могу!..— кричит Гришаток и, спотыкаясь, падая, пускается бежать из угольной ямы.

Но его вовремя схватывает за шиворот куртки Трофимов. Возня, крик... Гришаток смят под ноги. Одна рука сдавливает горло, другая обрушивается на его голову. Он вырывается, хрипит...

— Подлец! Других хочешь подвести! Убью на месте! — рычит Трофимов в каком-то исступлении.

Скосившиеся глаза покойницы смотрят на эту внезапно вспыхнувшую драку, а на изуродованном лице ее, с оскаленными зубами, будто застыла улыбка злобного и острого наслаждения.

Но тут вмешивается в дело Петров.

— Стой, брат! — кричит он, хватая Трофимова за руки.— Что ты делаешь?..

Трофимов останавливается.

Освобожденный Гришаток, ползая по углю, растерянно бормочет:

— Не уйду... Останусь... За что же это ты...

Все трое возятся над покойницей, и каждый старается не видеть лица ее. Толкаются, мешают друг другу. Торопясь, делают не то, что нужно. Наконец кое-как завертывают в брезент и увязывают веревкой.

Уносят труп из ямы.

Через некоторое время Трофимов возвращается и сообщает:

— Слава богу, похоронили.

— Как?

— Сам, поди, знаешь, как хоронят по-морскому: привязали к мертвецу железный груз, перекрестили и спустили в море. А наверх вытащили покойницу в кадке вместе со шлаком по лебедочной трубе.



Вытирает рукавом потное лицо. Дышит устало. Все еще находится в возбужденном состоянии. Беспокойно озирается вокруг.

— Ну, брат, и происшествие! — хмуря брови и качая головой, жалуется он.— Прямо-таки черт знает, что такое...

Немного отдохнув, он берет меня под руки и переводит в другую яму, из которой уголь почти уже весь выбран.

Я остался один.

Тут только я вспомнил об адресе, о котором просила меня Наташа, но уже было поздно... он остался в ее кармане.

## X

Мне только что сообщили, что мы приближаемся к Лондону и идем по Темзе. Некоторое время спустя я и сам услышал, как пароход наш остановился.

Путешествие мое кончилось.

Остается только благополучно высадиться на берег, и я — в свободной стране! С нетерпением жду, когда позовут меня кочегары. Настроение тревожное. Ведь это тот последний этап, от которого зависит все — спастись или погибнуть.

Часа два тому назад я поел. Это меня подкрепило. Силы как будто просыпаются. Встаю на ноги. Ничего: ходить могу, хотя с трудом.

Вдали, где выход из ямы, сверкнул огонек.

— Митрич! — зовет меня Трофимов.— Скорей иди сюда.

Приближаюсь к нему.

— Нас уже проверили,— запыхавшись, сообщает он мне.— Английский чиновник считал нас. Все хорошо. Теперь корабль осматривают. Контрабанду, значит, ищут. Идем.

— Куда?

— В кочегарку.

Не давая мне опомниться, он почти силой тянет меня за собой. На ходу дает наставления, как держать себя, чего остерегаться, выбрасывая при этом слова так быстро, что едва успеваю улавливать их смысл.

— Поддержись, Митрич! Будь тверд! Главное, не сдрейфи! Не обращай внимания, кто бы ни пришел. Ра-

ботай себе и — баста! Несколько минут только. И тогда все. Слышишь? Эх, вот кабы подфартило!

Входим в кочегарку. Светло. Жарко. Котлы, вздрагивая, однообразно мурлычут свою никому не понятную песню.

Трофимов, беспокойный и потный, приоткрывает немного дверь топки и дает мне в руки большой лом.

— Это, чтобы в топке шуровать. Жди, я скажу тебе, когда нужно действовать. За кочегара будешь, понимаешь? А я тем временем начну продувать водомерные стекла. И погляди, как мы их обкрутим. Ну, аллах, выручай!..

Послышался непонятный для меня говор.

— Начинай! — командует мне Трофимов, и раздается пронзительное шипение пущенного им пара.

В этот момент в кочегарку ввалилось несколько человек англичан.

Превозмогая свое бессилие, я нагибаюсь и открываю дверь топки. Яркий свет пламени режет мне глаза. Обдает сильным жаром. Неуклюже тычу ломом в раскаленный добела уголь. В руках у меня такая тяжесть, словно я держу целый железный брус. Обожженный ранее бок как будто кто раздирает когтями. Проходят минуты три-четыре. Силы истощаются. Голова вспухает, точно наливаясь свинцовой тяжестью. Топка кажется огненной пастью. В глазах повернулись все предметы, виски сдавило. Не выдержали ноги, резко и коротко подкосились колени, и я упал. Падение вызвало прилив сознания. Боже мой, ведь эти люди могут заметить, что я чужой. И тогда все надежды, все мечты рухнут безвозвратно. Сейчас арестуют, вернут в Россию...

Я превозмогаю себя. Несколько раз подчеркнуто громко и уверенно повторяю грубое ругательство. Усевшись, поднимаю одну ногу и внимательно осматриваю сапог... Чувствую, что вплотную надвинувшаяся опасность укрепила мой дух. Я могу спокойно ожидать конца...

— Друг мой! Ведь ушли! — радостно кричит Трофимов и, схватившн за плечи, сильно трясет меня.— Спасен, говорят тебе! Понимаешь? Подавись я угольной ямой, коли вру...

От восторга он своей тяжелой пятерней хватил меня между плеч.



— Э, да ты совсем клячей стал. Ну, ничего, ничего... Пройдет...

Начинаю понимать, что я действительно спасен, и грудь моя наполняется радостью.

Немного погодя отводит меня в угольную яму и сейчас же убегает за моим платьем. Однако вернулся часа через два, держа в одной руке мое платье и лампочку, в другой — ведро воды.

— Извини, что очень замешкался,— говорит он угрюмо.— Там арестовали одного...

— Где?

— Наверху, в товарном отделении нашли. Под брезентом лежал. Видать, из рабочих какой-то. Лет под тридцать, пожалуй, будет. Строевые матросы захватили его с собой. Этакие бараны безмозглые: не сумели спрятать как следует. Тьфу...

— Где же теперь?

— В каюте заперт на замок. Где же, ты думаешь? Акула-то наш во как обрадовался! Как увидал того, так и ощерился. У-у, дьявол! В Россию повезет. Ну, да ладно: посмотрим еще, довезет ли до России-то... А пока, парень, начинай-ка свою физиономию в порядок приводить.

С помощью кочегара я в несколько минут умылся и переоделся.

Трофимов провел меня к себе в помещение и усадил за стол.

— Оглядись немного и отдохни. В случае чего — скажи, что в гости, мол, ко мне пришел, и больше никаких. Из города, стало быть, из Лондона. Это бывает.

Угощает супом. Ем без всякого аппетита, почти с отвращением проглатывая пищу, только затем, чтобы запастись на дорогу силой.

Наконец Трофимов перевязал мне чистой тряпкой обожженную щеку, которая от жары в кочегарке снова разболелась, и сказал:

— Ну, парень, давай-ка помаленьку наматывать на берег.

Выходим на верхнюю палубу и, обходя открытые люки, направляемся к сходне. Я жадно всматриваюсь в окружающую меня новую жизнь.

На ясном бледно-голубом небе ярко пылает солнце. С берега тянет весной, теплой, радостной. Дышу смело и глубоко.

Работа в разгаре. Одни суда нагружаются, другие разгружаются. Докеры, рослые, сильные, с обветренными лицами, выполняют свой каторжный труд с такой стремительностью, словно они, доживая последние часы, порешили сразу покончить со всеми делами. Наполненные повозки отъезжают прочь, стуча о камни, а вместо них появляются новые. Паровые катера, пересекая гавань, жалобно воют, точно от боли. Грохочут лебедки. Крики людей тонут в общем гуле портового трудового дня. И вдруг вблизи нас, выделяясь из этого хаоса звуков, раздается протяжный, потрясающий рев. Я оглядываюсь. Это шлет свой прощальный привет огромный пароход, отчаливая от берега, взбудораживая зеленую муть воды. Вот они, английские доки. Какой водоворот силы, какая напряженность!

Берег... Английский берег, давший приют стольким беглецам! Я ощущаю его под ногами! Нет, еще не все, надо еще выйти из гавани. Точно волной несет меня вперед. Кажется, что я вырвался из кромешного ада и меня горячо приветствует жизнь, энергичная, шумная и кипучая.

Мелькнули ворота и сонливо сторожащий их полицейский, грозный и жирный, но смирный, как теленок, и мы — на улице города. Пройдя квартала два, мы сворачиваем в узкий переулок.

— Вот когда ты свободен, как птица,— остановившись, ласково говорит мне Трофимов.— Можешь идти на все четыре стороны.

Вытаскивает что-то из кармана и сует мне.

— Это что? — спрашиваю я.

— Деньги английские. Пригодятся тебе. Кочегары так порешили...

Не хотелось брать от него деньги, но пришлось уступить его настойчивой просьбе.

— Доложу я тебе, Митрич, одну новость!

Он оглядывается вокруг и откашливается. Лицо его становится грустным.

— Приходил к нам на корабль человек. Надо думать, из образованных. Все расспрашивал у команды...

— О Наташе? — догадываюсь я.

— Да... «С этим, говорит, кораблем должен приехать мой друг, молодой парень, он мне, говорит, письмо послал перед тем, как сесть на корабль». И показывает нам письмо. Оказывается, что он уже дня три поджидает ее, покойницу-то. Видать, что истосковался совсем. Долго он приставал то к одному матросу, то к другому. Но тут Петров, чтобы отвязаться, взял да и сказал ему: «Приходил, мол, к нам один малыш, уговорился с нами ехать; через час хотели посадить его на корабль, но он куда-то исчез». Переспросил. Петров опять повторил то же самое. Так он, братец ты мой, человек-то этот, ажно весь вздрогнул. Вздохнул только, но не сказал больше ни слова. И пошел. А как он согнулся-то, Митрич! Точно шесть пудов понес.

Прощаясь, мы крепко обнялись... Я почувствовал у себя на шее могучую, мускулистую руку своего спасителя...

— Может, встретимся когда... Не забывай...

Трофимов, видимо, хотел еще что-то сказать, но от сильного волнения, что ли, как-то растерялся. И, запинаясь, воскликнул только:

— Эх, Митрич! Дай тебе бог счастья!..

— Спасибо тебе, дружище, за все,— ответил я растроганный.

Глаза его вдруг стали влажными. Он последний раз сильным движением тряхнул мою руку и пошел обратно на пароход.

Я посмотрел в его широкую согнутую спину.

Ушел последний человек, знакомый, близкий и понятный мне... А там, впереди... Что там? Какие люди? Какая жизнь?

И я, больной телом, но бодрый духом, двинулся в шумно бурлящий поток лондонской суеты.



## РАССКАЗ БОЦМАНМАТА

Да, братцы, вы, можно сказать, только начинаете службу. Много придется вам казенных пайков проглотить. Ох, много... А я последнюю кампанию плаваю. Че-

рез три месяца уж не позовут на вахту: буду дома... Довольно — почти семь лет отдал морю. Это вам не баран начихал. Да...

Ну да ничего — и вам тужить не следует. Служить можно, особливо ежели в заграничное плавание попасть. Полезно. Притом матросская жизнь не то, что у несчастной пехтуры. Хоть мало там службы, но какой толк из нее, чему научишься? Рассказывают, как солдат поспорил с матросом: кто образованнее. Начал солдат командовать — направо, налево, шаг вперед, шаг назад и всякую другую пустяковину. Матрос выполнил это в лучшем виде. «Теперь, кашица, я тебе скомандую»,— говорит матрос. Стал армейский, вытянулся, точно кол проглотил, щеки надул. Матрос, недолго думая, залез на третий этаж и бросил на солдата мешок с песком. «Полундра!» — крикнул солдату. Тому бы надо бежать, а он ни с места. Мешок ему по башке. Чуть жив остался.

Куда им до флотских! А главное — у нас раздолья много. Правда, трудненько иногда бывает: дисциплина, вахту нужно стоять, докучают авралы, буря пугает, и даже очень. Недаром говорится: тот горя не видал, кто на море не бывал. Зато где только не побываешь? И человек другим делается — храбрее и смекалистее. Море переродит хоть кого.

Расскажу вам, ребята, как я до теперешней точки понимания дошел. А вы вникайте. Может, что и пригодится вам. Бывало, в молодости я сам так же вот, как вы теперь, сижу на баке да прислушиваюсь к старым матросам.

С новобранства — ух, как круто приходилось! Обучающий сердитый был. Мурыжит нас — беда! Кормили неважно. Бывало, нальют в бак суп не суп, а разлуку какую-то. А тут еще тоска брала. И во сне-то все деревня виделась. Жалко было отца с матерью. Дряхлые они у меня, в нужде большой. Притом невесту я имел. Настей звали. Эх, девка, доложу я вам! Очень натуральная. На щеках румянец, что маков цвет. Глаза игривые, синие, как тропическое море. Идет, словно капитанская гичка плывет. Улыбкой ослепляет. А когда принарядится да длинную косу алыми лентами украсит — глядишь, не наглядишься. Играл я с нею по всей ночи. Заберешься, бывало, в сарай или еще там куда и милуешься от зари до зари. Да, привязчивая и с огнем девка. Но



только я честно с ней обходился, потому что для меня она была дороже всего на свете...

Да, кручинился я здорово. А время шло. И я, чтобы забыться, грамотой занялся. Человек я был темный, ничего, кроме деревни своей, не видал, и грамота и морская жизнь на многое раскрыли глаза...

Кончили мы строевое учение, присягу приняли. Из новобранцев в матросов превратились. Наступила весна. Тепло. Жаворонки поют. В парках деревья распускаются, трава зеленеет. Воздух свежий, бодрый. Море солнышку улыбается, радуется, что ото льда освободилось. Люди повеселели. В военной гавани суматоха. Одни суда уже в кампании, другие вооружаются. Начинаем и мы вооружать свой трехмачтовый крейсер. Работаем во всю мочь. Через месяц готово дело: корабль на большом рейде стоит, чистенький, на мачте вымпел развевается.

Пошла морская жизнь.

Правду сказать — первое время ходил я на корабле как ошалелый: ничевохоньки не понимаю. Больно названий разных много и все нерусские. Изволь-ка изучить все эти шкимушгары, шкотовые и брам-шкотовые узлы, брам-гинцы, кранцы и муссинги голландской оплетки; потом люверсы, шпрюйты булиней, рифы талей, реванты. Мало того, ты должен понимать компасы, лоты, лаги, сигналы. Должен знать, как поднимать тяжести, как управляться шлюпками под веслами и под парусами. Одно только парусное учение чего стоит. Бывало, инструктор тебе объясняет, и ты, прости господи, стоишь как истукан, едалы раскрывши. Прямо в отчаяние приходил. Думал — никогда-то мне не выучиться всей судовой мудрости. Ночью лежишь в подвешенной койке и все твердишь: косые паруса на крейсерах бывают — бом-кливер, фор-стеньги-стаксель, фор-трисель. А чуть забылся — Настя перед тобой, свеженькая, как земляничка на припеке, улыбается, к себе манит... Однажды представилось, будто она с другим парнем, обнявшись, от хоровода пошла. С подвешенной, значит, койки упал. Порядочно расшибся. Вы вот смеетесь. Теперь, конечно, и мне смешно. А тогда не до того было. Уж так эти видения сердце расстраивали, что одна мука...

Как-то отправились мы в город за провизией. Четырнадцативесельный баркас дали нам. Туда шли

утром, погода хорошая, а к вечеру, когда возвращались, страшная буря поднялась. А может, это только показалось мне. Раньше я не только моря, но и реки-то порядочной не видал... Ветер так и рвет, волны так и хлещут. Море ревет, пенится, обдает брызгами, точно сбесилось. Катер наш подбрасывает, как скорлупу ореховую. Испугался я тут до смерти. На волну взбираться туда-сюда, а как вниз полетишь — все нутро замирает, дух захватывает. Глядишь — катится на тебя стена. Ну, думаешь, тут тебе и могила. Прошла... Не успеешь вздохнуть — другая... Того и гляди, весло вырвет или самого в море швырнет. А квартирмейстер наш, угреватый, синий, рот у него большой, как у лягушки, глазищи зеленые, дикие, сидит себе у руля и хоть бы что... Мы, молодые матросы, молитвы творим, а он чепушится что ни есть крепкими словами.

— Нажимай хорошенько, трусишки несчастные!..

И как начнет перебирать всех святых, богов, боженят, да все в печенки, в селезенки, в становой хребет,— еще пуще страх тебя берет... Такого не сыскать головотяпа...

Как видите, ростом я небольшой, но силенкой бог не обидел. В груди двадцать два вершка имею. Обозлился я, рванул весло. Оно надвое. Квартирмейстер мне в зубы... Тут я и понимать перестал. Держусь обеими руками за банку, а вокруг пустыня мерещится и по ней будто стадо белых коней скачет...

Море плюется, квартирмейстер тоже.

— На, выкуси!..

А то небу начнет кулаком грозить.

Я сижу ни жив ни мертв.

Вдруг слышу:

— Крюк!

Потом еще:

— Шабаш!

Оглядываюсь — наш крейсер. Слава богу... Только всю ночь потом дрожь пробирала. Проклял я тогда все на свете... Не успел я оправиться от одного приключения, как другое произошло. Начали учить нас по вантам лазить... Корабль под парами полным ходом шел, покачивало порядочно. Меня на марс послали. Поднимаюсь. Ванты зыблются. У меня руки и ноги трясутся... Чем выше, тем боязнее. Я назад. А боцман — Селедкой команда прозвала его, потому что за пятнадцать лет службы просолел он совсем,— раз-раз меня резиновым линьком. Точно огнем обжигает спину!.. Я даже не заметил, как на марс взобрался. Гляжу вниз — высоко! Качка наверху сильнее. Мурашки по коже забегали... Лег я на площадку, ухватился за что-то руками и замер. Боцман наскакивает на меня, точно зверь лютый, а я ни с места и зуб на зуб не попаду... Прилезли еще четыре квартирмейстера. Насилу оторвали мои руки. На талях спустили на палубу. Осрамился, можно сказать, на весь корабль.

Взяло меня тут горе совсем. Не раз даже плакал. Домой письмо написал — прощайте, мол, не видеть вам больше своего сына. Думал в полет удариться. Да спасибо землячку рулевому, тот меня все успокаивал.

— Подожди, привыкнешь, не то запоешь.

— Нет,— говорю,— моченьки терпеть больше...

— Три к носу — все пройдет...

И верно оказалось. Втянулся и я в судовую жизнь. Все больше в понятие стал входить насчет каждой вещи. Служба пошла веселее. Ко всему любопытство пробудилось. Примерно, громоотвод взять. Жаль, что сегодня ночь темна — не видать его. А вы, ребята, завтра днем посмотрите на верхушку мачты. Там увидите железный прут. Это и есть громоотвод. Интересная штука, ей-богу! Знаю, что вы боитесь грома. Допрежь и я боялся. Думал — Илья-пророк, осерчавши, стрелы пускает в грешных людей. И только на судне узнал — чепуха все это. Хоть тысячи громов греми, хоть тресни само небо, а корабль все-таки невредим остается, раз на нем такой прибор поставлен. Вот оно что... С этого-то, по совести сказать, я и ударился в разные мысли. Раньше в телесах силы было сколь угодно, а на чердаке ветер дул. А теперь ничего: мозги, что твоя динамо-машина, работают и на всякое происшествие свой свет бросают.

Мало-помалу вошел я в свою роль на корабле. Боязнь исчезла. Сердце окрепло. Даже старший офицер, замечаючи мою перемену, доволен мною оставался. Хлопает по плечу и говорит:

— Вижу, что из тебя лихой матрос выходит. Молодец, Грачев!

— Рад стараться, ваше высокбродье! — отвечаю.

И другие молодые матросы похрабрели. Бывало, во время парусного учения старшой выйдет на мостик и гаркнет:

— К вантам! По марсам и салингам!

Бежим по мачтам, как бешеные. Кошкам не угнаться. А тебе опять команда:

— По реям!

Вон как высоко, а ты работаешь, ровно на палубе... Буря, качка — не влияет...

...Подожди, Буек, не лезь. Видишь — я занят; молодятинку просвещаю. Ведь вот пес, а с матросами в большом ладу живет. Мне кажется, он все понимает. Только не может объяснить свои мысли. Матросы начнут веселиться — он тоже зубы скалит, взвизгивает. Смеется форменным образом. А сделай при нем какую-нибудь глупость, сейчас же застыдится, подожмет хвост между ног и пойдет прочь. «С остолопом, мол, не хочу дела иметь...» Третью кампанию плавает. С первого раза он тоже порядочно труса праздновал. Бывало, в бурю, как завоет благим матом! И тошнило его не хуже матроса. А теперь моряк хоть куда... Раз в Либаве он за какой-то сучкой начал увиваться. Отстал от команды. Все вернулись на судно, а его все нет. Так и решили, что пропал наш Буек. А он всю ночь проблудил и утром сам на корабль приплыл...

За свою службу мне два раза пришлось за границей побывать! Дай бог, чтобы каждому из вас такое счастье выпало. Сначала на крейсере ходил, значит, на строевого квартирмейстера занимался. Тогда трудновато было: занятия одолевали. Потом на канонерскую лодку попал. Тут лучше было...

Ох, ребята, хорошо в дальнее плавание уходить! Скитайся по синим морям, любуйся на разные диковинки, потешай свою душеньку... Побывал я везде: и в Европе, и в Америке, и в Африке, и в Индии. Сколько людей разных видел. Немцы и англичане народ неразговорчивый. А вот французы, итальянцы — это да! Живости в них хоть отбавляй. Если языком не могут, то руками, ногами, головой начнут действовать, и обязательно разговорятся. Выпивают с нашими матросами вместе, песни поют, обмениваются фуражками, фланельками.

Как-то мы стояли в Неаполе. Город грязноватый и бедноты в нем много, но, по-моему, он лучше всех немецких городов. Весь солнцем залит. Кругом веселье: тут смех раздается, там музыка играет или песня зазвенит. Беззаботные, право, эти итальянцы, что птицы небесные. Любят порадоваться. А главное — простой народ, дружелюбный. Сбоку города вулкан-гора стоит. С версту, говорят, высоты. Днем дымится, а ночью над ним, как на пожарище, зарево стоит. Одно восхищение. Как увидел я этот вулкан, так и ахнул... Сейчас же к доктору:

— Объясните, мол, ваше высокобродье, отчего это дым из земли идет?

Хороший он у нас был. Доказал он ясно мне, почему внутри земли огненная лава находится и как эта лава иногда наружу выпирает. Даже книжки дал, а из них я и сам все доподлинно узнал об этом...

Тут же древний город Помпей. Давным-давно, вскоре после рождества Христова, этот вулкан пеплом засыпал его, а теперь итальянцы отрыли. Для науки, значит. Ходил я по нем. Улицы, дома — все как по-настоящему.

Чудеса, ей-богу!

Заходили мы и в Алжир. Интересно. Декабрь на дворе стоял, а мы раздетыми гуляли. Тепло, как летом. Дома высокие, белые, с плоскими крышами. По улицам зеленые деревья рядами тянутся. В садах полно цветов. На финиковых пальмах ягоды кистями висят, дозревают. Около ресторанов раскинуты тенты, а под ними публика за столиками сидит, винцом прохлаждается. Больно африканцы любопытны. Есть из них только смуглые, а есть черные, как сажа, губы толстые, вывороченные. И одежда какая-то чудная. Женщины ходят в белых плащах со сборками на спине. Лица закрыты чадрой. Это чтоб чужие мужчины на них не зарились. А перед мужем-то она вся раскрывается, догола. Гляди сколько хошь. Мужчины тоже в плащах, а на головах чалмы...

В Алжире один лейтенант купил обезьяну. Что она проделывала, чтоб ей пусто было! Мы лезем на мачту, и она с нами. Да ведь куда? До самого клотика добиралась. А то кому честь отдаст по-военному, кому язык покажет. И много разных причуд показывала. Словом, здорово развлекала команду.

Гальванер один сказывал, что люди и обезьяны от одного существа произошли...

— Неужто это правда? — спрашиваю.

— Факт, а не реклама,— отвечает, а объяснить как следует не может.

Я опять к доктору за разъяснением.

— Об этом,— отвечает,— не полагается тебе знать.

— Почему же, ваше высокоблагородье?

— Скучно будет жить на свете...

Долго я его охаживал. И так и сяк к нему подбирался. Купил ему в подарок попугая с клеткой. Птица такая есть, может по-человечески говорить. Не поддается. Только ухмыляется себе в усы, и больше никаких. А я какой человек? Как втемяшится что в башку, так уж тут беда — спокою себе не знаю. Подъехал к одному мичману. Ночью на вахте разговорились с ним и намекнул:

— Обезьяна, мол, животное, а здорово смахивает на человека.

— Ну, и что же? — спрашивает он.

— И смышленая такая... Вроде как сродни людям...

— Дальше?

Что ему тут скажешь? Он строгим сделался, а меня робость взяла. Ответил только:

— Во всем, ваше бродье, сказываются дивные дела господа...

Поглядел он на меня, покачал головою и изрек:

— Глупый ты, Грачев, матрос...

А доктор все-таки уважил меня. Во французском городе стояли мы. Взял меня с собой в музей. А там чучелов разных — уйма! Тут-то он и порассказал мне все. И по его выходит, что не только человек и обезьяна сродни, но и всякая живая тварь, примерно лошадь, змея, собака, червяк, от одной клетки произошли. Так явственно объяснил, что никакого сомнения не осталось. Прямо перевернул все мои понятия...

Побывали мы еще кое-где и месяцев через семь повернули домой, то есть в Кронштадт. Шли то под парами, то под парусами. Команда за это время сдружилась, привыкла к морской жизни, усвоила судовые науки. Паруса ставили в две-три минуты. Только бури нас сильно одолевали. Но нигде так не доставалось нам, как в Бискайском заливе. Волнами чуть мостик не снесло. А в борт било точно таранами. Такая встряска была, что удивляешься, как только живы остались. И то одного матроса с палубы смыло. Погиб парень... Злой этот залив, будь он проклят! Много в нем моряков утонуло.

А командир у нас был бедовый. Первый год на крейсере плавал. Вот любил команду! Если пища плоха — разнесет весь камбуз. Но уж больно горяч и с виду страшен. Лицо все в волосах, брови торчмя стоят, глаза пронзительные, точно у орла. Чуть кто провинится перед ним, весь кровью зальется, задрожит и как вихрь налетит.

— Убегай!.. Убью!..— кричит, точно полоумный; схватит с головы матроса фуражку и начнет ее рвать в мелкие кусочки. А через час или два опомнится, призывает матроса к себе в каюту.

— Прости,— говорит,— что я так . Вот тебе за фуражку.

И пару целковых даст.

Сначала матросы очень пугались, а потом привыкли и хорошо с ним задружили. Только есть из нашего брата канальи. Нарочно на его глазах что-нибудь протяпывали, чтоб за фуражку два целковых получить. А ей цена всего двугривенный. Заметил это командир — давай сбавлять награду. Когда согнал до полтины, перестали дурить...

Рассказывали про него, будто раньше, по горячности своей, с матросом что-то сделал... Убил, что ли, или еще что... С тех пор боится, как бы опять грех не получился... Ну и дело хорошо понимал. Выйдет на мостик, покрутит носом по воздуху, посмотрит на море, на небо и сразу скажет, какая будет погода. И храбрость имел. Ему все было нипочем. По ночам будил команду и посылал наверх паруса крепить. Однажды с койки нас подняли. По расписанию я должен на грот-брам-рее работать. Буря была свирепая. Крейсер шел на фордевинд. Темнота, хоть глаз выколи. Дождь льет. Холодно. Море шумит. Ветер в снастях воет, свистит и, кажется, готов у тебя мясо с костей сорвать. Держись! Чуть зазеваешь — крышка! Костей не соберешь, ежели с такой высоты о палубу треснешься. А в море попадешь — тоже поминай как звали... Но страха ни капельки. Ровно без памяти я стал. Работаю по привычке: руками, ногами, зубами... Ногти заворачиваются... Снастью тебя огреет по лицу или парусом... Ладно, не до этого... Сердце как в огне горит... И только когда на палубу спустился да очухался — жутко стало...

Эх, всего бывало!..

Пришли в Кронштадт. Экзамены начались. На все вопросы я отбарабанил, как дьячок. Произвели меня в квартирмейстеры. Служба пошла легче. Своей приго-

жей Насте послал я заграничные гостинцы. Очень обрадовалась и пишет, что ждет не дождется меня.

Кончили кампанию. В экипаж переселились. Доктора от нас списали на другое судно. Жаль было с ним расставаться. Попрощался со мною по-хорошему, дай бог ему здоровья...

...Ну-ка, Мишухин, подай мне фитиль. Закурю я свою заветную трубочку. В Периме купил. Берегу. Э, дьявол, плохо что-то раскуривается. Табак, видно, отсырел...

Так... Как-то узнал я, братцы, из книжки про микробов. Это маленькие такие животные, может, в сотню раз меньше гниды. Увидать их можно только в микроскоп. Прибор так называется с увеличительным стеклом. И вот захотелось мне в этот самый микроскоп посмотреть своими собственными глазами. Жив, думаю, не буду, а добьюсь своего. Хорошо. Начал я допытываться у понимающих матросов, куда мне обратиться. Долго я старался, пока не наткнулся на рулевого. До службы на штурмана он занимался.

— У студентов,— говорит,— попроси...

— Откуда же,— спрашиваю,— у них микроскоп будет? В нашей деревне, Просяной Поляне, студентом вора прозывали. А он в кармане только гвозди носил для отмыкания замков...

Тут-то рулевой и просветил меня насчет студентов. Ах, черт возьми, да это, оказывается, самые башковитые люди. Ладно... Беру от экипажного командира билет и айда в Питер. Хожу по улицам. Зима. Морозец лицо пощипывает, зажигает румянцем. Народу много. Нет-нет да и встретится студент. Спрашиваю у одного насчет своего дела. Расхохотался только и пошел от меня прочь. Я плюнул ему вслед. К другому обращаюсь.

— Я,— говорит,— историю изучаю и никаких делов с микроскопом не имею...

Досадно мне, а все-таки на своем стою. Попадается еще студентик, маленький, горбатый. По одежде видать — из бедных. Объясняюсь с ним. Ничего — слушает серьезно, расспрашивает. Потом говорит:

— К сожалению, я микроскопа не имею, потому что на юриста занимаюсь. Но у меня есть друг, который на профессора готовится. Он вам покажет.

Слава богу. Дело, думаю, налаживается...



Приходим в квартиру ученого. Комната узкая, длинная. Все полки уставлены какими-то баночками, книгами. На столе, на стульях тоже книги. Некоторые раскрыты. И столько их, что мне не прочесть бы за всю жизнь.

Сам ученый — человек высокий, худущий. Ноги длинные, тонкие, раздвинуты, как циркуль. Голова большая, волосы назад зачесаны, виски с плешами. На носу пенсне и роговой оправе. Одет просто. А что меня больше всего удивило в нем — это лоб. Крутой такой и вершка четыре высоты. Сразу видать — толстодум!

Я даже растерялся, как увидел ученого. Выпрямился, руки по швам держу.

Мой студент рекомендует меня с усмешкой:

— Познакомься — интересный экземпляр...

И рассказал ему, чего я добиваюсь.

— Так вы хотите в микроскоп посмотреть? — спрашивает меня ученый.

— Так точно, ваше высокоблагородье, очень даже желаю,— отвечаю я.

Он покраснел, нахмурился. Что, думаю, такое? Неужто в генеральском чине?

Протер пенсне платочком, поморгал глазами и на меня посмотрел внимательно так. Потом говорит мне ласково:

— Присядьте на стул... Вы напрасно меня так величаете...

— А как же прикажете?

— Просто — Василий Иванович...

Вижу — человек добрый, обходительный. Я посмелел. Поговорили немного. Потом ученый поставил на стол машинку, микроскоп-то этот самый. А когда он все приготовил, я посмотрел в него.

Ах, братцы мои, ну до чего это интересно! Маленькая капелька воды стала с яблоко величиною, а в ней штук пятьдесят микробов. Живые, копошатся. Да вы себе и вообразить-то не можете такую вещь. А Василий Иванович все мне объясняет и другие сорта показывает. Он их сам разводит, микробов-то. Прямо точно колдун какой-то. Есть из них заразные. Попадет к тебе внутрь и сразу уложит в могилу.

Больше часу я любовался.

Кончили мы с микроскопом, полбутылочку водочки

втроем разгрызли, закусили сырцем, колбаской и расстались друзьями.

Теперь кажется, будто во сне все это видел.

И какие люди есть на свете! Взять, например, Василия Ивановича. На профессора готовится; студенты башковиты, а он обучать их будет. Это понять нужно. А со мной обошелся так запросто, ровно товарищ. Вот...

Целую зиму провел я в экипаже. В свободное время все книжками увлекался. Хотел достукаться до настоящего понимания жизни. И дело хорошо шло на лад: голова моя пухла, хоть обруч железный нагоняй на нее...

А летом меня списали на канонерскую лодку. Нагрузились мы разными припасами и опять в заграничное плавание махнули. На этот раз еще дальше побывали. В новые места заходили, новые диковинки смотрели. И ко всему у меня любопытство все больше росло...

Бывало, ночью идешь... Темень непроглядная. Кругом ни живой души. Все море, море. Кажется, никого на земле нет, кроме нашего корабля. Даже беспокойство начнет зарождаться. И вдруг где-нибудь далеко-далеко, чуть видно, огонек засветится. Смотришь — оказывается маяк. Мечет в черную пустоту лучи свои, как будто успокаивает:

«Не бойтесь... Курс верный...»

На душе сразу приятно станет.

Иногда утес попадется, высокий, бурый, весь в трещинах. Внизу волны бьются, окружают его снежной пеной, что-то рассказывают. А он, точно часовой на посту, стоит одинокий среди моря и будто следит за направлением кораблей...

Всю осень наш корабль проканителился в Средиземном море, а к зиме направился в Индийский океан.

Проходили через Суэцкий канал. Удивительный, братцы, этот канал. Тянется он на сто сорок верст и два моря соединяет. Африканский берег зарос скудным кустарником и тростником, а на азиатском ничевохоньки нет. Только видны желтые пески пустыни — далеко-далеко, до края горизонта. Господи, чего только человек не придумает! Ведь нужно же такую махину прорыть.

Вступили в Красное море. Не знаю уж, почему оно так называется. По цвету оно вовсе не красное, а синее, как небо. Это то самое море, через которое Моисей провел израильтян. Говорили мне раньше, будто в нем есть фараоны — голова человечья, а хвост рыбий.

Брехня все это..,

Жара все увеличивалась. А когда вошли в Индийский океан и стали к экватору приближаться, терпения от нее не было. Над палубой и мостиком тенты развешаны. Ходим в одних сетках. Не помогает. Готов кожу с себя содрать. Постоянно окачиваемся морской водой. Свежей пищи нет. Кормят солониной, кислой капустой, сухарями. Пресную воду красным вином разбавляют, а то невозможно пить — теплая, противная. А у кочегаров и машинистов сущий ад. Часто замертво вытаскивали их на верхнюю палубу, размякших, как пареная репа...

Зато поглядеть — красиво! Полный штиль, на небе хоть бы одно облачко. Пышет жаром солнце, а океан греется и не дрогнет. Похож на голубое, отшлифованное стекло без конца и края, а на нем будто часть солнца рассыпалась золотыми плитами — сияют, ослепляют глаза. Редко, когда порхнет ветерок, океан поморщится, будто щекотно ему. Иногда, точно наши воробьи, поднимутся над водой летучие рыбки, заблещут серебряной чешуей. В небе пронесется белый альбатрос. Птица это большая, вольная, любит простор. Часто акулы преследуют корабль, а их лоцмана сопровождают, как флаг-офицеры адмирала. Человечьим мясом не брезгуют, подлые. Для матроса очень опасная рыба...

Раз поймали мы одну акулу! Сделали машинисты удочку с руку толщиною, насадили на нее в полпуда кусок солонины и бросили за борт,— сразу цапнула дура, не подумавши. Вытаскиваем ее на ют. Большая — аршин пять длины. Не понравилось ей на корабле — бьется, хочет вырваться, а ее все ломом по башке... Ну, и живучая, идол! Потом топором разрубили — половинки дрыгают. Вытащили сердце — бьется: лежит на палубе и будто дышит.

Даже жутко смотреть...

Подходит сигнальщик.

— Зубы-то,— говорит,— какие острые!..

Привык к казенным глазам — к биноклям да к подзорным трубам, своим не верит. Захотелось пальцами пощупать. Сунул в разинутую пасть руку, а она, акула-то, как тяпнет. На одних жилочках осталась рука. По-

сле доктор по локоть отхватил ее. По чистой ушел домой.

Вот еще проказники — дельфины. Любят они корабль сопровождать и разные представления проделывать. Построятся в один ряд, как матросы во фронт, и все сразу, точно по команде, начнут сигать над морем. «Гляди, мол, нашу гимнастику — не хуже вас можем орудовать...»

Надоест это им — начнут в отдельности всякие фокусы показывать: один вверх животом перевернется и поплывет, другой кувыркнется, третий рыбку вверх подбрасывает. А темной ночью, когда по сторонам корабля они начнут бултыхаться и плескаться, еще того лучше. Вода блестит, будто сера горит, синие искры рассыпаются. Ну, до того это красиво, что глаз нельзя оторвать.

Люблю я, братцы, темные тропические ночи. Бывало, лежишь на заднем мостике в чем мать родила и смотришь, как заря догорает. Тихо, тепло. Корабль идет ровно, без качки. Команда спит. Все темней становится. Море черное, как деготь. За кормой вода бурлит и светится. Вверху звезды горят, яркие, крупные. По середине неба Млечный Путь, точно река, усыпанная золотом. От движения корабля теплый ветерок тебя обдувает, ласкает любовно, как мать ребенка...

— Господи, как хорошо! — шепчешь, бывало, и по щекам слезы катятся. От восторга, значит... И все в ту пору мило: звезды, земля, море, каждая рыбка, козявка, каждый листик, а больше всего — человек!..

Впереди покажутся отличительные огни, точно два разноцветных глаза,— красный и зеленый. Это идет навстречу какое-то паровое судно. Мы обмениваемся с ним курсами. Я от всего сердца говорю ему вслед:

— Попутного ветра...

И так уснешь с добрыми мыслями. Если на вахте не придется стоять, беззаботно спишь до утра, пока не услышишь команду:

— Вставай! Койки вязать!

Смотришь — уже солнышко встает, красное, свежее, точно в море выкупалось. Мы идем ему навстречу, и оно приветливо сияет, румянит море и наши лица...

Хороши и светлые ночи. Бывает, что луна прямо над головой стоит. Мелкие звезды гаснут, остаются только крупные. Белеют накрытые парусиной шлюпки, блестят



медные раструбы вентиляторов. Море залито сиянием и кажется беловатым, точно молоком разбавлено. Далеко видно вокруг... Бывало, стоишь на вахте и раздумаешься. Настя на уме. В шелк ее нарядишь, самоцветными камнями украсишь. Гуляем с нею в тропическом саду. В нем самые красивые деревья. Птицы поют. И куда ни глянь — все цветы, цветы. Солнцем брызжет, светом. В озерках рыба играет. Ласкается Настя, любовные слова говорит... И все как наяву...

Эх, эти тропические ночи! Здорово на воображение действуют!..

Иногда про свою деревню вспомнишь, Просяную Поляну, и станет обидно до слез. В лесу она стоит, сугробами завалена. Темные люди живут в ней, слушают зимнюю вьюгу, бьются в нужде, с нуждой умирают. И никогда им не узнать, как велика земля, кто населяет ее, какие есть моря...

Ну, да об этом не стоит говорить.

Заходили мы на Цейлон. Там получили приказ из Петербурга вернуться обратно в Россию.

Забыл я вам, ребята, сказать: с офицерами нужно держаться умеючи. А то ни за что пропадешь. Не в похвальбу будь сказано, я мог с ними ладить. Им никогда меня не раскусить, а я каждого из них насквозь вижу. У кого какой характер, кто знает морское дело, а кто только языком берет,— ничего от меня не скроешь! Появится новый офицер на корабле — я сейчас же приглядываться начинаю к нему. Важно изучить его, чтоб уметь потрафить и не быть грязечерпалкой. Разные из них бывают. Один любит, чтобы на чин выше хватить, когда его величаешь, другой — чтоб обо всем спрашивать у него. Случалось, иной начнет выведывать меня. А я ему столько понакручу, что сам дьявол ногу сломит. И все-таки однажды обмишулился, так обмишулился, что чуть лычки с меня не содрали.

На канонерской лодке был у нас старшим офицером лейтенант Краснов, толстый, короткий, как мортира; усы большие и торчали в стороны, как выстрелы на корабле, глаза водянистые. За чудаковатого считался. Каждого матроса звал Микитой, а матросы прозвали его этим именем. К команде очень свиреп был. А когда подвыпьет порядочно, ходит по кораблю и кричит:

— Я китайский император!..

Со всеми целуется.

— С вами,— говорит,— молодцы, я могу все нации вдребезги разнести...

Однажды вижу я — в носовом отделении бычачьи рога валяются. Хорошие такие рога, большие, но на корабле они ни к чему. Я их выкинул в море. А оказалось, что старшой отдавал их столяру отделать. Узнал он о моей проделке и семафорит пальцем:

— Эй ты, Микита, поди-ка сюда!..

Подхожу.

— Ты выкинул рога за борт?

— Так точно, ваше высокобродье, потому, как предмет неподходящий...

Перебивает меня сердито:

— Да как ты смел? Ты понимаешь, это мои рога?

А я возьми да и брякни:

— Виноват, ваше высокобродье, я думал, бычачьи.

Он ажно присел, золотые зубы оскаливши. Вставные они у него были. Попало мне порядочно. А главное — взъелся с этих пор на меня, беда как! И все грозился:

— Я тебя, Грачев, проучу!

Несдобровать бы мне, если бы вскорости не застрелился он. Вестовой рассказывал, что жена у него с каким-то богачом спуталась, вот он и лишил себя жизни...

После второго заграничного плавания меня в боцманматы произвели. Значит, еще легче служба пошла... С тех пор я на этом броненосце плаваю. Каждое лето по четыре месяца в кампании нахожусь, а зиму на берегу провожу.

Ну-ка, кто там, подайте-ка фитиль. Закурю еще разок. Вот...

Одно время про Настю и совсем забыл. Случай такой произошел.

Однажды в праздник пришлось отвезти офицеров на берег. Высадил я их с парового катера на пристань и пошел обратно к своему судну. На большом рейде оно стояло. Я тогда считался старшиной катера. Вижу, солнышко светит, но как-то сразу погода начинает свежеть. С востока черная туча надвигается, полнеба закрывает. Ветер все крепчает, быстро гонит ее на нас. Чайки беспокойно летают, кричат. Быть, думаю, буре. И не ошибся... Не успели мы выйти из гавани, как налетает шквал. Запенилось море. Все вокруг гудит, точно тысячи труб трубят. Кружатся вихри, поднимают воду, дробят ее и брызги. Туча уж над нами. Дымится, будто



небо горит. Солнца не видно. Море потемнело. Скачут белые волны, несутся куда-то, давят друг друга... Молния, гром. А ветер все сильнее бушует. Брызнул дождь. Трудно глядеть вперед. До корабля еще версты две остается.

Смотрю: с левого траверза маленький ялик кувыркается. В корме женщина сидит, под веслами — мужчина. Работает он веслами изо всех сил, а ветер уносит их все дальше в море. Ялик то на дыбы встанет, то нырнет носом между волн. Не может справиться с бурей. Вот-вот катавасия произойдет. Кладу право руля и полным ходом к ялику лечу. Близко уже. Уменьшаю ход. На барышне лица нет. Вся мокрая, кричит что-то... Вдруг ялик подбросило на гребень волны и перевернуло. Мужик за дно ялика ухватился. Барышню в сторону отбросило. Барахтается она в воде, а волны через голову хлещут. Дрогнуло мое сердце. Кричу носовым матросам:

— Крюк подайте!

А сам катер мимо барышни направляю так, чтобы она с подветренного борта очутилась. Матрос один, вместо того чтобы только подать ей крюк, зацепил ее за плечо. Платье разорвалось, на голом теле царапина видна. Бросаю руль, перегибаюсь через борт и хвать за волосы! Одним мигом выхватил ее из моря... Потом мужика спасли, ялик взяли на буксир и направились обратно к пристани...

Барышня дрожит, плачет, кашляет от соленой воды, не может слова сказать. Мужик скорее очухался. Рассказывает нам:

— Мы, значит, с ей гулять выехали в море, с барышней-то. Все, значит, ладно было. Она аж песни голосила. А тут этакое приключилось. А што спасли — за это, значит, спасибо. Магарыч поставлю. Только бы получить с ее милости...

— Что,— спрашиваю,— получить?

— Да за провоз. Полтора целковых, значит, выладил... Ну, не довез обратно — верно... Дак разве, значит, я тут виноват?..

Дурашный мужик, жадный!

С пристани барышню отправили на извозчике домой.

Вскоре я медаль получил за спасение, а командир при всей команде меня благодарил. Хоть не заслужил,

но отказываться от награды не стоило. Потом от барышни письмо получил. Ловко написано. Просит к ней зайти.

Через две недели познакомился с барышней и с ее семьей.

Приняли они меня, как родного. Барышню Ольгой Петровной величают. Отец ее доктором был, умер. Осталась старая мать да братишка-гимназист лет двенадцати. Живут, по-видимому, не бедно: несколько комнат имеют, рояль, мягкие кресла, на стенах портреты висят...

Невысокая Ольга Петровна, хрупкая, но очень приятная. Блондиночка, на щеках ямочки, глаза серые, веселые. Волосы пушистые, густые. Голосок звонкий, как у перепелки.

После кампании я у них стал частенько бывать. Бывало, вырвешься из экипажа и прямо к ним. Чаек попиваешь, разговоры интересные слушаешь. Иногда Ольга Петровна на рояле сыграет. Я все с расспросами пристаю по ученой части. Здорово объясняла. Очень образованная... Другой раз я начну заливать ей про наше житье-бытье: что на корабле делаем, как по морям ходим, что видим...

— Ах, Никанор Матвеевич, как это интересно! — восторгается Ольга Петровна и глазами обласкивает.

Все лучше ко мне относится. Мать и братишка тоже со мной дружат. Стал я у них будто свой человек.

И вот ходить бы мне к ним и ходить, да муть с души прочищать... Так нет же! Подставил мне дьявол ногу: влюбился я в эту самую Ольгу Петровну до потери рассудка. Да и как и не влюбиться? Очень обольстительная девица. Глазами, улыбочкой так тебя и привораживает, так и притягивает к себе. Говорить начинает, что ласточка щебечет. Называет меня «голубчиком», «милым». А то рядом сядем, из книжки начинает что-либо объяснять, а сама волосами до моего лица прикасательство имеет. Ну, известное дело, меня всего в жар бросает и перед глазами круги ходят... Иной раз смеется:

— От вас, Никанор Матвеевич, ароматом моря веет...

— Это,— спрашиваю,— как нужно понимать?

— Да в хорошем смысле,— отвечает.

Словом, по всему выходило, будто и она привержена ко мне. Стал я задумываться: как теперь быть?



День-другой не побываешь, не знаешь, куда деться от тоски тоскучей. А повидаешься, только больше и расстройство приходишь. Больно я азартный сердцем... Худеть стал. Лицо из черного в зеленое превратилось. Глаза ввалились. Товарищи узнали, насмехаются:

— Дай-ка, Грачев, ход назад — и баста! С твоей ли рожей, на прожектор похожей, такую барышню прельстить? Это все равно, что выше клотика залезть...

А я чувствую, что не отстать мне от нее. Силушки нет. Точно стальными канатами пришвартовало мое сердце...

Почему бы, думаю, ей не выйти за меня. Разве кто-нибудь может полюбить ее больше меня? Необразованный? Научит. Будут дети — в гимназию отдадим...

Наступили святки. Невтерпеж мне... Хоть ложись да умирай...

Решаю объясниться. А как объясниться, что скажешь? Это тебе не Настя. Ее не возьмешь на абордаж и не прижмешь к плетню. К ней нужно подойти осторожно, по-ученому...

Прочитал я как-то в романе про любовь одного адвоката. Э, вот как, значит, надо действовать! Ладно. Несколько ночей не спал, все обдумывал, как лучше подойти к Ольге Петровне и какие слова сказать.

На первый день рождества побрился, почистился, в первый срок нарядился. Отправляюсь к ней. Открываю дверь. С праздником поздравляю. Смотрит на меня и удивленно спрашивает:

— Что с вами, Никанор Матвеевич?

— Ничего, Ольга Петровна.

— Вы больны?

— Пока слава богу.

Беспокоится обо мне, какой-то порошок дает, к доктору советует сходить, старается развеселить меня. Ничего не помогает. На душе у меня ад кромешный. Мать с сыном в Питер уехали. Хочу воспользоваться этим случаем и открыться — смелости не хватает. Посидел немного и ушел.

Опять не спал всю ночь. На второй день вроде шального стал. А когда к Ольге Петровне пришел, она даже испугалась.

— У вас,— говорит,— страшные глаза...

С расспросами пристает ко мне, хочет до причины допытаться. Я отнекиваюсь.

— Лучше сыграйте что-нибудь,— упрашиваю ее.

Села за рояль и ударила по клавишам. Зарыдали струны. Жалостливая песня... Без слов я почувствовал, будто про меня она составлена. И тут душу мою такое смятение охватило, что брызнули слезы. Нагнулся я. Ольга Петровна ко мне подходит, кладет руку на плечо и спрашивает участливо:

— Вы, кажется, плачете?

Хочу сказать ей, а в голове ни одной мысли. Забыл все хорошие слова. Только мотаю пустой башкой, ровно лошадь, оводов отгоняючи...

— Что с вами? — пристает она.— Говорите же ради бога...

Выпалил я, что первое на язык подвернулось:

— Без вас я, что корабль без компаса... Не могу...

— Я вас не понимаю...

Мне тут нужно бы на одно колено стать и пальчики целовать, как в романе сказано. Может, что и вышло бы... А я, растяпа, облапил ее да в губы...

Вырвалась она от меня и в угол забилась. Бледная, трясется, глаза большие. Руками за голову держится, шепчет:

— Уходите... Я вас любила как спасителя, как родного брата... А вы вот какой...

Понял я все... Екнуло у меня под ложечкой... Взял фуражку в руку, сделал поворот на шестнадцать румбов и направился к экипажу. Иду по улице, шатаюсь. Медаль «за спасение» к черту бросил... Теперь, думаю, конец мне... И так мне стало тошно, что света божьего не взвидел...

Кто-то схватил меня за плечо.

Поднимаю голову — капитан первого ранга. Придирается:

— Я тебе кричу — остановись, а ты не слушаешься!..

— Виноват, ваше высокобродье...

— Почему фуражка в руках? Почему честь не отдаешь? Пьяный?

— Так точно, выпил малость...

Вечером я уже в карцере сидел. На пять суток арестовали... Тут видения разные пошли. Что со мной было дальше — не помню. Очнулся я уже в госпитале недели через три. Белой горячкой хворал.

А когда вышел из госпиталя, в отпуск уехал. Опять



с Настей любовь закрутил. И всю тоску как рукой сняло. Выходит — чем ушибся, тем и лечись. На этот раз до буквального дошел... Сынишка родился... Но это только на радость... Кончу службу — покрою грех венцом...

Да, вот оно как...

...Ого! Склянки бьют двенадцать. А с четырех нам на вахту. Пора отдохнуть, ребята. После как-нибудь еще поговорим...



## ПОДАРОК

В косых лучах заходящего солнца ярко белеют каменные здания портового города, золотятся прибрежные пески и, уходя в бесконечную даль, горит тихая равнина моря. Чистое, точно старательно вымытое небо ласкает синевой, и только к западу низко над землей тянутся узкие полоски облаков. Горизонт будто раздвинут — так широко вокруг! На рейде, построившись в один ряд, стоит военная эскадра. Над кораблями легкой, прозрачной пеленой висит дым. В гавани — несколько коммерческих пароходов и рыбачьих лайб, пришвартованных к бочкам.

Жар спадает, увеличиваются тени. Праздные люди тянутся к морю подышать свежим воздухом.

Около деревянной пристани у небольшого ларька толкутся семеро матросов, одетых в белые форменные рубахи и черные брюки. Это гребцы с шестерки. Заигрывая с бойкой круглолицей торговкой, они покупают у нее булки, пряники и фруктовую воду. Тут же, прислонившись к фонарному столбу, стоит толстый городовой, чему-то слегка ухмыляясь.

— Для вас, любезные мои, что угодно уважу...— говорит торговка и, лукаво подмигнув матросам, закатывается смехом.

— Ну! — удивляются матросы.

— Да-с... потому что обожаю...

— Ай да тетка! — восторгается кто-то.
— Эта распалит! — добавляет другой.
Слышится хохот, полный молодого задора.
Старшина шестерки, квартирмейстер Дубов, неповоротливый, как слон, с роскосыми глазами на мясистом лице, посмотрев на свои карманные часы, властно отдает распоряжение:
— Пора на корабль!
Матросы идут к пристани неохотно, оборачиваясь и продолжая болтать с торговкой.
— Ну, шебутись! Довольно языки околачивать без толку! — кричит квартирмейстер.
В это время, осторожно неся в руках корзинку, сплетенную из прутьев, подходит к матросам молодая женщина. Тонкая, хрупкая фигура ее красиво обтянута белой кофточкой и черной юбкой. На голове — модная шляпка со страусовыми перьями, но заметно уже поношенная, как поношены изящные туфли на ногах. Из-под темной густой вуали видны пушистые светло-русые локоны, придающие ее бледному, правильно очерченному лицу особую привлекательность. Она взволнована, что видно по ее большим зеленым, как изумруды, глазам.
— Вы с крейсера «Молния»? — спрашивает она у матросов, вглядываясь в надписи на их фуражках.
— Так точно,— выдвигаясь вперед, отвечает квартирмейстер Дубов.
— Знаете мичмана Петрова?
— Как же не знать, ревизор наш.
— Так это брат мой родной...
Дубов прикладывает правую руку к фуражке, а остальные вытягиваются.
Молодая женщина бросает тревожный взгляд на городового, а тот по-прежнему стоит у фонарного столба, точно прилип к нему, и, забыв о своих обязанностях, задумчиво смотрит в лазоревую даль, откуда, направляясь к гавани, идет неведомый корабль. Потом она говорит:
— Передайте, пожалуйста, ему вот эту корзинку. Только будьте с нею как можно осторожнее: в ней деликатные вещи. Если что случится, брат вас накажет...
Своими манерами, вкрадчивостью и беспокойством она напоминает кошку, собирающуюся на глазах хозяев совершить преступление. Это заметил бы каждый, но не замечают этого матросы, которые смотрят на нее восхищенными глазами, слушают, как сочный ее голос звенит, точно ручей.



— Будьте спокойны, барышня,— говорит Дубов.
А женщина, подавая ему небольшой запечатанный конверт, добавляет:
— Письмо тоже передайте Петрову.
— Есть!
Женщина торопливо уходит.
Матросы, бережно поставив корзину в корму шестерки, размещаются по банкам и отталкивают лодку от пристани. Руки их обнажены, видны здоровые упругие мускулы. Изгибаясь, гребцы широко и дружно взмахивают веслами, точно сильная птица крыльями. Поскрипывают уключины, лениво всплескивается соленая вода. Шестерка легко скользит по зеркальной равнине, оставляя сзади себя струю с мелкой дрожащей рябью по сторонам. Солнце, спрятавшись за узкое сизое облачко, золотит края его, морская поверхность омрачается тенью, но через несколько минут оно снова показывается и ярко горит, щедро заливая все сиянием. К пристани один за другим мчатся паровые катера, отвозя писарей за вечерней почтой. С ялика, направляющегося в море, слышатся веселые крики и смех разряженных парней и девиц.
Шестерка выходит из гавани в море.
— Эх, и барышня, доложу я вам! — покрутив головой, мечтательно говорит квартирмейстер Дубов, сидя на руле.— Прямо антик с гвоздикой!..
Подумав и взглянув на корзинку, спрашивает как бы самого себя:
— Что же это такое — деликатные, говорит, вещи...
— Деликатные? — переспрашивает один из гребцов.
— Именно.
— Фарфор, не иначе... Разные безделушки — вроде голых баб, собачек. У господина Петрова в каюте полный стол таких штучек...
— Не то,— возражает другой уверенным тоном.— Деликатные, стало быть, деликатес. Пища такая есть. Когда служил вестовым, я сам едал такую. Это из сливок, шоколада, из ликера, других разных разностей делается. Поешь — дня два сладостью рыгаешь. А чуть тряхни — развалится...
— Ну и звонила! — презрительно бросает ему Ду-

бов.— Три года во флоте прослужил, а ума ни капельки не нажил.

Матросы некоторое время спорят, потом вспоминают про торговку. Приближаясь к своему крейсеру, шестерка при круглом повороте ударяется бортом о трап. Из корзинки раздаются какие-то странные звуки. Матросы, вытянув шеи, сидят, полные недоумения.

— Выходи! — перевалившись через фальшборт, кричит на них с крейсера вахтенный начальник.

— Кряхтит что-то, ваше бродье,— растерянно отвечает квартирмейстер Дубов.

— Кто кряхтит, где?

— В корзинке.

— Да что там такое?

— Деликатные вещи.

— Какие?

— Не могу знать... А только будто живое что-то...

— Дурак! Тащи сюда... Посмотрим...

Дубов берет в руки корзинку и, бережно держа ее перед собой, поднимается на палубу. Странные звуки становятся все слышнее. Вахтенный начальник, заинтересовавшись, приказывает открыть скорее корзинку, а молодой штурман, большой шутник, смекнув что-то, бежит в кают-компанию.

— Господа, пожалуйте на шканцы! — объявляет он во всеуслышание.— Чудо увидите...

Офицеры, веселые, с шумом и смехом выходят на верхнюю палубу. Из носовой части судна быстро бегут матросы. Обступая корзинку, люди жадно всматриваются в середину круга, где видна лишь согнутая спина матроса. Это Дубов, который, выпрямляясь, поднимает на широких ладонях двух- или трехмесячного ребенка, чуть прикрытого белой пеленкой, громко заявляя:

— Парнишка, ваше бродье!

Ребенок, не открывая глаз, ворочается и что-то хочет поймать беззубым ртом. Среди офицеров и команды слышны восклицания и сдержанный смех.

— Кто это привез? — протолкавшись на середину круга, сердито спрашивает старший офицер, хмурясь и шевеля большими, с проседью, усами.

— Я, ваше высокобродье! — отчеканивает Дубов, неумело держа ребенка на вытянутых руках.

— Зачем?



— Барышня одна прислала... Господину Петрову... И письмо ему есть...

На несколько секунд воцаряется напряженная тишина. Сотни глаз молча устремляются на мичмана Петрова, который стоит тут же вместе с другими офицерами. Выхоленный, опрятный, в белом, как свежий снег, кителе, гордо держащий голову, с черными, завитыми в колечки усиками на беззаботно улыбающемся лице, он в одно мгновение становится таким бледным, точно из него сразу выпустили всю кровь. Потом на лице его появляется страшная гримаса. Пошатнувшись, он быстро, неровным шагом уходит к себе в каюту, бормоча, точно пьяный:

— Это подлость... Надо полиции заявить... Поймать эту сволочь... Я не виноват...

Ребенок, поморщившись, чихнул раза два и, точно почувствовав всю горечь своего существования, залился вдруг звонким плачем.

— От родного сына отказался! — удивляются матросы и укоризненно качают головами, а другие весело смеются.

— Слава богу — команды прибыло!

Офицеры стоят молча, переглядываясь и чувствуя себя неловко.

Вахтенный начальник, разогнав матросов, обращается к старшему офицеру:

— Что ж теперь делать с ребенком?

— Я сам не знаю,— пожимая плечами, отвечает тот.— Это дело командира. Пойду доложу ему.

Он уходит.

Багровея, все ниже опускается огромное солнце. Загораются узкие полосы облаков. Город, окрестности его с зелеными рощами, берега, необозримое море — все тонет в пурпуре. Воздух не шелохнется. Вокруг разлита торжественная тишина, нарушаемая лишь плачем ребенка.

Молодые офицеры перешептываются.

— Я знаю эту особу,— сообщает один из них, тонкий, остроносый, с длинной, как у гуся, шеей.— Удивительная прелесть! Правда, кажется, не очень интеллигентная, но зато — какие ножки, какой ротик! Одно очарование!

Старший, возвратившись на шканцы, передает вах-

тенному начальнику распоряжение командира отправить ребенка в полицию.

— Уа-а... уа-а...— точно прося пощады, жалобно кричит малютка, усердно укачиваемый на руках Дубовым.

Тут выступает вперед боцман Груздев, до сих пор не спускавший серых зорких глаз с ребенка. Это мужчина лет сорока, здоровый, жилистый, точно скрученный из стального троса. Смуглое от загара лицо его в шрамах, покрыто мелкой сетью морщин и жесткой, как иглы ежа, щетиной, отчего оно кажется грубым, точно вырубленное на скорую руку топором. Он — бесстрашный моряк, «сорви-голова», с матросами обращается сурово, ругая провинившихся отборными словами, пуская в ход кулаки. Теперь же он смотрит еще более свирепо, чем когда-либо, и, выпятив крепкую грудь, отдавая честь, глухо обращается к старшему офицеру:

— Ваше высокобродье, дозвольте мне ребенка взять...

— Для чего? — удивленно спрашивает тот.

— Вспою и вскормлю его... Бездетный я... Вот и будет у меня за сына...

— Выдумщик ты, я вижу...

Груздев, тяжело дыша, волнуется, широкие ноздри его вздрагивают. Возвысив голос, он умоляет:

— Я серьезно говорю, ваше высокоблагородье, отдайте мне ребенка. Куда его полиция денет? В воспитательный дом отдаст... на погибель... Жалко. Я его в люди выведу.

Ребенку попадает в рот пеленка. Он, замолкая, начинает сосать ее. Черные блестящие глазки его открыты, на длинных ресницах, сверкая, дрожат росинки слез.

— Верно, жаль. Тоже ведь — существо...— взглянув на него, говорит старший, смягчаясь, и лицо его вдруг озаряется доброй улыбкой.— Ну, что ж, если уж так хочешь, бери ребенка. За три дня успеешь отвезти его к жене?

— Так точно.

— Хорошо, попрошу у командира отпуск для тебя.

— Покорнейше благодарю, ваше высокородье! — просияв, радостно отвечает Груздев.

Он берет от Дубова ребенка, который снова расплакался, и спешит в носовую часть судна, приговаривая:

— Молчи, малый, молчи... Моряку плакать не полагается... Сейчас я тебе поужинать дам.



— Что, Евстигней Матвеич, сынка приобрели? — шутливо спрашивают его матросы.

— Да, да, братцы, приобрел... Теперь я с сынком...

Через несколько минут, достав от офицерского повара бутылочку и молоко, боцман уже сидит у себя в маленькой каюте. Рядом с ним стоит корзинка. Он заперся на ключ. На коленях у него лежит малютка, жадно высасывая розовым ротиком молоко из бутылки и рассматривая незнакомое лицо.

— Ишь, как проголодался, сиротик бедный. Ну, ничего, набирайся силы. Задружим с тобой... Дмитрием буду звать, а попросту — Митькой...

Груздев, тихо поцеловав ребенка в голову, приветливо улыбается. Лицо его просветлело радостью, щурясь, сияют теплой лаской серые глаза, от которых лучами разбегаются морщинки. Он продолжает тихо говорить, урча, точно довольный медведь:

— Подрастешь, вместе в кругосветное плавание махнем... Эх, жавороночек ты мой, много разных чудес тебе покажу! Погуляем-то как! И морскому делу научу... А не хошь моряком быть — в науку отдам. Есть у меня четыре сотняжки. К тому времени еще прикоплю... Так-то, брат, ученым будешь...

Накормив ребенка, боцман кладет его на койку, а сам, осветив электрической лампочкой свою каюту, становится перед ним на колени. Ребенок, почти голый, в одной лишь короткой рубашечке, перебирает ручками и ножками.

— Э, да ты гимнаст первый сорт! Славно, Митек, ейбогу, славно!..

Малютка кажется здесь таким милым, точно распустившийся цветок. Боцман не может налюбоваться ребенком, пока его не зовут наверх.

Темнея, медленно угасает вечерняя заря. Небо украшено узорами сверкающих звезд, точно там, в беспредельной выси, готовятся к какому-то торжеству. Море дышит бодрящей свежестью. В темной воде, дробясь, отражаются огни кораблей. Обозначая время, на крейсере начинают бить в колокол. Вдали слышатся ответные звуки, точно суда перекликаются между собою. Веселый, переливающийся гул меди, огласив тишину ночи, тихо замирает в просторе моря.

Боцман с ребенком на руках спускается по трапу в

паровой катер. Он настроен так празднично, как никогда.

— Баба-то моя, слышь, как обрадуется такому подарку...— в безотчетно радостном порыве обращается боцман к рулевому, а тот, не отвечая, командует в машину:

— Ход вперед!

Катер вдруг точно ожил, зашипел и, дрожа всем корпусом, шумно рассекая воду, понесся по направлению к городу, залитому огнями.



## ПОШУТИЛИ

Крейсер 2-го ранга «Самоистребитель» — как называли его матросы за то, что он уже неоднократно покушался разбиться о камни,— глубоко и ровно бороздил зеркальную гладь воды, держа курс к французским берегам.

Ветер замер. Сверху лились потоки зноя. Широко раскинулось море и голубело, как небо, а там, где преломлялись в нем лучи солнца, ослепительно сияло.

Усталые матросы, пользуясь свободным послеобеденным временем, крепко спали кто где мог: на палубе, рострах и мостиках. От жары разметались корявые руки и босые ноги с широкими ступнями и кривыми пальцами. Кое-где слышалось звонкое всхрапывание. По временам кто-нибудь лениво ворочался или тревожно поднимал голову, щурясь, бестолково водил вокруг себя заспанными глазами, словно что-то соображая, и снова засыпал мертвым сном.

Крейсер, недавно окрашенный в серо-зеленый цвет, с вымытой палубой и сверкающей медью, был безукоризненно чист и опрятен, словно приготовился к торжественному празднику. И несся он по светлой шелковой



равнине легко и плавно, оставляя за собою длинное серое облако дыма. Казалось, что его зовет, манит светло-голубая даль, а он, бурля воду, во всю мочь стремится туда, в сияющую даль. Мачты, вытянувшись, точно часовые матросы у флагов, резали синеву неба. Напружинившись, нервно вздрагивали туго натянутые ванты. Над кораблем, кружась, летали чайки и жалобными криками выпрашивали пищу.

Удар в судовой колокол возвестил, что времени — половина второго.

Вахтенный начальник, петухом прохаживаясь по верхней палубе, отдал приказание:

— Команду будить.

Квартирмейстер Дергачев, высокий ростом, неуклюже сложенный, с круглым загорелым лицом, лоснящимся, как медный бак из-под супа, просвистал в дудку и, набрав в себя воздух, зычно скомандовал:

— Встава-й! Ча-ай пить!

Молодые матросы вскакивали на ноги торопливо и, протирая глаза, испуганно озирались кругом. Старые поднимались медленно и вяло, а некоторые из них, потягиваясь и сочно зевая, продолжали еще нежиться в теплых лучах летнего солнца.

Настроен Дергачев был злобно: час тому назад, передавая командиру какое-то поручение вахтенного начальника, он все перепутал, за что получил жестокий разнос.

— Вставай, вставай! Какого дьявола дрыхнете! — направляясь в кормовую часть судна, сурово выкрикивал он, на ходу подталкивая ногою лежащих.

Матросы из баковой аристократии, недовольные тем, что нарушили их сладкий и безмятежный сон, сердито ворчали:

— Эх, скулила!

— Ишь, как авралит!

— Эй, сват акулы, глотку вылудил бы! А то хрипит!

Дергачев, показывая кулак величиною с детскую голову, огрызался:

— Подожди, дармоеды, я вас еще промурыжу! Черти! И зачем только вас на службе держут!

Поднялся на задний мостик, послышалась отборная ругань. Через минуту и там были все на ногах.

Только один матрос, весь покрытый копотью и

грязью, продолжал лежать, не обращая ни на что внимания.

Такая непочтительность к власти сильно задела квартирмейстера, тем более что у этого грязного человека не было видно на плечах капральских кондриков.

— А ты, куча навозная, чего валяешься? Особой команды, что ли, ждешь?

Он оглянулся кругом и поддал пинком по животу раз-другой, точно по мешку с зерном.

Матрос остался неподвижным.

— Вот сонный дьявол! — даже удивился Дергачев.— Ну, подожди, я тебя проучу.

Он снял со своей шеи медную цепочку от дудки и сильно, несколько раз хлестнул ею лежащего матроса.

Тот даже не пошевелился.

— За что убил человека? — зловеще крикнул чей-то глухой голос.

Дергачев вздрогнул, и лицо его вдруг стало серым. Рука беспомощно опустилась, нижняя губа отвисла, как у замученной лошади. Застыв на месте, он безжизненно, отупелыми глазами оглянулся вокруг,— знакомые лица подчиненных ему людей ответили злорадными взглядами, почти в каждой паре глаз сверкало что-то новое, непривычное, пугающее.

Дергачев попятился, точно его ударила невидимая рука, тяжело передвинул ноги и вдруг, нагнув, как бык, голову, бросился бежать, гремя ногами по ступеням трапов.

Все офицеры, исключая вахтенных, пили чай в кают-компании, когда вбежал туда Дергачев.

— Ваше высокобродье! — падая на колени перед старшим офицером, крикнул он.

— Это что значит? — топнув ногой, тревожно спросил старший офицер.

Дергачев мотал головою, точно желая спрятать ее, хлопал себя в грудь руками и хрипел:

— Помилосердствуйте... Пропал я... Верой и правдой всегда... Сами знаете... Как приказано... Для дисциплины...

— Надрызгался? — почти ласково подсказал офицер, чувствуя недоброе, а все другие, молча поднимаясь из-за стола, окружали Дергачева, сумрачно оглядывая его.

— Ваше высокобродье... Защитите... Жена, дети... Как перед богом говорю: слегка хватил...

Старший офицер, оскалив зубы, снова топнул ногою и поднял кулак:

— Говори, болван, в чем дело?

— Ногой по животу... Глядь — а он мертвый...

В кают-компании стало тихо, и в тишине подавленно прозвучало:

— Как? Кто? Кто мертвый?

— Матрос...

— А-а, так ты его убил! — сорвав фуражку с головы Дергачева, тихо сказал старшой.

И снова наступила секунда тяжелого, жуткого молчания.

— Простите! — завыл квартирмейстер.

— Молчать! — рявкнул старший офицер во весь голос.— Под суд пойдешь, разбойник! Показывай — где?

Все бросились вон из кают-компании, торопливо и невразумительно переговариваясь на ходу, а старший офицер отдал распоряжение:

— Доктора позвать. Фельдшеров и санитаров с носилками наверх. Николай Аркадьич! Идите скорее в рубку и доложите о несчастье командиру.

Юный мичман, оправляясь, побежал в рубку, а офицеры тесной толпой поднялись на мостик.

Дергачев, без фуражки, качаясь, шел впереди всех: лицо его налилось кровью и снова стало медным, а глаза точно выцвели. Вдруг он остановился, вздрогнув, растерянно озираясь, приложив руку ко лбу: на месте, где лежал покойник, никого не оказалось, лишь вдали несколько матросов, приготовляясь к чаю, искоса поглядывали на офицеров.

— Где же убитый? — угрюмо спросил старший офицер.

Дергачев тупо посмотрел вокруг.

— Вот тут он... Вот тут...

— Где?

— Должно, убрали... унесли,— бормотал Дергачев и вдруг крикнул, подняв руку к голове:

— Убежал, ваше высокобродье!

Несколько молодых офицеров фыркнули, матросы ухмылялись, а старшой, перекосив физиономию, вцепил-

ся обеими руками в грудь Дергачева и, встряхивая его во всю силу, захрипел:

— Что-о? Мертвецы бегают?! Да ты издеваться надо мной!

— Так точно... Я... как это...— пытался он что-то сказать, но не находил нужных слов: они куда-то исчезли, а на язык нелепо просилась песня про акулькину мать, и это было обидно Дергачеву почти до слез.

Весь задрожав от ярости, старший офицер поперхнулся и тяжело закашлялся.

— На каком основании ты побежал в кают-компанию, а не доложил мне первому? — ядовито придрался к Дергачеву вахтенный начальник, прищурив острые, недобрые глаза.

— Умереть не умерла,— шептал Дергачев.

— Ты что губами шлепаешь? — орали на него.

Он глубоко вздохнул и с усилием плотно сжал губы.

Прибежали фельдшер и санитары с носилками; вслед за ними появился доктор, небольшой человечек; на тощем, желтом лице его вместо бороды сердито торчал клочок рыжих волос, серые глаза были неподвижно мертвы. Матросы называли его помощником смерти.

Наконец, переваливаясь с ноги на ногу и шумно пыхтя, поднялся на мостик сам командир. Низкого роста, но несуразно толстый, всегда потный, с распухшим синим лицом, он похож был на разбухшего утопленника. Нервно теребя свою черную бороду и захлебываясь слюной, он еще издали набросился на старшего офицера:

— На корабле убийство! Безобразие! Как вы допускаете это!

Все вытянулись, но стали меньше ростом, незаметнее, и все замолчали.

— Извините, Анатолий Аристархович, что вас побеспокоили,— оправляясь, виновато, негромко заговорил старший офицер.— Вот этот дурак переполох наделал. Но я положительно не могу его понять. Бог знает что говорит...

Он стал кратко докладывать о происшествии.

Чайки, опускаясь, кружились над головами людей низко, как будто тоже желали узнать, в чем дело.

Дергачев, как столб, стоял в стороне и все смотрел на то место, где лежал убитый и теперь исчезнувший человек,— глаза его были сухи, и зрачки расширены.



— Это ты что, а? — обратился к нему командир.

Он встрепенулся, быстро приложил руку к голове и, ничего не отвечая, бессмысленно уставился в лицо начальника.

— Как смеешь отдавать честь без фуражки? — закричал командир.

Дергачев продолжал отдавать честь, пока командир насильно не дернул его руку вниз. Голова его была пуста, словно все эти грозные слова начальства вышибли из него мозг. Он чувствовал лишь одно, что все кругом него качалось и двигалось, как во время сильной бури, а в памяти визжали слова пьяной песни:

Умереть не умерла, только время провела-а...

Матросы, заполнив почти весь мостик, с любопытством следили за происходившим. От всей души ненавидя «аврального» квартирмейстера, часто их подводившего под ответ начальству, они были довольны, что и над ним наконец стряслась беда.

Офицеры обратились к ним за разъяснением странного случая.

— Так что мы никакого покойника здесь не видали,— ответил один из толпы матросов.

— Благодаря бога мы еще грудью послужим,— добавил другой.

Общее недоумение все росло, начальство, чувствуя себя глупым, сердилось, досадовало, ворчало.

Командир внимательно посмотрел на Дергачева: у него прыгали губы, а глаза выкатились и дико блуждали.

— Доктор, освидетельствуйте этого человека,— сообразив что-то и нахмурясь, приказал командир.— О результатах сообщите мне.

— Есть! — ответил тот, приложив руку к козырьку.

Старший офицер, успокаиваясь, подошел к Дергачеву и пощупал ему голову.

— Гм...— загадочно промычал он.— Горячая...

Его примеру последовал мичман, маленький, с румяным девичьим личиком.

— Ну, конечно,— подтвердил он и, высунув вперед руки, а голову убрав в плечи, посмотрел на офицеров прищуренными глазами.

Когда Дергачева, сменив с вахты, привели в лазарет, доктор усадил его на стул, внимательно заглянул сквозь пенсне в глаза, понюхал, не пахнет ли изо рта водкой, и начал задавать вопросы:

— Голова часто болит?

Перепуганный пациент, вздрагивая и чувствуя потемнение в мозгу, давал ответы сбивчивые, путался, стонал и охал.

— Ваше благородие... простите. Это нельзя понять. Действительно я ударил, он будто помер. Я так чувствовал, что помер он. Дозвольте перекличку... Как же? А может, он не до смерти помер, а мне погибать? За что?

— Молчи! — крикнул доктор, дергая себя за рыжий клок волос.

Он приказал квартирмейстеру положить ногу на ногу, ударил молоточком ниже колена и, увидев, что нога живо вспрыгнула, просиял от радости:

— Эге! Рефлексы повышены.

Повернул молоточек и ручкой провел несколько раз по обнаженному животу:

— Гм... кожные отсутствуют...

Доктор продолжал свои исследования, щекоча пятку, ударяя молоточком в разные части тела, дергая вверх стопу. Руководящая нить, ведущая к диагнозу, то ускользала, то опять попадала в сферу мысли врача, и по мере этого лицо его омрачалось или просветлялось.

— Ваше благородие,— всхлипнув, не унимался Дергачев,— обязательно надо перекличку... Кто живой, кто мертвый... как же?

— Встань! Закрой глаза! — командовал между тем доктор.

Дергачев встал, зажмурил глаза, но через минуту потерял равновесие.

— Ромберг положителен,— торжествующе заключил доктор, поправляя на носу пенсне.

— Ваше благородие, до смерти он помер или нет?

— Подожди. Отвечай только на вопросы. В семье у тебя не было умопомешательства?

Квартирмейстер молчал.

— Родители твои водку пьют?

— Только отец. Он здорово может хватить. А матери у меня совсем нет...



Из дальнейших расспросов выяснилось, что мать погибла ■ ранней молодости, упав в глубокий колодезь.

— Так, так. Но тут могло быть и самоубийство...

Доктор начал допытываться о всех родственниках.

— Ваше благородие, отпустите. Что вы меня мучаете?

— Стой! Спишь как?

— Я не сплю. Я все понимаю.

— Э, черт! — рассердился наконец доктор.— Уберите его! Все ясно...

Вечером командир получил письменный рапорт. Доктор подробно и обстоятельно доказывал, что квартирмейстер 2-й статьи Дергачев страдает болезнью мозга и галлюцинирует. А так как крейсер «Самоистребитель» шел все дальше от России, то командир, не сомневаясь ■ правдивости докторского заключения, положил следующую резолюцию:

«Старшему офицеру к сведению: если больному не будет легче, то ■ первом же порту списать его в госпиталь».

На второй день крейсер бросил якорь на рейде французского портового города.

Часов ■ девять утра к Дергачеву, который находился под замком в лазарете, опять пришел врач.

В одно мгновение больной вскочил с кровати и стал в угол. За ночь он стал неузнаваем: лицо почернело, как чугун, вокруг глаз вздулась опухоль, и все тело дрожало, как у паралитика. Он безмолвно уставился на доктора жуткими, налившимися кровью глазами.

— Да, дело дрянь,— взглянув на него, заключил доктор и не стал даже его расспрашивать.

Снова о Дергачеве доложили командиру.

— Отправить во французскую больницу сейчас же.

Сказано — сделано. Не прошло и получаса, а паровой катер, попыхивая дымом, уже мчался к пристани. В корме сидел доктор, покуривая душистую гаванскую сигару и любуясь живописным видом города. А Дергачев, пасмурный, как ненастный день, находился в носовой части. Два матроса, назначенные ■ качестве сопровождающих, крепко держали его за руки.

Дергачев сначала как будто не понимал, что с ним делают, но на свежем воздухе ему стало лучше.

— Братцы! — взмолился он.— Руки-то хоть пустите. Ведь не убегу же я...

— Так приказано,— строго ответили ему.

— Куда же вы меня везете, а?

— Если рехнулся, так куда же больше, как не в желтый дом.

— Что вы, что вы. Ах, ты, господи! Я как следует быть: все в порядке... Я вас обоих узнаю: ты вот — Гришка Пересунько, наш судовой санитар, а ты — Егор Саврасов, матрос второй статьи...

— Ладно, заправляй нам арапа,— отозвался санитар внушительно.— Его благородие, господин доктор, лучше тебя понимает. На то науки он проходил. И ежели признал, что нет здравости ума, тут уж, брат, не кобенься.

Другой же матрос, предполагая, что умалишенный так же опасен, как и всякая бешеная собака, на всякий случай пригрозил:

— Только ты смотри — не балуй. Это я насчет того, чтобы не кусаться. В случае чего всю храповину разнесу.

Дергачев сдвинул брови, бросил на матроса негодующий взгляд, но ничего не сказал. Он оглянулся назад. Родной корабль, на котором он прослужил почти четыре года, уходил в даль моря, таял в ней, а впереди шумно вырастал чуждый город, облитый знойным солнцем, но жутко холодный. И вдруг впервые будущее представилось ему с жестокой ясностью: чужие люди наденут на него длинную рубаху, прикуют его на цепь к кровати; и будет он, одинокий, всеми забытый, чахнуть вдали от родной стороны, быть может, долго, много лет, пока не придет конец. Беспредельная тоска потоком хлынула в грудь, крепко сжала сердце. Глаза налились слезами и часто заморгали...

— Эх, пропала моя головушка! — вздохнул он, безнадежно покрутив головой.

Матросы молчали, не глядя друг на друга. Толсторожий черный Пересунько опустил глаза, большие, как вишни, в воду, уже мутную от близости порта и ослепительно отражавшую солнечные лучи. Саврасов задумчиво курил, поглядывая на берег, где огромные здания, теснясь к берегу, как будто толкали друг друга в море,



а те, которые отразились в нем, казалось, уже упали с берега, потонули и разламываются, размываемые соленой крепкой водой.

— Братцы,— тихо спросил Дергачев, — как это все вышло, а?

Матросы словно не слышали вопроса, оба неподвижные, как мешки.

Высадившись на берег, они отпустили его руки, и Дергачев тяжело шагал между ними по каменной мостовой, точно обреченный на смерть, низко опустив голову, ни на кого не глядя и не говоря ни слова. И так долго он шел сам не свой, пока не запахло лекарствами. Как бы очнувшись от забытья, он приподнял голову и насторожился. Холодно взглянуло на него огромное каменное здание госпиталя. Кое-где в открытых окнах виднелись лица больных. Через двор, осторожно шагая, служащие переносили на носилках человеческое тело — не то живое, не то мертвое.

Дергачев вздрогнул. В глазах зарябило, и сердце замерло на секунду. Снова вспомнилась длинная рубаха, цепь, кровать... Больно царапнуло внутри, точно укололо самую душу, самое живое место. Дергачев шарахнулся в смертельном страхе прочь от госпиталя, побежал куда-то вниз, прыгая, как большой резиновый мяч.

— Держи-и! — завыли вслед ему.

Несколько минут спустя в городе царила нелепая суматоха. Заполняя площади и улицы, катясь и рассыпаясь, стремительно мчался живой, пестрый бурный поток людей: мужчин и женщин, стариков и детей, солдат и полицейских. Сталкиваясь друг с другом, люди кричали, спрашивали один другого:

— Где? Сколько? Кто?

И снова мчались с криком, свистом, со смехом.

Ловили Дергачева, который саженными прыжками метался из улицы в улицу, сбивая людей с ног, наводя ужас на встречных. Никто не решался схватить его: он держал в правой руке увесистый кусок булыжника, а на искривленном его лице глаза горели дикой решимостью.

Свист полицейских разрывал ему уши. Он уже приближался к окраине города. Но тут, сбегая с горы, видя

перед собою широкое, свободное море, за что-то зацепился и полетел вниз кубарем, ободрав до крови лицо. В эту минуту на него сразу навалилось несколько человеческих тел. С буйной яростью начал было он вырываться, страшно изгибаясь и напрягая свои крепкие, как стальные пружины, мускулы. Но десятки рук согнули его, скрутили; чувствуя себя побежденным, он завыл нечеловеческим голосом:

— А-а-а...

Его связали и, взвалив в экипаж, точно куль муки, отправили в госпиталь.

Матрос Саврасов сидел у него на ногах, а санитар Пересунько крепко держал его за плечи.

— Ух, окаянная сила, замучил! — сказал первый.

— А еще морочил нам голову,— подхватил второй.— Я, говорит, как следует быть, в порядке. Так ему и поверили! Шалишь, брат...

Дергачев сидел смирно и лишь тяжело стонал. Ободранное лицо его безобразно распухло и стало похожим на кусок сырого мяса.

Доктор подъезжал к «Самоистребителю».

Офицеры, заметив его, оживленно бросились к правому трапу, а за ними, немного робея, скрытно усмехаясь, подошли и матросы.

— Ну, как ваш пациент? — спросил лейтенант, когда усталый доктор поднялся на палубу.

— И не говорите! Сколько этот подлец хлопот нам наделал!

Некоторые из офицеров, не утерпев, громко фыркнули. Доктор неодобрительно взглянул на них, продолжая:

— Понимаете, в процессе буйного помешательства вырвался из рук и помчался по городу. Всех французов поднял на ноги. Едва поймали его. Да, а вы — смеетесь. Над чем это, позвольте спросить?

Дружный раскатистый хохот ответил ему; доктор обиженно вытянулся, поправил фуражку, надул щеки.

— А мы, дорогой наш психолог, только что хотели за вами посылать, и уж шлюпки наготове,— сказал первый лейтенант, движением руки умеряя смех, но тоже усмехаясь весело и открыто.



Офицеры отвели врача в сторону и начали что-то ему рассказывать. По мере того как он выслушивал их, лицо его изменялось, вытягиваясь и быстро меняя выражение,— сначала недоверчивое, оно быстро стало смущенным и потом исказилось ужасом. Он вдруг весь съежился и, схватившись руками за голову, убежал с верхней палубы, выкрикивая:

— Не может быть! Нет! Это шутка... злая шутка!

За ним побежал мичман, крича:

— Доктор! Вас требует командир.

Доктор остановился, мотнул головою и пошел в командирскую каюту.

Там уже находился кочегар Криворотов, парень квадратного вида и крепкого, как гранит, телосложения, с тупым лицом и телячьими глазами. Глуп он был непомерно, однако среди команды стяжал себе большую славу, пробивая лбом деревянные переборки, сбивая им с петель двери и давая за полбутылку водки бить себя по животу поленом.

Криворотов, по приказанию командира, подробно рассказал, как подвел квартирмейстера Дергачева, притворившись мертвым, когда тот наносил ему побои.

— А больно тебе было? — полюбопытствовал командир.

— Так себе. Я даже не почуял, хоша он двинул пинком с усердием, на совесть... По пузу. После обеда требуха была набита туго. Ну, значит, удары отскакивали, как от резины. Вот цепочкой обжег ой-ой как! Но все же я стерпел, ваше высокоблагородье,— ухмыляясь, заключил кочегар не без гордости.

Командир как-то натянуто, неестественно улыбался, слушая густой, хриплый голос.

— Ступай вон! — сказал он кочегару, вздохнув и не глядя на него.

Но не успела захлопнуться за Криворотовым дверь, как командир сразу побагровел, как-то странно задергался и зашипел сквозь зубы, с каждым словом возвышая голос:

— Ну, доктор, слышали? А вы что написали? Посмотрите, посмотрите на свой рапорт!

— Позвольте, Анатолий Аристархович, вы же первый признали его...

— Ничего я вам не позволю! Классическое недомыслие! Стыд перед всей командой. Черт знает что такое!

Немедленно... сейчас же возвратить на судно этого... этого...

Доктор вышел из командирской каюты с таким видом, словно его высекли розгами.



## ПОПАЛСЯ

Матрос второй статьи Круглов, небольшой, тощий, в темно-серой шинели и желтом башлыке, выйдя из экипажа на двор, остановился. Посмотрел вокруг. Просторный двор, обнесенный высокой каменной стеной, был пуст. В воздухе чувствовался сильный мороз. Солнце, не успев подняться, уже опускалось, точно сознавая, что все равно не согреть холодной земли. Чистый, с голубоватым отливом, снег искрился алмазным блеском. Огромное красное здание экипажа покрылось седым инеем.

Круглов широко улыбнулся, хлопнул себя по бедрам и, подпрыгнув для чего-то, точно козел, быстро побежал к кухне, хрустя снегом.

— Как, браток, приготовил? — войдя на кухню, спросил он у кока, беспечно стоявшего около камбуза с дымящеюся цигаркой в зубах.

— За мешком стоит, — равнодушно ответил тот, кивнув головой в угол.

Круглов вытащил из указанного места котелок, наполненный остатками матросского супа, и, увидев, что суп без жира, упрекнул:

— Не подкрасил, идол!

— Это за семишник-то? — усмехнувшись, спросил кок.

— Рассуди, воловья голова, жалованье-то какое и получаю...

— Это меня не касается.



— Не для себя ведь я... А ежели с тобою этакое приключится...

— Со мною?

— Да.

Кок, сытый и плотный, сочно заржал.

— Приключится? Скажешь тоже? Ах, ты, недоквашенный! Лучше плати-ка скорее, а то ничего не получишь.

Обиженный и недовольный Круглов отдал коку две копейки, спрятал котелок под полу шинели и, поддерживая его через карман левой рукой, вышел на двор. Благополучно миновал дежурных, стоящих у ворот. На улице встречались матросы, женщины, штатские. Разговоры, лай собак, скрип саней, стук лошадиных копыт, хлопанье дверей — все это наполняло воздух глухими звуками жизни.

Весело шел Круглов, поглядывая по сторонам и стараясь не расплескать супа. Но, свертывая с главной улицы в переулок, он столкнулся с капитаном второго ранга Шварцем, вышедшим из-за угла. Офицер был известен своею строгостью, и матрос, увидев его, невольно вздрогнул. Быстро взмахнул правую руку к фуражке, а другую машинально дернул из кармана, облив супом черные брюки.

— Эй, как тебя, что это ты пролил? — остановившись, спросил Шварц.

Матрос тоже остановился, смущенно глядя на офицера и не зная, что сказать.

— Почему же не отвечаешь?

— Жидкость, ваше высокоблагородье...

— Что?..

— Виноват... это... это...— забормотал Круглов и, словно подавившись словами, замолк.

Приблизившись, офицер откинул полу его шинели.

— Ах, вот что у тебя!

А в карманах нащупал куски хлеба.

Матросу стало жарко, точно он попал в натопленную баню.

— Твой билет! — сердито крикнул офицер, обсасывая обледеневшие усы.

Круглов покорно отдал ему маленькую квадратную картонку в жестяной оправе со своей фамилией, названием роты и экипажа, а тот, прочитав, заговорил, отчеканивая каждое слово:

— Так, одного со мной экипажа. Так! Воровством занимаешься! Казенное добро таскаешь!

Матрос сгорал от стыда.

— Никак нет, ваше высокобродье. Остатки это... Остатки от матросского обеда... В помойную яму их выбрасывают.

— Подожди! Отвечай на вопросы! Куда это хлеб и суп несешь?

Матрос, собравшись с духом, решил сказать всю правду.

— К старушке одной... Булочница она. В экипаж к нам ходила торговать. А теперь занемогла... Лежит. Никого у ней нет. Одинокая...

В голосе матроса слышалась трогательная откровенность.

— Ты ей продаешь провизию? — уже более мягко спросил офицер.

— Никак нет... так даю... из жалости...

Шварц был человек точный, обстоятельный, строго держался закона и никогда не наказывал своих подчиненных, не проверив дела.

— Веди меня к этой старухе.

Идти пришлось недолго. Миновали несколько домов, и матрос привел офицера во двор, откуда они спустились в подвал.

В помещении было темно, сыро, пахло чем-то прокисшим и тухлым. Кроме переднего угла, где стоял стол с обедающими за ним людьми, все остальные были заняты кроватями, корзинами, подушками. На полу валялся пьяный, оборванный мужчина, на нем, взвизгивая, сидела верхом двухлетняя девочка, а вокруг бегали два мальчика, чумазые, босые, без штанов. Около печки возилась с посудой кривая женщина, несуразно толстая, в засаленном фартуке. Девица лет семнадцати, нагнувшись над корытом с горячей водой, намыливала себе голову. Против окна уродливо-горбатый слесарь починял старые, ржавые замки.

Все удивленно уставились на офицера, а он, впервые увидев обитателей подвала, вдохнув отравленный воздух, брезгливо поморщился.

— Где здесь булочница? — поздоровавшись, спросил Шварц, чувствуя какую-то неловкость.

— Какую вам: Петровну или Маньку? — переспросила его кривая женщина.



— Старуху, больную!

— Эта здесь.

Кривая подошла к одной кровати, раздвинула ситцевую занавеску и, толкая рукой в постель, сказала:

— Петровна, к тебе пришли...

Под грудою лохмотьев что-то зашевелилось, а потом высунулась наружу растрепанная седая голова старухи. Лицо было худое, мертвенно-желтое, черные, помутневшие глаза слезились. Шевеля синими губами, точно собираясь что-то сказать, она недоуменно смотрела на офицера.

Шварц хотел учинить форменный допрос, но, смутившись и покраснев, слабо проговорил:

— Извините... как вас... Супу вам матрос принес...

Старуха молча таращила глаза.

Офицер вынул из кармана рубль и, сунув больной, направился к двери.

— Спасибо, родимый, — услышал он хриплый голос.

— Выгружайся скорее и выходи, — сказал Шварц матросу и вышел на двор. От непривычки к дурному воздуху его мутило.

Круглов, опорожнив котелок и карманы, последовал за ним. Радуясь, он благодарно смотрел на офицера, а тот, выйдя на улицу, заговорил просто:

— За доброту твою — хвалю. Молодец!

— Рад стараться, ваше высокобродье!

Офицер сделал серьезное лицо.

— Подожди стараться! Слушай дальше! А за то, что нарушил закон...

Он затруднялся, какое наказание применить к провинившемуся. Нужно бы покарать матроса надлежащим порядком, но ему, точно тяжелый, несуразный сон, мерещилась уродливая, затхлая жизнь подвала и одинокая, забытая богом и людьми старуха. Совесть офицера смутилась, а вместе с нею поколебалась всегдашняя твердость и уверенность.

— Да, вот как... — идя рядом с матросом, удивлялся он сам себе.

Простить матроса совсем он тоже не мог: против этого протестовало все его существо.

— Э, черт возьми! — досадливо выругался он, а Круглов, не расслыхав, спросил:

— Чего изволите, ваше высокобродье?

— А вот что изволю... За нарушение закона ты должен... должен...

И опять не поворачивался язык произнести нужные строгие слова. Мозг озарился мыслью, что, быть может, во всем мире нашелся один лишь человек, этот нескладный матрос, который пожалел старуху, умирающую в чужом доме, среди чужих людей.

Круглов робко косился на офицера, не понимая его волнения.

На дворе экипажа, против канцелярии, Шварц, все еще колеблясь, приказал идти матросу в роту и, когда тот отошел от него, крикнул вслед:

— Слушай! На двое суток в карцер пойдешь!

— Есть, ваше высокобродье! — бойко ответил матрос.

Они разошлись оба довольные.



## ШАЛЫЙ

### I

После обеда в сопровождении квартирмейстера явился он на канонерскую лодку «Залетную», стоявшую на малом рейде, и сразу же обратил на себя внимание всей команды.

Матросы только что кончили отдых и, залитые жгучими лучами весеннего солнца, перевалившего за полдень, распивали чай. В прозрачной синеве неба кое-где дремали белоснежные облака. Море, спокойное вдали, лениво плескалось и притворно ласково терлось о железо бортов судна. По рейду, разводя волну, проходили портовые буксиры, легко скользили ялики и шлюпки. Слышались гудки пароходов, выкрики людей, свистки капралов.

В ожидании старшего офицера, которому отправили препроводительный пакет, прибывший матрос, согнув в



коленях ноги, опустив, как плети, длинные руки, стоял на шканцах, мрачный, неряшливо одетый в поношенное казенное платье. Был он худ, но широк костью и жилист, с плоским, как доска, смуглым лицом, на котором вместо бороды несуразно торчали два ненужных клока вьющихся волос, точно нарочно приклеенных к крупному подбородку. Голова, с которой съехала на затылок фуражка, обнажив покатый лоб, немного склонилась к правому плечу, а черные с вывороченными веками глаза, глубоко засевшие в орбитах, неподвижно глядели куда-то в сторону, широко раскрытые и мутные, точно у безумного.

Подошел старший офицер, лейтенант Филатов, сытый и аккуратный, в белом кителе и до блеска начищенных черных ботинках.

— Что за чучело такое?

Матрос передвинул ноги, поднял правую руку к фуражке и, отдавая честь, молча уставился на старшего офицера, а тот, заглядывая в бумагу, начал спрашивать:

— Как фамилия?

— Матвей Зудин,— лениво цедил сквозь зубы матрос.

— В тюрьме сидел?

— Так точно, ваше бродье.

— За что?

— Не могу знать.

— Э, да ты, я вижу, гусь лапчатый...

— Никак нет — я матрос Зудин.

— Молчать!

Филатов пытливо заглянул матросу в глаза и отступил шаг назад.

— За оскорбление начальства сидел в тюрьме?

— Никак нет.

— Врешь!

Зудин задвигал широкими скулами.

— Я никогда не вру...

— Отвечать не умеешь! Я тебя проберу!.. Пошел!

Зудин взял свой чемодан и направился к носу, ни на кого не глядя, переваливаясь с боку на бок, шаркая по палубе большими порыжелыми сапогами.

Старший офицер, спускаясь с верхней палубы, крикнул:

— Рассыльный, позвать боцмана!

А в кают-компании, усевшись за стол, жаловался офицерам:

— Возмутительно! Присылают на корабль всякую дрянь. Сейчас прибыл матрос. Оказывается, в тюрьме сидел, дуролом, с идиотскими глазами. Ну что я буду с ним делать?..

— Мне кажется, давно бы пора упразднить эту дурную привычку во флоте: списывать с берега на суда плохих матросов,— вставил ревизор, обводя всех глазами.

Поддакнули и другие офицеры.

А когда в кают-компанию, держа в левой руке фуражку, вошел боцман Задвижкин, небольшой человек с желтыми плутоватыми глазами, с белокурой бородкой на продолговатом лице, старший офицер, повернувшись к нему вполоборота, заговорил:

— Вот что, боцман, к нам на судно прислали пародию на матроса... Впрочем, ты этого не понимаешь... К нам заявился шут гороховый — грязный, как черт, разговаривать с начальством не умеет, никакой военной выправки в нем нет, да притом еще арестант. Твоя задача — сделать из него настоящего матроса. Понял?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — почтительно отчеканил боцман.— Не извольте беспокоиться. Недельки через две-три он у меня по канату будет ходить не хуже всякого акробата...

— А пока назначь его за уборными смотреть. Ступай.

— Есть, ваше высокоблагородие! — ответил Задвижкин и, повернувшись, легкой походкой, точно танцор, вышел из кают-компании.

Зудин в это время, расположившись на рундуках, находящихся в передней части судна, для чего-то выкладывал из парусинового чемодана свои вещи. Около него толпились матросы, но он будто не замечал их, занимаясь своим делом и ничего не отвечая на задаваемые ему вопросы.

— А, ты здесь, перец,— подойдя к Зудину, сказал боцман, перед которым почтительно расступились матросы.

Зудин, услышав начальнический тон, разогнулся и, не глядя на боцмана, спросил:

— Почему — перец?

— Не разговаривать! Марш за мной!



Боцман быстро стал подниматься по трапу, а за ним, отставая, неохотно плелся Зудин.

— Шевелись! — раздраженно крикнул Задвижкин, оглянувшись.— Ходишь, как кухарка на рынок...

Уборная находилась в самом носу корабля.

— Вот где будет твое царство! — показывая на нее, сказал боцман.— Умывальники и все остальное держать в чистоте и опрятности...

— Мне все равно,— равнодушно ответил Зудин, согнувшись, расставив ноги.

— Не умеешь стоять, арестантская морда!

Не утерпев, боцман ударил его по лицу кулаком.

Зудин, точно проснувшись от сна, дернулся весь, выпрямился во весь рост и, сжимая кулаки, обратил на боцмана такой страшный взгляд безумных глаз, что у того похолодело в душе. Несколько секунд они молча стояли один против другого, тяжело дыша. Струсив, Задвижкин попятился назад, повернулся и неуверенно, пряча голову в плечи, точно ожидая удара, быстро засеменил ногами по палубе. Отойдя, он на ходу оглянулся: матрос, оскалив клыкастые зубы, стоял на том же месте, шевеля тараканьими усами, несуразно большой и сильный, а по сторонам, заметив растерянность боцмана, уже посмеивались матросы.

## II

Прошла неделя-другая.

Канонерская лодка «Залетная» спешно готовилась к дальнему плаванию, так как внезапным распоряжением высшего начальства она переводилась во Владивостокский порт. Работы было много. Матросы, смуглые от загара, целые дни проводили в суете, запасаясь углем, снарядами, машинным маслом, съестными продуктами и другими необходимыми предметами. Не оставались без дела и офицеры, отдавая те или другие распоряжения, присматривая за работой команды. А боцман Задвижкин, летая с одного конца корабля на другой, охрип от крика, бранился отъявленной руганью и немилосердно дрался.

— Копошись, окаянное племя! — хрипел он на матросов, грозясь кулаком.— Гони работу, чтобы всем чертям на зависть стало...

Матросы, работая, отзывались о нем промеж себя:

— На кондуктора выслуживается, шкура проклятая...

— Говорят, с главным дьяволом покумился...

Всем доставалось от боцма́на. Только одного Зудина он не трогал, стараясь не замечать его, боясь с ним встретиться. А тот кое-как, с грехом пополам выполняя свои обязанности, не принимал никакого участия в суматохе, происходившей на корабле, и больше всего сидел в носовом отделении, низко склонив голову, огромный и нескладный, как статуя каменного века. Изредка он выходил к фитилю, где молча курил свою «самокрутку» и мрачно глядел куда-то мимо людей. А если иногда случалось, что он уставится на кого из матросов, то никто не выдерживал его взгляда, долгого и упорного, вставал и, уходя, заявлял:

— Чтоб тебе провалиться на этом месте!.. Наградит же ведь господь бог такими глазенапами...

Однажды темной ночью, осторожно шагая, подгибаясь под подвешенные парусиновые койки, Зудин долго ходил по жилой палубе, чуть освещенной электрическими лампочками, оглядываясь по сторонам, точно кого-то разыскивая.

— Ты что ходишь? — спрашивали его матросы.

Он не отвечал, продолжая ходить, как лунатик.

Своим поведением, мрачным видом, внушавшим людям непонятный страх, своею постоянной замкнутостью, скрывавшей его прошлое, он заинтриговал матросов, возбуждая у них интерес к себе. О нем спорили, гадали, но никто не мог проникнуть в темные недра его души.

В одном лишь соглашались все:

— Он не только чужого, а даже родную мать может зарезать и не дрогнет...

Обратились к авторитету фельдшера, к молодому щеголеватому человеку с рыжими пейсиками на висках.

— Скажите на милость, как понять матроса Зудина?

Тот, подбоченившись, приподняв брови, начал говорить долго и пространно о душевнобольных, пересыпая свою речь непонятными медицинскими словами, и наконец закончил:

— Проще сказать — шалый он.

— Вот это верно,— подхватили матросы.— Так бы прямо и сказали. А то путали, путали...



— А не опасный он? — справились у фельдшера более робкие из них.

— Нет, нисколько.

С тех пор матроса Зудина стали прозывать Шалым.

В ближайшее воскресенье, в прекрасный солнечный день, когда очередное отделение команды готовилось «гулять на берег», Шалый явился в каюту старшего офицера, заградив собою весь квадрат открытых дверей.

— Ты зачем сюда? — строго спросил Филатов.

— Отпустите в город,— не поднимая головы, процедил Шалый.

— Не могу...

— Почему?

— Потому что ты...

Старший офицер вскочил со стула, сразу замолчал и попятился назад, в угол каюты, точно толкаемый невидимой силой, а на него из глубоких орбит, окруженных синяками, мрачно уставилась пара темных глаз. Он впервые увидел лицо Шалого, не по годам изношенное, измученное, с крупной трагической складкой поперек лба, и, чувствуя страх, смешанный с жалостью, к этому несчастному человеку, заговорил снисходительно:

— Хорошо, хорошо, иди в город...

Шалый продолжал стоять, точно ничего не понимая.

— Говорят тебе, иди! Отпускаю я тебя, понимаешь? — возвысив голос, закричал Филатов, точно перед ним стоял глухой.

Шалый молча повернулся и медленно зашагал от каюты.

— Черт знает что такое! — посмотрев ему вслед, рассердился старший офицер на самого себя.— Напрасно отпустил...

А в городе в этот же день с Шалым встретился боцман, который, немного подвыпив, быстро шел по тротуару на рынок, часто поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить офицеров без отдания чести. Два противника почти столкнулись нос с носом и на минуту остановились, точно в раздумье.

— Ну? — подавленно произнес Задвижкин.

— Что ну? — спросил Шалый, мотнув головою.

И опять, как и при первой встрече с этим матросом, страшно стало боцману, опять в его душу закрался холодный ужас. Повернувшись, он проворно зашагал на

другую сторону улицы, отчаянно ругаясь и часто оглядываясь, точно боясь погони.

На следующий день старший офицер, позвав к себе боцмана, спросил:

— Ну, как этот идиот, Зудин, исправляется?

Боцману стыдно было признаться в своем бессилии, еще больше — в своей трусости, которой он — решительный и храбрый — никогда не знал за собою.

— Будьте спокойны, ваше высокоблагородие,— мы из быка сделаем матроса.

— А как обязанности он свои выполняет?

— Великолепно, ваше высокоблагородие! — невольно уже врал боцман дальше.

Старший офицер, удовлетворенный таким ответом, на этом успокоился.

## III

«Залетная», выкрашенная в белый цвет, чисто вымытая, отправилась наконец в свой дальний путь.

Проходили дни за днями, однообразные, похожие один на другой, беспрестанно работала машина, двигая лодку вперед — во Владивосток. Стояла хорошая солнечная погода, лишь изредка омрачавшаяся тучами, с короткими налетами ветра, точно дразнившего море. Давно уже скрылись берега с золотистыми песками, с постройками городов, с зелеными рощами, с пышными садами, и все шире, чаруя человеческий глаз, развертывалось море, а над ним, богато разбрасывая горячие лучи летнего солнца, прозрачно-голубым куполом висело ясное небо. Среди пустынного простора приятно было встретиться с каким-нибудь другим кораблем, обменяться, подняв флаги, приветствиями и разойтись в разные стороны, растаивая в синеющей дали.

Для команды теперь было меньше работы, она больше отдыхала, поправлялась, наливаясь здоровым соком. Свежее стали лица матросов, чаще слышался смех, а по вечерам, после ужина, на баке у всегда горящего фитиля раздавались залихватские песни. Боцман, раньше державший в страхе всю команду, не знавший себе удержа в издевательствах над ней, по мере того как «Залетная» все дальше уходила от отечественных вод, становился добрее, заменяя прежнюю ругань шутками.



— Петров! — внезапно в присутствии команды обращался он к знакомому матросу, стараясь придать себе начальнический вид.

— Чего извольте, господин боцман? — отзывался тот.

— Это я так, чтобы не забыть, как звать тебя...

Матросы смеялись.

Они прекрасно понимали, почему боцман стал относиться к ним лучше,— он боялся Шалого, всюду следившего за ним своими страшными глазами,— и старались еще больше запугать его, постоянно докладывая:

— Эх, Трифон Степанович, несдобровать вам...

— То есть как это? — встрепенувшись, спрашивал боцман.

— Очень просто: укокошит вас Шалый, и больше никаких. Ему все равно, раз он полоумный. Что с ним сделаешь?

И действительно, когда бы боцман, будучи на верхней палубе, ни заглянул под полубак, в уборную, он всегда неизбежно встречал там Шалого, следившего за ним, как паук за своей жертвой. Но Задвижкин, стараясь скрыть свою тревогу, храбрился перед матросами:

— Чтоб я да его испугался! Да я из этой полоумной балды такого форменного матроса сделаю, что волчком будет вертеться, молнией по кораблю летать... Не таких укрощали.

Горячась, он ругался и кричал, бил себя в грудь кулаком, но ни в голосе, ни в жестах его не было той уверенности, какая замечалась в нем раньше.

— Нет, Трифон Степанович, ничего вы с ним не поделаете,— возражали матросы.— Силен он, Шалый-то. Надысь он целую бухту стального троса поднял. А в ней, поди, пудов двадцать есть. Так, ни с того ни с сего, взял да поднял, вроде как хотел свою силу показать.

Хуже всех донимал боцмана своими сообщениями о Шалом марсовой Петлин, глуповатый малый с рачьими глазами. Когда-то ему пришлось пережить тяжелое унижение: он пролил на палубу суп, а боцман, придя в гнев, заставил его облизать палубу, досуха облизать, что и было исполнено им под хохот команды. Теперь он торжествовал, видя, что можно отомстить своему обидчику.

— Ну, Трифон Степанович, беда вам...

— В чем дело? — испуганно спросил тот.

— Сам видел кинжал у Шалого. Эх, и большой! С руку величиной. Острый, так и блестит. Повертел он его в руке и за голенище сунул...

— Ну! — удивился Задвижкин.

— Лопни моя утроба, не вру.

— Может, украдешь кинжал, а?

— Нет, уж это вы сами украдите. А мне жизнь еще не надоела.

— Трешницу дам.

— Я сто рублей не возьму.

— На квартирмейстера представлю.

— По мне хоть в адмиралы — все равно не согласен...

Боцман в эту ночь совершенно не мог заснуть, думая о Шалом, держащем в руках острый блестящий кинжал.

В другой раз, утром, во время мытья верхней палубы, этот же марсовой подошел к боцману, толкнул его локтем и, показывая рукою на носовую часть судна, сказал:

— Поглядите-ка, что проделывает...

Шалый в это время стоял под полубаком, держа в руках большой лом; потом он несколько раз размахнулся им, точно нацеливаясь кого-то ударить.

— Порешит он с вами...

Боцман, бледнея, почувствовал, что по его спине будто гладят чьи-то ледяные руки. Он быстро спустился в низ судна, заперся в своей каюте, объявив другим, что ему нездоровится. А Петлин отправился к Шалому и, обращаясь к нему, внушал:

— Боится тебя боцман... каждый день ждет, что на тот свет его спишешь...

Шалый, подняв голову, молча глядел на марсового.

— Что же ты окошки свои на меня уставил? Говорят тебе, что у боцмана поджилки трясутся. Придавишь, брат, его, а?

— Ладно,— отворачиваясь, нехотя отвечал Шалый.

Спал он в жилой палубе на решетчатых рундуках, подостлав под себя матрац, набитый мелкими истолченными крошками из пробочного дерева. Часто его видели здесь лежащим на спине, нераздетым, в сапогах, с открытыми глазами, неподвижно уставившимися в потолок, и неизвестно было, спит он или нет. Случалось, что он тяжело застонет во сне, пугая соседей. Раз ночью во время небольшой бури он, проснувшись, вдруг засуетился и, обратившись к матросу, только что сменившемуся с вахты, спросил:

— Слышишь?

— Что? — удивился тот.

— Ребятишки кричат, и баба плачет...

— Это ветер в вентиляциях воет.

— Врешь!

Шалый, вскочив торопливо, в одном нижнем белье побежал на палубу.

Матрос, ложась спать, посмотрел ему вслед и заключил:

— Дело дрянь... Совсем испортил мозги... А голова без разума, что маяк без огня...

Днем Шалый по-прежнему проводил все свое время в носовом отделении и ни с кем не разговаривал, жил своим одиноким внутренним миром, загадочным и непонятным. До окружающей жизни ему не было никакого дела. Казалось, какая-то тяжелая дума, точно свинцовая туча, вытеснив все мысли, мраком отчаяния заполнила душу. Только глубже уходили в орбиты его страшные глаза, темные, как осенняя безлунная ночь, шире расходились вокруг них синие круги и все чаще трагическая гримаса кривила его мертвое лицо...

## IV

«Залетная» побывала уже в двух иностранных портах, где возобновила запас угля и свежих продуктов, и продолжала идти дальше, оставляя за кормою вспененный бурун. Теперь она держала курс на юг, точно стремилась скорее приблизиться к тропическому солнцу. Небо дышало зноем, накаляя неподвижный воздух, ослепительным блеском отражаясь в синеве моря.

На корабле дисциплина падала.

Боцман, запуганный Шалым, не знал, куда от него деваться, жил в большой тревоге, каждый день ожидая себе смерти, которая неизбежно придет к нему из-под полубака, от несуразного матроса. Смятение охватывало его душу, исчезла храбрость. Он старался подружить с командой, как бы ища у нее защиты. Часто можно было видеть его среди матросов, которым он, притворно-ласковый, заискивающий, рассказывал:

— Эх, братцы, будет дело! Дай только нам до Африки добраться. Женщин там — ну таких нигде не сыскать! Очень, говорю, ласковые и до нашего брата жадные. А до чего любят целоваться — страсть! Как влиппет, так и не оторвешься. Замрет! А все оттого, что солнце на них так действует, насквозь накаляет... Эх, через таких женщин можно жизни лишиться, и то не жаль... Смерим, братцы, температуру, а?

Задвижкин крутил головою, прикрыв ресницами свои плутоватые глаза.

Матросы возбужденно смеялись.

— Я сам пойду с вами в город, покажу вам все чудеса африканские... Абсентом угощу. Водка такая есть — здорово в голову ударяет, хуже нашего ерша. Гашиш испробуем. Если его как следует накуриться, то душа в райские обители переносится. А потом я вас в туземный театр сведу. Там вы увидите «танец живота». Это уже что-то необыкновенное. Стоит девица на одном месте, вся голая, в одном естестве своем, самая что ни на есть складная, расчудесная, и одним животом танцует. Ну так может распалить нашего брата, что некоторые до помрачения доходят. Когда вернусь домой, обязательно свою жену научу...

Увлекаясь, боцман рассказывал об Индии, Японии и других странах, где приходилось ему побывать, рассказывал до тех пор, пока кто-нибудь из матросов, скрывая свое злорадство, не вставлял:

— Это все хорошо, но только, боюсь, не придется вам, Трифон Степанович, ходить по таким местам...

— Почему? — настораживаясь, спрашивал Задвижкин.

— Вы сами отлично знаете: не сегодня-завтра обязательно пришибет он вас, Шалый-то...

— Дурак! — убегая от матросов, кричал боцман, а ему вдогонку неслось:

— Дураки мы с тобою оба, но только ты дурее меня много...

Боцмана перестали слушаться совсем, судовые работы выполнялись кое-как.

Старший офицер, заметив падение прежней дисциплины, призвал однажды боцмана к себе в каюту и обрушился на него гневом:

— Куда это ты все прячешься? Отчего тебя не видно на верхней палубе?



— Я, ваше высокоблагородие, за командой присматриваю...— начал оправдываться боцман.

— Врешь! Хвалился из Зудина акробата сделать, а сам боишься его. Да?

— Ваше высокоблагородие, будь он с натуральной головой, я бы его проучил...— признался наконец боцман в своем бессилии.

— Просто ты ни к черту не годишься! В матросы разжалую! Пошел вон, болван!

Боцман вышел из каюты растерянный, весь красный.

— Что, Трифон Степанович, али в бане попарились? — смеясь, спрашивали его матросы.

Матросы, бывшие рабы, которым он плевал в лицо, которых он обижал и оскорблял так, как только могла придумать его злобная фантазия, становились все смелее, наглели, старались уколоть его при всяком случае. И чудно было видеть, как боцман из грозного повелителя, перед одним взглядом которого трепетала вся команда, теперь превращался в смешного и жалкого человека, беспомощно хватающегося за голову, в полное ничтожество.

Страх перед загадочным матросом, точно перед чудовищем, поселившимся в носовом отделении и неизвестно что замышляющим, заразил всех квартирмейстеров, боцманматов и, разрастаясь, перекинулся в кают-компанию. Шалого начали бояться и все офицеры, избегая встречи с ним, стараясь обходить его, боялся его и сам старший офицер Филатов, но никто не хотел в этом признаться. Каждый из них в душе знал, что на корабле должно произойти что-то ужасное, кошмарное. Положение становилось тягостным. Филатов, потеряв наконец терпение, начал просить у командира судна разрешения списать Шалого, как сумасшедшего, в первом же порту.

— Разве этот матрос буйствует? — спросил командир, разбитый болезнью человек, поглаживая рукою свою лысую голову.

— Не буйствует, но все-таки опасно такого человека держать на корабле.

— А раз так, то довезем его до Владивостока.

— В таком случае, за неимением другого подходящего помещения, позвольте его хотя в карцер запереть или держать на привязи.

— Ну, что вы говорите! Это было бы совершенно незаконно. Он же ведь не преступник...

Филатов, рассердившись, прекратил разговор и вернулся в кают-компанию расстроенным, жалуясь офицерам на командира:

— Законник! Буквоед! Начинил свою лысую голову циркулярами да предписаниями, точно колбасную кишку разными сортами мяса, и ни за что не хочет считаться с требованиями жизни...

— Что случилось? — обратились к нему офицеры.

— Да командир вывел меня из терпения: не хочет никаких мер принять против матроса Зудина. Ведь видно же по всему, что настоящий психопат. Он нам бог знает что натворит.

— Да, да, невозможно стало жить на корабле...— откровенно заговорили вдруг все находившиеся в кают-компании.— Это воплощение какого-то необъяснимого ужаса... На что он нужен на корабле?..

Офицеры на этот раз долго говорили о Шалом, придумывая всякие меры, как скорее избавиться от него, но к определенному заключению так и не пришли.

## V

Не успела «Залетная» пройти Гибралтарский пролив, вступив в Средиземное море, как погода начала портиться. По небу заходили тяжелые, лохматые тучи; кружась, подул ветер; вздрагивая, сурово нахмурилась вся водная равнина. Вокруг сразу все посерело, изменилось. Чувствовалось приближение бури.

Это было с утра, а к вечеру, подбрасывая судно, уже в бешеной пляске прыгали волны, на разные голоса завывал ветер.

Шалый вдруг ожил, забеспокоился, чаще стал выходить из-под полубака, охваченный какой-то внутренней тревогой. Стоя на верхней палубе, оперщись руками на фальшборт, он пристально всматривался в безбрежную даль, подернутую серою мглою, покрытую вспененными буграми, и восклицал, встряхивая головою:

— Ах, здорово! Началось...

Балансируя, он переходил от одного борта к другому.

А встретившись с марсовым Петлиным, он будто обрадовался ему и, поблескивая лихорадочными глазами, впервые сам заговорил:

— Сказали — от них одни уголечки остались... Брешут! Они живы, живы...

— Кто? — спросил Петлин, моргая рачьими глазами.

— Ребятишки мои и баба... Зовут меня к себе, каждую ночь зовут... Скоро кончится...

Марсовой недоумевал:

— Что кончится?

— Вахта.

— Какая вахта?

— Моя.

— А боцман?

— Ах да, боцман, боцман,— отходя, забормотал он, точно стараясь о ком-то вспомнить.

На второй день буря усилилась. Клубясь, ниже опускались рваные тучи, громоздились неуклюжими пластами, вдали тяжело наваливались на море и суживали горизонт, темные, как соломенный дым; вскипая и пенясь, громадными буграми катились волны, по необъятному простору со свистом и воем проносились вихри, поднимая каскады перламутровых брызг. В полумраке, разрезаемом ослепительными зигзагами молнии, беспрестанно грохотал гром, разражаясь оглушительными ударами; все вокруг ревело и ухало. Море клокотало, точно подогреваемое адским огнем.

«Залетная» еле справлялась с разбушевавшейся стихией. Гудя вентиляторами, она качалась на волнах, как скорлупа, то скатываясь в разверстые бездны, то снова поднимаясь на водяные холмы. Иногда волны, раскатившись, стеною обрушивались на верхнюю палубу, задерживая ход, обдавая брызгами мостики, приводя в содрогание весь корпус, но канонерка не поддавалась, рвалась вперед, упорно держа свой определенный курс.

Командир все время находился в ходовой рубке, болезненно бледный, осунувшийся, обескураженный бурей, молча и растерянно смотрел на горизонт слезящимися глазами, всецело предоставив управлять кораблем штурману, пожилому самоуверенному человеку, знавшему все капризы моря.

Многие матросы, страдавшие морской болезнью, валялись в жилой палубе, ходили по кораблю, точно отравленные ядом, с позеленевшими лицами, с остекленевшими глазами.

Только Шалый, мокрый от брызг, без фуражки, с неестественно расширенными зрачками блуждающих глаз, метался по верхней палубе, как пьяный. Приложив руку ко лбу, он осматривал сумрачно-мутные дали, заглядывал за корму, словно любуясь шумно бурлящим потоком воды. Казалось, навсегда исчезла его мрачная угрюмость, сменившись восторгом.

— Эх, взыгралось! — крепко схватив за руки одного матроса, процедил он сквозь оскаленные зубы.

— Пусти, полоумный идол! — вырываясь, крикнул перепуганный матрос.

— Убирайся к черту! — отшвырнув от себя матроса, произнес Шалый и побежал от него к бугшприту.

После обеда старший офицер, выйдя на верхнюю палубу, заметил, что одна шлюпка плохо прикреплена. Приказал вахтенному позвать боцмана.

— Это что такое? — закричал Филатов, показывая пальцем вверх, на шлюпку, когда явился перед ним боцман.— Один конец шлюпки подтянут выше, другой — ниже! А что за узлы такие! Позор для корабля...

— Виноват, ваше высокоблагородие,— проговорил боцман, держа руку под козырек.

— Виноватым морду бьют! Это черт знает что такое...

Ни тот, ни другой не заметили, что в это время, немного согнувшись, отвернув голову в сторону, а на них скосив лишь свои страшные глаза, приближался к ним Шалый, весь какой-то встрепанный, мутный, с искаженным лицом.

Охватив всю ширь неба, сверкнула молния, а вслед за нею оглушительно грянул гром.

Волна, взметнувшись на палубу, окатила с ног до головы и боцмана и старшего офицера.

Филатов рассердился еще больше и, откашлявшись, чувствуя во рту горечь морской воды, рычал, точно в этом виноват был боцман:

— Сгною тебя в карцере, негодяй!

— Это все матросы...

— Молчать!..

Шалый, взвизгнув, с яростью зверя набросился на боцмана, схватил его поперек, приподнял и бегом, точно с малым ребенком, помчался почему-то к более отдаленному борту. Произошла отчаянная схватка: один, почувствовав весь ужас смерти, вырывался, колотился,



словно в истерике, кусаясь, размахивая руками и ногами; другой, оскалив зубы, крепко держал его в объятиях, сдавливая как железными тисками, заглушая его предсмертный вопль злорадным сатанинским хохотом.

Продолжалось это несколько мгновений. Матросы, случайно вышедшие на верхнюю палубу, и старший офицер безмолвно стояли, точно в оцепенении, широко раскрыв глаза. Никто из них не двинулся с места для защиты боцмана. И только тогда, когда два сцепившихся человеческих тела рухнули за борт, Филатов, подняв вверх руки, закричал нечеловеческим голосом:

— Спасайте!.. Бросьте буек!.. Судно остановить...

И снова, сверкнув молнией, еще сильнее загрохотал гром, сливаясь с ревом бури в один грозный аккорд.

На палубе поднялась суматоха, беготня, а там, за бортом в бушующих волнах, быстро отставая от корабля, то утопая, то выныривая, два человека, продолжая еще некоторое время борьбу, скрылись навсегда в темных пучинах моря...



## ПЕВЦЫ

В трактире «Не грусти — развеселю», несмотря на сумрачность и грязь, в этот вечер поздней осени, когда на дворе беспрерывно моросит дождь, а сырой и холодный ветер пронизывает до костей,— хорошо и уютно. Народу не так много, сравнительно тихо, хотя в деловой разговор то и дело врываются пьяные голоса, звон посуды, призывающий к столам прислугу, щелканье на буфете счетной кассы. По временам заводят граммофон, старый, полинявший, с большой красной трубой. Он играет сносно, но вдруг сорвется и, словно чем-то подавившись, зарычит режущим ухо голосом.

Большой зал освещен электрическими люстрами. Вдоль стен и по углам, точно прячась от людского взора, сидят каменщики, ломовики, чернорабочие — народ

плохо одетый, заскорузлый, но плотный и сильный. Они глотают водку большими стаканами, не торопясь закусывают потрохами и ржавой селедкой, чай спивают добела. Разговор их медлительный, лица хмурые, взгляд тяжелый. Ближе к буфету жмутся дворники, швейцары, городовые, за честь считающие потолковать с буфетчиком. Посредине — подрядчики и торговцы. Эти говорят степенно и важно, слов на ветер не бросают, и только те, что помоложе, держатся бойчее. К ним более внимательно, чем к другим посетителям, относятся половые.

В трактир входит мужчина, опираясь одной рукой на костыль, а другой на плечо женщины. Он лет тридцати, худой и жилистый, во флотской фуражке и поношенном пиджаке, с Георгиевским крестом на груди. Ноги его согнуты, трясутся и беспокойно шаркают по полу, точно нащупывая место, чтобы утвердиться. Она моложе его, но и на ее бескровном лице, с заострившимся носом и строго поджатыми сухими губами, отпечаток нужды и горя. Покрыта ситцевым платком, в мужских сапогах и просторной ватной поддевке, сквозь которую сильно выпячивается беременный живот. Оба мокрые от дождя, прозябшие.

Окинув усталым взглядом трактир, вошедший обратился к буфетчику:

— Позвольте бывшему матросу повеселить публику.

Буфетчик, сощурившись, оглядел пришельцев с ног до головы, отсчитал кому-то сдачи и наконец спросил у матроса:

— Раненый, что ли, будешь?

— Да.

— Где сражался?

— При Цусиме.

— Так... А это жена твоя?

— Подвенечная...

Получив разрешение, матрос достает из-за плеча большой деревянный футляр, вынимает из него венскую двухрядную гармонику и садится на стул, а жена становится рядом. Перебирает лады, пробуя голоса. Потом играет какой-то марш.

В трактире сразу замолчали. Сошлись люди из других комнат. Все смотрят на матроса, а он, склонившись левым ухом над гармоникой, словно прислушиваясь к ней, растягивает меха во всю ширину рук. И несутся, потрясая воздух, стройные звуки, кружатся, как в вихре, звонко заливаются, буйные аккорды сменяются веселой трелью.



— Браво, моряк! Молодец!..— дружным одобрением отозвался «Не грусти — развеселю», когда замолкла гармоника.

Какой-то длинноволосый человек в монашеском костюме подносит матросу рюмку водки, а сам держит другую, приговаривая нараспев:

— Возвеселимся, пьяницы, о склянице и да уповаем на вино...

— Очистим чувствие и узрим дно,— по-церковному отвечает матрос, выпивая.

Он оживает, ерошит черные волосы и смотрит на людей немного насмешливо, не то собираясь еще чем-то удивить их, не то радуясь, что добился внимания к себе.

Снова грянула гармоника, дружно понеслись, заливаясь в пьяном, дымном воздухе, мелодично-шумливые звуки, а за ними, словно стараясь догнать их, с торжественной медлительностью покатился бас матроса:

Нутко, молодцы лихие,
Песню дружно запоем...

Выждав момент, радостно взвился женский подголосок:

Мы матросы удалые,
Нам все в мире нипочем...

Зала насторожилась, по лицам пробежала легкая струйка удовольствия. Застыли в напряженном внимании. Какой-то подрядчик, начавший было рассчитываться, так и остался с раскрытым ртом и бумажником. К его столу придвинулись два печника и усиленно вытянули к певцам желтые шеи. Замерли «шестерки» в белых ситцевых штанах и рубашках.

А матрос, набирая в грудь воздух, поет:

Дудки хором загудели,
И пошел вовсю аврал...

Присоединяясь к нему, жена бойко-певуче выкрикивает:

Мачты, стеньги заскрипели,
Задымился марса-фал...

По окончании песни во всех углах раздаются рукоплескания, крики одобрения.

Женщина взяла флотскую фуражку, обходит публику, низко кланяясь каждому, кто бросает ей монету.
Матроса угощают водкой, колбасой, жмут ему руки.
— Молодчага!.. Спасибо!.. Дербани еще одну!..
Жена возвращается и, спрятав в карман выручку, просит:
— Не пей, Андрюша, пойдем.
— Я только чуточку, Даша, ей-богу...
— Нет, насчет музыки ты горазд,— выражает похвалу матросу лесопромышленник, крутя пальцами острую бородку.— И поешь здорово. Тонко знаешь свое дело...
Матрос улыбается.
— Любил я ее с малолетства, музыку-то... Как, бывало, услышу где — сам не свой. И голос у меня был. А вот после войны ослаб.
— Какой ослаб! Хоть сейчас к архиерею в протодиаконы...
Пучеглазый купец с красным, как голландский сыр, лицом пристает к матросу:
— Спой, брат, ты для меня еще флотскую, со слезой спой... Такую, знаешь ли, чтобы за самое нутро хватила! Красненькой не пожалею...
Он сует матросу десятирублевую бумажку.
— Хорошо,— соглашается тот.
Шепнув что-то жене, которая, сложив на большом животе руки, стоит с опущенной головой, матрос снова разводит гармонику, быстро перебирая лады. И вдруг, тряхнув головою, протяжно запевает:

Закипела в море пена,
Будет ветру перемена...

Жена, встрепенувшись, подхватывает подголоском:

Братцы! ой, перемена-а-а...

В пении чувствуется большой навык, в музыке — уменье. Гудят и рокочут басы, грустно журчат миноры, испуганно заливаются альты и дисканта, сливаясь в бурный каскад звуков, а в нем, то утопая, то поднимаясь, плавают два человеческих голоса, качаясь, точно на волнах моря.
Матрос, оставив свою подругу на высокой ноте, продолжает:

Зыбь за зыбью часто ходит,
Чуть корабль наш не потопит!..



Он стал неузнаваем. Голова, со спустившимися на лоб вихрами, покачивается в такт переходам голоса, широко раскрытый рот искривлен, брови сдвинуты, а темные глаза, загоревшись вдохновением, смотрят куда-то мимо людей. И во всей его фигуре, напряженной и сосредоточенной, теперь чувствуется молодецкая удаль, отвага, точно он, как в былые годы, снова видит перед собою бушующее море, разверстые бездны, слышит оглушительный шум грозной бури.
Жене трудно петь: она надрывается, залитая нездоровым румянцем.
В зале никто не шелохнется. С вытянутыми шеями, серьезные, сидят девицы, подсмеивавшиеся раньше над женою матроса. Толстый мучной торговец, забрав в рот окладистую бороду, смотрит в стакан с чаем, точно увидев в нем что-то необыкновенное. Какой-то старик из чернорабочих тихонько вытирает слезы. Даже буфетчик, ко всему равнодушный, кроме наживы, застыл на месте, скосив на матроса маленькие, острые глаза.
Точно не в трактире, а с корабля, переживающего бедствие, волнами раскатывается бас матроса, с тревогой возвещая:

Набок кренит, на борт валит,
Бортом воду забирает...

А подголосок, словно испугавшись, что предстоит неминуемая гибель, отчаянно рыдает:

Братцы! ой, забирае-ет...

Необычный, красивый мотив песни, исполняемой с большой страстностью, заражает тревогой весь трактир. И чем дальше поют, тем страшнее развертывается картина бури, готовой разнести корабль. Вот уже:

Белые паруса рвутся,
У матросов слезы льются...

— Не могу больше,— оборвав песню, неожиданно заявляет матрос, вытирая потное лицо.— Силушки нет.
Певцов наперебой благодарят, хвалят, а пучеглазый купец со слезами на глазах целует их в губы, говоря растроганно:
— Спасибо!.. Отродясь такой не слыхал, песни-то!.. Душа будто от скверны очистилась.

Матрос что-то отвечает, но в шуме голосов его уже не слышно. Он укладывает гармонику в футляр. Поблекший, с потухшими глазами, поддерживаемый женою, он едва пробирается через толпу к выходу и, выбрасывая в сторону трясущиеся ноги, тихо выходит на улицу.

А на дворе дождь, мелкий, осенний, надоедливый. Бросаясь из стороны в сторону, колышется пламя фонарей, слабо освещая мокрые, угрюмые дома. Дует ветер, тонко подпевая в телеграфных проводах. Не разбирая дороги, опираясь на жену и костыль, молча идет матрос, немного хмельной, усталый, с одной лишь мыслью об отдыхе в холодном и сыром подвале.



## ОДОБРЕННАЯ КРАМОЛА

**В** окна флотского экипажа смотрит осенняя ночь, темная и холодная. Нудно завывает ветер, как изголодавшаяся нищенка, и нетерпеливо барабанит о стекла каплями дождя; он словно сердится, что внутри этого длинного кирпичного здания, в выбеленных камерах, ярко горят газовые рожки и царит тепло.

В такую погоду никому не хочется идти в город: матросы сидят на своих койках, покрытых серыми одеялами, скучают, распивают чай, в шутку перебраниваются, читают или же слоняются из одной роты в другую по знакомым и приятелям. Какой-нибудь старый моряк рассказывает о своих приключениях в дальних плаваниях, о чудесах жарких стран, ловко переплетая действительность с красивым вымыслом и вызывая удивление у молодежи.

Пахнет особым казарменным запахом.

В одной из камер машинный квартирмейстер первой статьи Дмитрий Брагин, сидя на корточках у раскрытого сундука, перелистывает толстую, только что разрезанную книгу. Его большая круглая голова упрямо наклонена, черные брови строго нахмурены, а маленькие подслеповатые глаза быстро шарят по страницам. Всегда



одинокий, он среди команды считается загадочным человеком. Если кто-нибудь из матросов ругает начальство, он говорит:

— Ты, брат, тише!

— А что? — спрашивает тот.

— Всякая власть от бога.

— А ты откуда знаешь?

— Так святые отцы говорят,— отвечает Брагин, но смотрит на матроса так насмешливо, точно подзадоривает его.

Иногда вытащит из сундука библию, как бы стараясь цитатами из нее подтвердить свою мысль, но читает те места, где говорится как раз обратное.

— Нет, не то,— заявит вдруг он, кладя библию обратно в сундук.— Забыл я, где это за власть-то говорится. После найду...

В то же время в глазах начальства это — примерный унтер-офицер, хорошо знающий свое дело, исправный по службе и усердно посещающий церковь.

Матросы отзываются о нем по-разному.

— Не поймешь его... Не то больно умен, не то пустая голова.

— Он только с виду дубина стоеросовая, а черепок у него работает на тридцать узлов...

Брагин, просматривая книгу, сияет весь, словно жених перед желанной невестой.

— Вот это здорово! — хлопнув ладонью по книжке, восторженно восклицает он.

— Ты что это? — спрашивают его матросы.

— Так... Книгу хорошую достал. После справки вслух буду читать... Вы отродясь ничего подобного не слыхали.

Брагин перебирает свои книги, едва умещающиеся в сундуке. Тут «Сила и материя» Бюхнера и «Четьи-Минеи», «Библия» и сочинения Штрауса, «Требник» и «О происхождении видов» Дарвина. Вся крышка сундука залеплена картинками с изображениями святых отцов.

— Сколько, поди, денег потратил на эту чепуху, а для чего, спрашивается? — замечает один марсовой, лежа на кровати и зевая во весь рот.

— Сразу видать, что замешан на пресной водичке,— отвечает Брагин,— иначе не рассуждал бы так.

— А ты — на дрожжах?

— На самых настоящих. Поэтому меня трудно превратить в болвана.

— На справку! — проиграв в медную дудку, командует дежурный по роте.

Простояв на перекличке и пропев вечерние молитвы, матросы толкутся около Брагина, прося:

— Ну-ка, браток, уважь публику!

— Да уж будете довольны,— отвечает Брагин и достает из-под подушки книгу.

Он читает стоя, не торопясь. Голос его, немного вздрагивая, звучит все громче и внятнее, брови нахмурены, а худощавое лицо серьезно, как у проповедника.

Матросы, собравшиеся почти со всей роты, слушают его с напряженным вниманием, застыв на месте, чувствуя какую-то смутную тревогу. И не удивительно: в книге резко критикуется царское правительство, беспощадно вышучивается полицейская религия, а попы бичуются такими резкими сарказмами, что, кажется, от них летят только клочья. Раздаются слова, новые, страшные, никогда еще не слыханные, разрушая, как каменные глыбы, установившиеся взгляды на жизнь. Все озарено пламенем глубокой мысли, слушатели охвачены трепетом и безумным страхом от впервые вспыхнувшей перед ними во всем своем ослепительном блеске правды.

— Брось, слышь! В остроге сгноят... Разве можно это при всех читать? — толкая Брагина, предупреждают его друзья.

— Не мешайте! — резко отвечает машинный квартирмейстер и, окинув свою аудиторию торжествующим взглядом, вытирает рукавом форменки потное лицо.

— Это он из головы выдумывает,— воспользовавшись паузой, кричит кто-то из толпы.

— Подойди и посмотри!

Несколько человек, протолкавшись вперед, с любопытством заглядывают в книгу, щупают ее руками, вырывая друг у друга.

— Отступи на мостовую! — кричат им другие.

— Продолжай читать! Читай дальше! — гудят нетерпеливые голоса.

Брагин, усевшись на шкаф, чтобы его могли все видеть, начинает снова читать с еще большим воодушевлением.



А матросы, придвинувшись к нему ближе, слушают жадно, не спуская с него глаз.

По мере того как прочитываются новые страницы, любопытство их все возрастает. Незримый дух гения, передаваясь через голос чтеца, покоряет слушателей. И всем кажется, что в их уродливую и сумрачную жизнь врывается золотой луч истины, освещая бездну людской лжи и порока.

— Ай да книга! — изредка восклицают из толпы.

— Ровно поленом, вышибает дурь из головы!

— Другая книга как будто и складная, но такая мудреная, точно ее аптекарь сочинил,— восторгается чей-то бас.— А тут все ясно, что и к чему.

— Тише вы, оглашенные! — раздаются сердитые голоса.

Подходит фельдфебель, прозванный за свое уродливое лицо Кривой Рожей. Никем не замеченный, он прислушивается к чтению, повернув одно ухо в сторону Брагина. Но минут через пять, вскинув голову, он смотрит на машинного квартирмейстера точно на какое-то чудовище и бросается к нему, яростно размахивая руками.

— Стой! Стой, собачий сын! Бесцензурная книга! Арестую! Смутитель!

Из толпы раздаются протестующие голоса:

— Не трогай! Дай человеку кончить!

— После разберем!

— Жарь, Митька, дальше!

Брагина загораживают матросы, плотно прижимаясь друг к другу и не пропуская к нему взбешенного фельдфебеля.

В это время в камеру входит дежурный офицер, плотный господин, грубоватый в обращении с матросами, любитель покричать на них, но в общем считающийся простым, не придирчивым начальником.

— Смирно! — зычно командует, вопреки правилам, дневальный по камере, желая этим предупредить товарищей о приблизившейся опасности.

Шум голосов сразу обрывается.

— Это что за сборище здесь? — гневно кричит офицер.

— Да вот, ваше благородие, я им святую книгу читаю,— выдвигаясь из толпы, отвечает Брагин смиренным, немного певучим голосом и сразу же меняется в

лице, придавая ему кисло-постное и глуповатое выражение.

Кривая Рожа сначала спрятался было за спины других, но тут же, дрожа и бледнея, подскакивает к офицеру и, путаясь в словах, бормочет:

— Я, ваше благородие... Я только что подошел... Потом сумление меня охватило... Слышу, что книга не того...

— Подожди ты со своим «не того»! — резко обрывает его офицер и, взяв книгу от Брагина, начинает ее рассматривать.

Все, ожидая трагической развязки, стоят молча и уныло, поглядывая с глубоким волнением то на офицера, то на машинного квартирмейстера. Чувствуется лишь одно — что над головою их товарища нависла гроза, тяжкая и неумолимая, но никто и не подозревает, что книга эта удостоена рекомендации со стороны властей для народных библиотек. Это сборник миссионерских статей, разбирающих учение Л. Толстого по поводу его отлучения от православной церкви. В нем наряду с критическими статьями чуть ли не целиком помещены некоторые из запрещенных произведений этого писателя. Брагин, воспользовавшись этим, читал исключительно лишь Л. Толстого, пропуская измышления его противников.

В камере напряженная тишина. Только слышно, как за окнами экипажа, проливаясь дождем, злобствует осенняя тьма.

Офицер, возвращая книгу Брагину, снисходительно наставляет:

— Читай, читай! Это хорошее дело...

— Рад стараться, ваше бродье!

Офицер, обращаясь ко всей команде, добавляет:

— А вы, олухи, должны слушать его со вниманием, так как книга эта очень добрая и поучительная! Слышите?

— Так точно, ваше бродье! — слабо и сбивчиво отвечает несколько голосов.

— Ну, что ты хотел сказать? — спрашивает офицер, повернувшись к фельдфебелю.

Кривая Рожа, выпрямившись и нагло заглядывая в глаза своего начальника, четко рапортует:

— Да я им, ваше благородие, все тут разъяснил... Такую, мол, книгу непременно надо читать. Очень разумительно все в ней сказано, а от этого большая польза бывает, и на сердце хорошо действует. Я говорю: умри, но лучше этой книги не достать.

— Дальше? — спрашивает офицер.

— А команда со мной не согласна и шумит, как обалделая.

Офицер, не сказав больше ни слова, повертывается и скрывается за дверью.

Матросы, недоумевая, стоят с разинутыми ртами.

— Безбожники! Сборище нечестивых! Святую церковь забыли! — громко выкрикивает Кривая Рожа, пустив в ход весь свой запас скверных слов, и торопливо убегает к себе в канцелярию, готовый от конфуза провалиться сквозь землю.



## СУДЬБА

Давно это было, еще в детские годы...

Помню — тихий летний вечер. Мы с матерью вдвоем, с сумками за плечами, только что покинув монастырь, куда ходили молиться богу, возвращаемся в свое село. Дорога, извиваясь, идет красивым бором. Стройные сосны, подняв в безоблачную высь зеленые кроны, кадят солнцу пряным ароматом смолы. Золотой дождь лучей, пробиваясь сквозь вершины леса, падает на серебристую скатерть мха, расписывая по ней узоры, запутанные, как сама жизнь. Кругом разлит зеленоватый свет. Под ногами хрустят засохшие иглы хвои.

Жарко.

Мать в сереньком ситцевом платье, в белом платке с голубыми крапинками, в истоптанных башмаках идет плавной походкой. Лицо ее, когда-то красивое, покрыто мелкою сетью морщин, тонкие губы строго сжаты, и только голубые глаза мерцают, излучая неземную радость. Она довольна тем, что я наконец согласился пойти в монахи.

— Хорошая жизнь будет у тебя, сынок,— ласково го-

ворит мать, дотронувшись до моего плеча.— Ты только представь себе... Белая чистая келейка. На стенах иконы. Лампадка горит. Один. Никакого соблазна, никакого греха. Только с господом богом будешь общаться.

Когда-то отец, будучи солдатом, обманом умчал ее из одного губернского польского города и поселился с ней в убогом селе, затерявшемся среди лесных трущоб. И хотя она, выходя за него замуж, приняла православие, но до сих пор у нас в доме вместе с православными иконами стоят на божнице и католические, пользуясь в семье одинаковым почетом. Тоска по родному краю, непосильная работа, насмешки соседей, как над иностранкой, говорящей с польским акцентом, бестолковая и непривычно грязная жизнь крестьян — все это действовало на нее удручающе, преждевременно состарив ее, часто вызывая слезы о загубленной молодости. Вот почему она смотрела на землю как на юдоль скорби и взоры свои, все мысли своей мечтательной души обратила к религии, с особенной любовью посещая монастыри и воспитывая меня в таком же духе.

— А главное — не будешь ты видеть земных грехов,— продолжает мать сладко-певучим голосом.— В монастыре людская злоба не отравит твоего сердца. Тихо и скромно, стезею праведной, пройдешь ты путь земной перед светлыми очами всевышнего с радостью неизреченной. Обрадуется и бог, как увидит, что твоя душа чиста, как свежий снег,— ни одного пятнышка порока...

Тихая речь матери ласкает слух, баюкает, настраивает на молитвенный лад. Я уношусь мыслями в монастырь, в прекрасную обитель, расположенную в высоком бору, в углу двух больших сливающихся рек. В этот раз я особенно был поражен величием храмов, блеском золоченых иконостасов, пышным нарядом архиерея, а больше всего торжественностью хорового пения, словно на крыльях, уносившего мою молодую душу в светлое небо. В голове все еще звучит голос одного монаха, широкоплечего и волосатого, похожего на льва. Когда он поет, широко разинув рот и выворачивая белки глаз, то его могучая октава, перекатываясь низким гулом, заполняет весь храм, потрясая до основания.

Я обращаюсь к матери:

— Знаешь, мама, что я тебе скажу?

— Что, милый? — спрашивает мать, поправляя на голове платок.



— Когда я вырасту в монастыре, у меня будет такой же голос, как у того здорового монаха.

— Это у какого же?

— Что похож на льва. С бородавкой около носа...

— Вот глупый! Да разве можно так говорить? Лев — зверь, а монах — святой отец...

— Только я должен жрать побольше — щей, каши и рыбы, чтобы стать силачом. Потом простужусь или водку буду пить, чтобы голос хорошенько ревел. Так я еще сильнее его, этого монаха, запою. Правда, а?

Мать недовольно замахала руками.

— Ах, греховодник ты этакий! Поститься надо...

Не слушая ее, я останавливаюсь, топорщусь и, стараясь во всем подражать монаху с октавой, пою хриплым голосом «На реках вавилонских».

— Похоже, а?

— Очень похоже, сынок,— улыбаясь, ласково говорит мать и целует меня в щеку.— Идем...

Дорога, свернув в сторону, приближается к высокому берегу. Под крутым обрывом его, пламенея отражением солнца, тихо катит свои воды широкая река. Противоположный берег совсем отлогий, с золотистыми отмелями. Вдоль него, перемежаясь кустарником и небольшими озерами, тянутся широкой полосой заливные луга. Здесь к крепкому запаху смолы примешивается аромат цветов и самой реки. В монастыре, призывая к вечерне, ударили в колокол. Перекрестившись, я оглядываюсь назад — над вершинами леса, на фоне темно-зеленой хвои и голубого небосклона, ярко выделяются купола храмов, сияя золотистыми крестами. По всей окрестности, колыхаясь волнами, разливается торжественный гул меди, и мне кажется, что кругом все ожило, задрожало от избытка счастья, запело в тон колокола — и тихая река, и зеленые луга, и дремучий бор, и прозрачный воздух. Музыкой наполняется моя душа, словно осененная свыше, готовая к каким угодно подвигам. Я смотрю под обрыв, на зеркальную гладь, и в воображении моем почему-то рисуется, что жизнь монаха похожа на эту сверкающую реку: тихо и безмятежно струятся ее прозрачные воды среди живописных берегов, под стрекотание реющих ласточек, под звонкие трели жаворонков, все вперед, в неведомые края, туда, где небо упирается в землю. Там, должно быть, и есть врата в чертоги рая...

— Недурно,— говорю я вслух.
— Что? — спрашивает мать.
— Быть монахом.
— Еще бы...
Звонят во все колокола, веселым эхом отвечает им бор, повторяя все перезвоны.
Лицо матери озарено улыбкой.
Впереди нас, в стороне от дороги, на краю берега, опираясь на локоть и поглядывая в синюю даль, лежит человек лет двадцати шести, в одежде такой странной формы, какой я еще не видел ни разу.
— Это кто? — спрашиваю я шепотом у матери.
— Матрос... Это из тех, что на кораблях плавают...
Грезы, навеянные колокольным звоном, сразу исчезли, осыпались с моей души, словно красивые цветы от сильного порыва ветра.
Когда мы с ним поравнялись, он поднялся и, окинув нас взглядом, бойко бросил:
— Здорово, божьи люди!
Мы кланяемся ему в ответ.
— Куда держите путь? — спрашивает матрос, присоединяясь к нам.
Мать что-то объясняет ему, а я смотрю на него и не могу скрыть своего удивления. Черные брюки навыпуск, синяя фланелевая рубаха с широким воротом, обнажающим часть груди и всю шею, хорошо подходят к его стройной фигуре. Фуражка с белыми кантами, без козырька, сдвинута набекрень, отчего лицо его, покрасневшее от жары, кажется очень отважным. Еще больше приводит меня в изумление золотая надпись на атласной ленте, охватывающей фуражку и спускающейся, как две косы, до середины спины. Я несколько раз прочитываю на ней два таинственных слова: «Победитель бурь».
— Вот хочу сынка пристроить в монастырь,— сообщает ему мать.— Через месяц обещали принять.
— Это что же — божьей дудкой хочешь заделаться, а? — близко заглянув мне в лицо, смеется матрос, обнажая белые, как сахар, зубы. От него пахнет водкой.
— Вовсе не божьей дудкой, а монахом,— отвечаю я, немного обиженный такой насмешкой.
— Ты сначала поживи на свете да погреши, а потом уж в монастырь пойдешь. Иначе скучно будет: о чем будешь просить бога?



Мать бросает на матроса недовольный взгляд, но меня интересует другое — надпись на фуражке.
— Это, браток, название корабля, на котором я плавал.
— Ты... плавал? По реке?
— Нет, по морям...
— Взаправдашним морям?
— Ну, ясное дело.
— Вот это занятно! — восклицаю я, повторяя любимую фразу отца.
Матрос, покручивая белокурые усы, рассказывает матери, что он ходил к тестю, в другое село, где малость выпил и закусил яичницей. Теперь он возвращается домой и ему очень весело.
— А бог любит радость: он сам очень веселый старик. Вот почему он и создал поющих птиц, разные цветы. А постные или кислые морды, будь то у черта или у монаха, ему должны претить. Об этом я точно знаю, уж поверьте мне, мадам...
Он говорит шумливо, словно перед глухими, широко размахивая руками и разражаясь тем непосредственным смехом, в котором чувствуется избыток силы.
Взволнованный, обуреваемый жаждой знания, я пристаю к нему с расспросами.
— Море! — громко восклицает он, поглядывая на меня зоркими серыми глазами.— Это, брат, раздолье! Эх! И куда ни поверни корабль, везде тебе дорога. Гуляй, душа! Любуйся красотами мира! А какой только твари в нем нет! Часто даже не поймешь — не то это рыба, не то зверь какой. И всяких нарядов, всяких образцов. Глядишь — плывет что-то круглое, сияет, как радуга. А вытащишь из воды — кусок студня. Оказывается, тоже живое существо. Да ты, малец, хоть бы одним глазом взглянул на море, так и то ахнул бы от удивления...
Дальше он рассказывает мне о кораблях, как они устроены и как управляют ими.
— А в заморских странах бывают наши корабли? — спрашиваю я, не сводя с матроса глаз.
— Заходим. Я несколько раз бывал за границей.
— А там не режут русских?
— Вот те на! За что же резать? За границей такие же люди живут, как и мы... А то есть дикари. Ходят, в чем мать родила. Есть из них черные, как вороново крыло. Прямо чудно смотреть.

Заморские страны у меня связаны с красивыми сказками, какие я слышал от матери... Там, в других государствах, все необычно, все не так, как в нашем селе. Это подтверждает и матрос, говоря, что там растут какие-то пальмы, орехи величиною с детскую голову, цветы в аршин шириною, фрукты сладкие как мед, а солнце светит в самую макушку и лучом может убить человека, как молнией.

Нам иногда встречаются люди, и, как мне кажется, все они с восхищением смотрят на матроса, любуясь его удивительным нарядом.

— Ты спрашиваешь, видны ли в море берега? — продолжает матрос, довольный моим напряженным вниманием к его рассказам.— Ни черта, брат, не увидишь, хоть залезь на самую высокую мачту. Иногда плывешь неделю, вторую, а кругом все вода и вода...

Глядя на реку, посеребренную косыми лучами вечернего солнца, я стараюсь представить величину моря, но мне все время мешает противоположный берег. Я вижу песчаные отмели, сочно зеленеющие луга, в дальше — равнину поля, обширную, похожую на степь, с затерявшимися в ней деревнями и селами.

— Как же это так — берегов не видно?

Матрос улыбается.

— Посмотри на небо. Где берега в нем? Так и в море. И такое же оно глубокое. Ну, как, браток, просторно, а?

Я иду, запрокинув голову, обводя глазами бездонную синь неба, откуда весело льются песни жаворонков, и вижу парящего коршуна. Вот так, думается мне, и должен плыть корабль «Победитель бурь». Хорошо! Чудесно, как в сказке!

Матрос не может молчать. Пока я занят своими мыслями, он уже рассказывает матери, как учился живописи у одного иконописца.

— Большой пьяница был он и похабник первой руки — мастер-то мой. Однажды передал мне заказ — нарисовать «божью матерь», а сам в кабак залился. Нарисовал я икону, как умел, жду хозяина. Возвращается он на второй день. Стал перед святыней, подперши руки в бока, качается. «Это, говорит, что у тебя вышло? Разве это божья матерь? Это, это...» И давай крыть с верхнего мостика и меня и мое, так сказать, искусство. А в заключение добавляет: «Приделай бороду — за Николая-чудотворца сойдет». Ослушаться нельзя было — сердился и дрался. Вот они как пишутся, иконы-то наши...



Матрос хочет еще приводить примеры, но мать сердится, умоляя:

— Не надо про это... Лучше про море расскажите.

Он охотно соглашается и говорит мне о буре, понизив голос и делая страшные глаза.

— Беда, что тогда происходит... Недавно, в последнее мое плаванье, нам пришлось испытать это в Атлантическом океане. Как-то сразу наползли тучи, залохматились. Все небо почернело, точно бог целую реку чернил разлил. Налетел ураган, прошелся раз-другой и, точно пьяный бродяга, давай шуметь и рвать все на свете. Океан сначала только хмурился да кривлялся, а потом вздулся и зарычал на все лады. Ух, мать честная! Но недаром наш корабль носит название «Победитель бурь». Нипочем ему ураганы. Накатит на него водяной вал, накроет всю верхнюю палубу, а он только встряхивается и прет себе дальше, как разъяренный бык. Ну и командир у нас, я тебе доложу, полное соответствие имеет кораблю. Одна рожа чего стоит — прямо вывеска для кабака. Оплывшая, вся красная, усы до ушей, глазищи по ложке, забулдыга форменный и уж сердцем очень лютый. Однажды, пьяный, увидел в море акулу и с одним кинжалом бросился на нее. И что же ты думаешь? Зарезал ее, окаянную, в один миг зарезал!.. Так вот, в бурю-то эту самую налопался он рому и стоит себе на мостике, клыки оскаливши. Тут небо смешалось с океаном, весь мир ходуном ходит и, кажется, вот-вот ухнет куда-то, а он одно только твердит: «Люблю послушать музыку ада...» И хохочет, как водяной леший...

— Господи, ужасы-то какие! — вздохнув, говорит мать.

— Ничего ужасного тут нет,— отвечает ей матрос.— С первого разу немножко поджилки трясутся, а потом привыкаешь ко всему.

Мы выходим в поле. Дорога, немного отойдя от реки, серой лентой вьется среди молодой ржи, кое-где обрызганной синими васильками. С цветущих колосьев веет запахом желтой пыли.

Матрос объясняет мне дальше о морской службе, увлекаясь сам, увлекая и меня. И по мере того, как я слушаю его, все яркие впечатления, воспринятые в мона-

стыре, бледнеют и вянут, теряя красоту свою. Я захвачен, упоен рассказами моряка, передо мною развертывается картина новой жизни, полной интересных приключений. Будущее уже рисуется не в белых стенах святой обители, а на корабле, на «Победителе бурь», плавающем в неведомых морях, по безбрежному простору, залитому горячим солнцем, или в схватках с ураганами, под тяжелыми грозовыми тучами, среди бурлящих волн.

— Ну, больше мне с вами не по пути,— заявляет вдруг матрос, остановившись перед двумя расходящимися дорогами.— Так что бывайте здоровеньки.

— До свиданья,— в один голос отвечаем мы.

— А вы, мадам, не больно сердитесь на меня, что я там, может, что-нибудь лишнее сказал,— прощаясь, обращается он к матери с веселой улыбкой.— Люблю пошутить. Это от бога у меня, а он сам большой шутник. Скажем примерно, вместе с красивыми тварями в море живет спрут, иначе восьминог. Черт знает какое безобразие! Разве это не шутка? Или, скажем еще, у моего кума Федота корова отелила телка с двумя головами — так это как нужно понимать? А потом, мадам, я и сам к духовному званию некоторое касательство имею...

— Неужели? — обрадовавшись, воскликнула мать.

— Ну, а как же? Во-первых, я учился грамоте у дьячка, а во-вторых, мой родной дедушка только тем и занимался, что церкви обкрадывал...

— Ай-ай, какой вы насмешник! — говорит мать, укоризненно качая головой.

Матрос, повернувшись ко мне, жмет мне руку, щуря веселые глаза.

— Эх, молодец, из тебя, я вижу, хороший бы моряк вышел...

От такой похвалы приятно замирает сердце.

Матрос уходит. Некоторое время я смотрю ему вслед, крайне сожалея, что не пришлось поговорить с ним больше. Он везде бывал и все знает. Над колосьями ржи, в прощальных лучах заката, уплывая, раскачивается его крепкая, широкоплечая фигура. В своем морском наряде он мне кажется необыкновенно ловким, сказочно-красивым, совсем не похожим на тех людей, с какими я встречаюсь в своем селе, словно он явился к нам с другой земли.

Догорает день. Река, откуда веет приятной прохладой, накалена закатом докрасна. Где-то, перекликаясь, бьют два перепела...

Взбудораженным мозгом, пьяными мыслями думаю я о море. И вдруг спохватился...

— Ты, мама, подожди здесь, а я догоню матроса. Забыл спросить еще про одну вещь...

— Куда ты, непутевый? — донесся мне вслед недовольный голос матери, когда я бросился прямо по ржи в погоню за матросом.

— Дядя матрос! Подожди-и...

Но матрос, находясь от меня за полверсты, не слышит и все уходит, быстро шагая и раскачиваясь с боку на бок.

— Ты что, молодец? — останавливается он, когда я, обливаясь потом и задыхаясь, подбежал к нему ближе.

— Океан... Все вода и вода... Берегов не видно... Дорог тоже нет... Как же можно не заплутаться?..

Матрос расхохотался.

— Ах ты, ерш этакий! Ишь, что его занимает! Ну, ладно, расскажу тебе.

Нарисовав на дорожной пыли круг, разбив его черточками на части, он долго объясняет об устройстве компаса.

— Это, малец, главный прибор на корабле. Без него судно, что человек без глаз.

Мать, стоя на одном месте, отчаянно машет мне рукой.

— Ну, спасибо, брат. Я в матросы пойду, а монахом не буду...

— Хорошее дело. В монастыре только плесенью обрастешь, а ничего путного не увидишь. А молиться, если хошь, везде можно. Сказано в писании: «Небо есть престол мой, а земля — подножие ног моих...»

Мне очень понравилось, что он простился со мною, как с равным.

Я возвращаюсь к матери, обогащенный мыслями и чувством. Она ругает меня, а я, став в гордую позу, решительно заявляю:

— Сердись или не сердись на меня — все равно, а только в монастырь я не пойду, потому что не желаю плесенью обрастать...

— Господи, какие он слова говорит! Куда же ты пойдешь?

— В матросы.

Мать бледнеет.

— Да ты с ума сошел! Это чтобы в море утонуть, да?

— Нисколько. Я вернусь таким же молодцом, как этот матрос. И гостинцев привезу заграничных, самых лучших...

На глаза у матери навертываются слезы. Хватаясь за голову, она бранит матроса:

— Что он, супостат, сделал с моим мальчиком... Совратил с истинного пути...

Мы продолжаем свой путь, нежно окутанные рыжим сумраком вечера. Впереди смутно мерещится село с белой церковью, но мы в нем не остановимся, а будем идти так до утра, пользуясь ночной прохладой. Воздух становится влажным, дышать легко. Пахнет дорожной пылью и полевыми травами. По тускнеющей реке, крутым поворотом отступающей от нас в сторону, плывет длинная вереница плотов, бросая вокруг отблеск пылающего костра; оттуда доносится какая-то песня, полная удали и широкого, как эти поля, размаха. С лугов, как бестелесные видения, поднимаются клубы молочного тумана.

Я смотрю на мать, сокрушенную и печальную. Причитая, она жалуется на свою судьбу, на горькую долю и на то, что я не оправдал ее надежд. Я чувствую слезы ее тоскующего сердца. Но что мне делать? «Победитель бурь», этот таинственный и чудесный корабль, плавающий где-то в далеких водах, не выходит у меня из головы. Матрос зажег в моей голове новые звезды, раздвинув передо мною мир, открыв широкие возможности. Я уже не закисну в темной и придавленной, как чугунной плитой, жизни своего села. Нет! Мое будущее — там, где-то очень далеко, на синих морях, на беспредельных океанах, куда, как на орлиных крыльях, уносит меня юная фантазия.



## «КОММУНИСТ» В ПОХОДЕ

Бывший «Михаил Лунд», а ныне «Коммунист», принадлежащий Государственному балтийскому пароходству, целую неделю гостил у себя на родине — в Сундерландском порту, где тридцать два года тому назад появился на свет. Целую неделю развевался на нем красный флаг, дразня англичан. Наконец все было готово: трюмы до отказа наполнены углем, вновь приобретенный якорь поднят на место, пары разведены, все формальности с берегом окончены. Можно трогаться в путь. Нам предстоит пересечь два моря — Северное и Балтийское, чтобы доставить груз в Ригу.

Утром четырнадцатого ноября английские буксиры вытянули наш пароход на морской простор. А когда отдали концы, на мостике звякнул машинный телеграф, передвинув стрелку на средний ход. Корабль загудел, посылая прощальный привет крутым берегам Шотландии. А потом, взяв курс на зюйд-ост 62° минус 17° на общую поправку, устремился вперед полным ходом. Ветер был довольно свежий, но он дул в корму, увеличивая только скорость судна.

У камбуза смеялись матросы:

— С попутным ветром враз доберемся до Кильского канала.

— Через двое суток будем пробовать немецкое пиво.

На это кок, немец, всегда хмурый и такой серьезный, точно занятый изобретением вечного двигателя, отрицательно покачал головой.

— Нельзя так гадать.

— А что?

— Мы в Северном море. А оно может надуть, как шулер. Знаю я...

Кок замолчал, мешая суп в большой кастрюле.

Боцман, громаднейшие сапоги которого казались тяжелее самого хозяина, ходил вместе с другими матросами по верхней палубе, заканчивая найтовку предметов. Плотник, широкоплечий, с жесткими усами, опуская в водомерные трубки фут-шток, измерял в льялах воду. Покончив с этим, он поднялся на мостик и доложил вахтенному штурману:

— В трюмах воды — от пяти до семи дюймов.

— Хорошо.

Серые облака заволакивали синь. Катились волны, подталкивая корму. «Коммунист», покачиваясь на киль, шел ровным ходом.

На корме крутился лаг, жадно отмеряя мили пройденного расстояния.

На второй день с утра ветер стал затихать. Прояснилось небо. По-осеннему холодно светило солнце.

Матросы, свободные от вахты, ютились на машинном кожухе, около дымовой трубы, где было тепло. Я уже не раз слушал здесь их разговоры. Вспоминали о недавнем прошлом, когда вихри революции перебрасывали людей с одного фронта на другой,— от Балтики к берегам Белого моря, из холодных равнин Сибири на могучие хребты знойного Кавказа.

— Да, горячее время было,— заключил один.

— Думали, что никогда и конца не будет.

И сейчас же заговорили о другом.

— Эх, что-то наши жены теперь поделывают в Питере...— вздохнул пожилой матрос.

Молодой кочегар, игрок на мандолине, тряхнув кудрявой головой, весело засмеялся.

— Вот у меня хорошо: нет ни жены, ни постоянной зазнобы. Я люблю, пока лишь на якоре стою.

Боцман о своем мечтал. Он доволен был тем, что пароход шел в Ригу. Там живет его родная мать, с которой он не виделся четырнадцать лет.

— Неужели за это время ни разу дома не побывал? — осведомился я.

— Нет.

— Почему?

— Да все плавал. Я с малых лет по морям скитаюсь.

На мостике попеременно прохаживались штурманы, довольные хорошей погодой. Иногда слышался оттуда свисток и голос:

— Вахтенный!

— Есть!

— Как на лаге?

Матрос бежал к корме, заглядывал на циферблат лага и возвращался на мостик с докладом.

— Восемьдесят две с половиной.

Штурман открывал вахтенный журнал и записывал.

После обеда погода начала быстро портиться. Ветер свежел. Завыли вентиляторы, послышался свист в такелаже. Из-за горизонта без конца выплывали облака и, заволакивая небо, неслись быстро и низко. Старые моряки строго посматривали вокруг.

— Кажется, трепанет нас...



Другие утешали:

— Ничего. Не то видали. Выдержим...

А к вечеру, постепенно нарастая, разразилась буря. Надвигалась ночь, бесконечно-долгая, угрюмо-холодная. Северное море, озлобляясь, стало сурово-мрачным. Пароход наш начал кланяться носом, точно прося у стихии пощады для своей старости. Но отовсюду веяло жестокой неумолимостью. Вздыбились воды и, взбивая пену, заклокотали. Седоволосые волны полезли на палубу, ощупывая и дергая каждую часть корабля, точно испытывая, основательно ли все укреплено.

Я взошел на мостик. Капитана не было здесь: он заболел и находился у себя в каюте. Кораблем управляли штурманы. Я обратился к ним с вопросом:

— Ну, как дела?

— Как видите, дела корявые.

В их отрывистых приказаниях матросам чувствовалось, что предстоит пережить нечто серьезное. Барометр падал. Буря усиливалась. Напрягая зрение, я впивался в разноголосо шумевшую тьму.

Вздымались волны, пенились, но казалось, что чьи-то незримые руки, потрясая, размахивали белыми полотнищами. Весь простор, густо залитый мраком ночи, находился в бешеном движении. Все вокруг, порываясь куда-то, неслось с яростным гулом, мчалось с дикими песнями. Вырастали водяные бугры и тяжестью обрушивались на судно.

Первый штурман, рослый и дюжий человек, заявил:

— Мы попали в крыло циклона. Это определенно.

Второй, темноволосый украинец, всегда выдержанный, ничего против этого не возразил, добавив только:

— Нам осталось до Кильского канала всего сто с небольшим миль.

Предстояла задача — как выбраться из циклона, а еще важнее, как избежать грозного центра: там удушливая тишина в воздухе, и буря смотрит синим глазом неба, но там, выворачиваясь из бездны, так пляшут волны, что способны разломать любой корабль.

— Нужно бы выйти из Зундерланда на один день раньше,— заметил второй штурман.

— Да, мы могли бы проскочить через Северное море без приключений,— подтвердил первый штурман.

Оба замолчали в напряженных думах.

Началась безумная атака. Волны, обнаглев, с яростью лезли на судно, достигая мостика, проникая в жилые помещения. По верхней палубе уже трудно было пройти. Ломались некоторые части корабля. Водою сорвало железную вьюшку со стальным тросом, похожую на громаднейшую катушку ниток. Она ерзала и каталась по палубе, билась о фальшборт. Парадный трап переломился пополам.

В рубку пришел больной капитан, взглянул на карту Северного моря и молча лег на диван.

Чтобы не попасть в сторону низкого давления, решили изменить курс. Раздалась команда:

— Зюйд-вест тридцать пять!

— Есть! Зюйд-вест тридцать пять! — ответил рулевой у штурвала.

«Коммунист», медленно повернувшись, ринулся против ветра и буйствующих волн. Казалось, что он и сам пришел в ярость и, раздраженный врагом, врезался в гору кипящей воды. Это был маневр, вызванный отчаянием.

Нужно было определить свое местонахождение. Определиться можно было только по глубине моря, ибо не открывалось ни одного маяка. Кругом свирепствовал лишь воющий мрак. С мостика распорядились:

— Приготовить лот Томсона!

Но волны были неистощимы в своих каверзах — механический лот остался за бортом навсегда.

Боцман, скупой на слова, крепко сплюнул на это и полез на мостик, сопровождаемый кучкою матросов.

Споря с ветром, вырывавшим у меня дверь, я втолкнулся в рубку. В этот момент «Коммунист» с размаху повалился на левый борт. Меня точно швырнул кто — я полетел к противоположной стенке, больно ударившись о койку. Здесь было светло. Старший штурман держался за край стола, курил трубку и хмуро смотрел на разложенную карту моря. На мой вопросительный взгляд он заметил:

— Скверное положение, черт возьми. Надо придумать что-нибудь, чтобы обмануть бурю. Определенно.

— Как?

Он не успел мне ответить. В открывшуюся дверь ворвался тревожный голос темноволосого украинца:

— Шлюпка номер третий гибнет!

Старший штурман распорядился:



— Вызвать наверх всех матросов!

И сам выскочил из рубки.

Одна половина спасательной шлюпки сорвалась с блоков и билась о надстройку. Люди набрасывали на нее концы, стараясь поставить ее на место и закрепить. Работали в темноте, цепляясь за что только возможно, обливаемые с ног до головы холодной водой. С невероятным трудом удалось достичь цели. Матросы, успокоившись, ушли защищать другие части судна. А тем временем на ростры вкатилась тысячепудовая волна, рванулась со страшной силой, и шлюпка с грохотом полетела за борт.

Штурманы нетерпеливо взглядывали на барометр. Стрелка, продолжая падать, показывала на циферблате грозную цифру — 756 миллиметров.

На мостик поступило сообщение:

— Лаг оборвался.

Немного спустя узнали о новой беде:

— В фор-пике и матросском кубрике появилась вода.

Последнее известие внесло тревогу. Каждый из моряков хорошо знал, что фор-пик, расположенный в самом носу, представляет собою довольно большое помещение. Но этого мало. Это помещение, где хранятся запасные брезенты, тросы, концы снастей и другие необходимые для судна вещи, начинается от киля и посредством люка соединяется с коридором матросского кубрика. А это значительно ухудшало положение, увеличивая объем для воды.

Штурманы наскоро переговаривались:

— Я давно замечаю дифферент на нос.

— Да, судно больше стало зарываться в море.

Предательство воды, проникавшей в фор-пик и матросский кубрик, можно было устранить только ручным насосом.

— Не поставить ли брандспойт?

— Это немыслимо: волною смоет всех людей.

— Больше ничего нельзя придумать.

Штурманы нахмурили брови.

А память жестоко хранила трагедию, что недавно разыгралась здесь, на этих зыбучих водах. Всего лишь два месяца прошло с тех пор. Так же вот налетел циклон, так же, запенившись, поднялись могучие волны. А когда все стихло, в Лондоне, в большом гранитном здании, Ллойд вычеркнул из мирового списка шесть ко-

раблей: вместе с людьми они провалились в ненасытное брюхо Северного моря.

У штурвала, в темноте, стоял рослый матрос. Компас, покрытый колпаком с вырезом, освещался маленькой лампой. Рулевой упорно смотрел на картушку, стараясь держать корабль на заданном курсе. Вдруг услышали его тревожный голос:

— Руль заело!

И еще раз повторил то же самое, но уже громче. На мгновение это известие ошарашило всех. Тут же все убедились, что руль действительно перестал работать, оставаясь положенным «право на борт». «Коммунист», содрогаясь от толчков, начал кружиться на одном месте, словно оглушенный ударами стихии. Застопорили машину. Размах качки увеличился, доходя до сорока пяти градусов. Корабль как бы попал в плен, находился во власти разъяренного моря. Но каждая потерянная минута грозила нам гибелью. Поэтому старший штурман, не переставая, отдавал распоряжения:

— Вызвать механика в рулевую машину!

Потом повернулся к другому матросу:

— Товарищ, осмотрите штуртрос!

Впереди нас, приближаясь, моталось какое-то судно. Нужно было с ним разойтись.

Вызвали телеграфиста.

— Сообщите по радио, что мы не можем управляться.

На это телеграфист, немного медлительный и всегда, при всяких обстоятельствах, сохраняющий полное спокойствие, четко ответил:

— Антенна порвана. Генератор залит водою. Аппарат не действует.

Принесли красный фонарь. Матрос с трудом зажег его и тут же, не успев выйти из рулевой рубки, полетел кувырком. Послышался звон разбитого стекла.

Рулевая машина находилась под мостиком, в особой рубке. Там уже работали все три механика и четвертый — машинист, считавшийся лучшим слесарем. У них не было огня. Освещались лишь ручными электрическими фонариками. В отверстия, где проходит штуртрос, и в иллюминаторы проникала вода, поднимаясь временами выше колен. Судно дергалось, металось, падало с борта на борт. Нужны были изумительная ловкость и напряженность воли, чтобы разбирать машину при таких условиях. Но стучала кувалда, и каждый ее удар дрожью отзывался в сердце — обнадеживал.

А пока что «Коммунист» находился в параличе. Штурманы напрягали мозг, придумывая, как спасти судно. Хотели перейти на ручной руль, что находится на корме. Но как это выполнить, когда море набрасывает на палубу сразу по нескольку сот тонн воды? А нас несло, несло неизвестно куда. Решили прибегнуть к последнему средству — это отдать якорь. Но и эта задача была не из легких. И не было веры в то, что он может удержать нас против такого напора со стороны ветра и зыбей. Долго искали ручной лот, не сразу измерили глубину. А тем временем «Коммунист» начал давать тревожные гудки. Был мрак, перекатываемый вспышками зарниц, свистали незримые крылья ветра, рокотало море, а в эту адскую симфонию, захлебываясь и хрипя, врывался предсмертный рев погибающего судна.

Зажгли ракету. С треском взорвалась она, ослепив людей.

Но кто мог помочь нам в такое время, когда бездны моря опрокидывались вверх торманом?

Стучала кувалда — механики работали, вызывая к жизни полумертвое судно.

Сколько времени мы находились под страхом немедленной катастрофы?

Наконец из рулевой рубки горланисто крикнули:

— Руль действует!

Опять заработали стальные мускулы машины, опять «Коммунист» лег на свой курс, продолжая продвигаться к желанному берегу.

В первый момент обрадовались все, но скоро поняли, что мы получили только отсрочку. Свирепый натиск волн не прекращался, подвергая судно разрушению. У фок-мачты сорвался с найтовов заводной якорь. Передвигаясь, он, как изменник, помогал буре разбивать судно. С грохотом катался железный горн. На палубе постоянно раздавался треск и что-то бухало — казалось, что кто-то бесконечно злобный, ломая, разворачивал корабль железными брусьями.

Прошла кошмарная ночь. Наступил мутный рассвет. Мало отрады принес нам день. Погода не улучшалась.

Во всех жилых помещениях, как и в кают-компании, мрачно плескалась вода. Единственное место, где могли приютиться люди,— это машинное отделение. Здесь с левого борта, на высоте цилиндров, расположена небольшая кладовка, где хранятся разные инструменты и запасные части машин. Теперь она превратилась в убежище моряков. В это грязное помещение лезли все — рулевые, машинисты, механики, кочегары, штурманы. Было тесно. Люди сидели и валялись в разных позах, переплетаясь телами, освещенные тусклым огнем керосинки. Некоторые, изнуренные непосильной работой, быстро засыпали, но их тут же будили, вызывая на какое-нибудь новое дело.

— Ну, как там, наверху? — каждый раз обращались к вновь пришедшему с палубы матросу, стучавшему зубами от холода.

— Поддает, окаянная! — сообщал тот.

— Значит, не улучшается погода?

— Еще хуже стала. Ну и буря! Прямо землю роет.

Старший механик, пожилой и полный человек, пояснил:

— Да, за тридцать лет моего плавания я уже не раз попадаю в такую переделку.

Из угла слышался знакомый голос.

— В Японском море нас однажды тайфун захватил. Здорово потрепало. У нас пассажиры были. Один из них вышел из каюты и хотел на мостик пробраться. А в это время на палубу полезла волна. Ему бы бежать надо или ухватиться за что-нибудь. Так нет же! Остановился он и уши развесил, как тот лев, на котором Христос в Иерусалим въезжал...

— Ну и что же? — кто-то нетерпеливо спросил.

— Волна слизнула его, как бык муху.

— Не спасли?

— Попробуй спасти в такую бурю.

Замолкли, прислушиваясь к тяжелым ударам моря. Судно, поднимаясь, быстро потом проваливалось и кренилось с такой стремительностью, точно намеревалось опрокинуться вверх килем. Люди, сдвинутые с места, валились друг на друга. Захватывало дух, наливались тоскою глаза. Краснощекий эстонец, никогда не унывавший раньше, заговорил на этот раз с грустью:

— Эх, родная мать! Ничего она не знает, где буря сына ее качает...



Старший машинист, организатор коллектива, подбадривал:

— Ничего, товарищи, это ерунда. Наш «Коммунист» выдержит.

— У нашего корпус...— подхватил другой и сразу оборвал, трагически расширив глаза.

Сверху через световые люки в машинное отделение вкатывалась волна, с шумом обрушиваясь вниз. Вода, попав на горячие цилиндры, шипела и превращалась в облако пара. Мы вытягивали шеи в сторону открытых дверей, настораживаясь, ожидая худшего момента. По-прежнему, часто вздыхая, работала машина. На время это успокаивало нас.

Кто-то в полутьме роптал:

— На берегу, когда выпьем, нас все осуждают... А никто не знает, что достается нам в море...

Динамо-машина, обливаемая водою, вышла из строя. Судно осталось без электрического освещения. Специальные морские лампы нельзя было зажечь: от брызг лопались стекла. Горели одни лишь коптилки. В машинном отделении вся работа происходила в полумраке.

Машинист, рискуя сорваться, лазил по решеткам с ловкостью акробата, ощупывал машину, не нагреваются ли движущиеся части, и густо смазывал их маслом. А в это время механик стоял на нижней площадке и зорко следил глазами и слухом за работой девятисот лошадиных сил, заключенных в железо и сталь. Левой рукой он держался за поручни, чтобы не свалиться при размахе судна, а правой — за ручку штурмового регулятора. Волнами подбрасывалась вверх корма; винт, оголившись, крутился в воздухе. Машина готова была сделать перебой, увеличить число оборотов с восьмидесяти до трехсот раз в минуту. Но привычная рука специалиста чувствовала приближение этого момента — штормовой регулятор быстро передвигался вверх, уменьшая силу пара.

Через световые люки продолжали вкатываться волны. Люди, попадая под тяжесть холодной массы, съеживались, втягивали в плечи головы. Вся машина побелела от осевшей соли. Под настилкой, переливаясь, угрожающе рычала вода. Механик командовал:

— Пустить помпу!

В то же время нужно было следить за льялами. Машинист докладывал:

— Опять наполняются водою.

— Начинайте выкачивать!

Часто помпы, засорившись в трюмных приемных клапанах, работали вхолостую. Чтобы привести их в порядок, на подмогу к вахтенным спускались еще машинисты и механики.

Качаясь, трудно было проходить по железной настилке, скользкой от воды и масла, а тут еще труднее — работать, дергаясь от толчков. В полусумраке, как три богатырских кулака, грозно размахивались стальные мотыли, разбрасывая жирные брызги. Тут держи глаз остро и знай, за что ухватиться, если только не хочешь быть расплющенным в кровавую лепешку. А сверху, нагоняя тоску, доносился грохот и рев бури, точно там, на палубе, развозились железные быки, одержимые страстью разрушения. Люди поднимали головы, смотрели на световые люки и с тревогой ждали — ждали своего провала.

Я заглянул в кочегарку.

Здесь у каждого котла находился человек, грязный и потный, с открытой грудью, засученными рукавами. Из поддувала выгребалась зола. А потом открывалась огненная пасть топки, дышала нестерпимым жаром, просила пищи. Кочегар, держа в руках лопату, широко расставив ноги, балансируя, старался подбросить уголь. Но судно металось, терзаемое бурей. Уголь попадал не туда, куда следует. Часто и сам кочегар, потеряв равновесие, опрокидывался и летел по настилке к другому борту. Быстро вскакивал и снова принимался за свое дело. Так или иначе, но топка заправлялась и гудела яростным огнем. Труднее приходилось, когда выгребали шлак. Он катался по всей площадке, раскаленный добела, обжигающий. Кочегары, обутые в большие деревянные башмаки, танцевали по железной настилке, извиваясь точно гимнасты,— только бы не свалиться. В то же время сверху обрушивалась вода и, попадая на раскаленное железо котлов и топок, разлеталась горячими брызгами, ошпаривая людей.

— Не зевай!

И чумазые «духи», замученные пытками бури, раздраженные ее каверзами, крыли всех богов, какие только существуют на свете.

Нам оставалось одно — держать судно против ветра и ждать улучшения погоды. Это означало, что мы имели



направление обратно в Англию. Но так как машина работала только средним ходом, то нас сносило назад — не то к берегам Германии, не то к Голландии. Кто мог правильно сказать об этом, если мы давно уже сбились с курса и не имели понятия о том, где находимся? Барометр стал понемногу подниматься, хотя буря как будто еще усилилась.

Под колыхающимся сводом грязных и рваных туч, взмыливаясь, забилась серо-зеленая поверхность моря, вся в холмах и рытвинах; распухали водяные бугры, чтобы сейчас же опрокинуться в темные провалы. Напряженно выл неистовый ветер, вызывая в ответ рыкание бездны, охапками срывал гребни волн и дробил их в хлесткие брызги. В мутном воздухе, как белые птицы, носились клочья пены.

Одинокой черной скорлупой мотался «Коммунист», выдерживая чудовищный натиск бури. Раздавался удар за ударом — ни одной минуты отдыха. На трюмах ломались задраечные бимсы, рвались брезенты и раскрывались люки. Это были удары, направленные к тому, чтобы лишить судно плавучести.

Сколько у бури еще осталось предательских замыслов?

От них холодело в груди.

— Если море ворвется в трюмы...— заговорил немец и, словно испугавшись своей мысли, замолчал.

За него кончил другой, русский:

— Тогда пиши — всем нам крышка...

Но рассуждать было некогда. Матросы вместе с третьим штурманом, сознавая близость гибели, бросались на защиту «Коммуниста». Около одного трюма пришлось повозиться особенно долго. Он почти раскрылся совсем. Вокруг него происходила самая решительная схватка. На люк натягивали новый брезент. Ветер вскручивал его и срывал. Захлестывали взмывы волн, бурлили от борта к борту, завьюживали людей белыми космами пены. Человеческие фигуры, напруживая тело, изгибались, пучили глаза. Опасность удесятерила их силы,— мускулы превратились в гибкое железо, и пальцы, как острозубцы, впивались в мокрые края брезента. Некоторые по-собачьи фыркали и отплевывались от воды, забившей ноздри и рот. Наконец с одной стороны люка брезент удалось закрепить. Перешли на другую сторону. Штурман, боцман и матросы зажали бре-

зент толстым железным шилом, навалились, уперлись, натуживая докрасна лица, а широкоплечий плотник, широко размахиваясь, вбивал обухом клинья. А когда почти все уже было готово, кто-то громко крикнул:

— Держись крепче!

Над судном поднялась стена, изогнутая, мутно-зеленая, как сплав стекла. Хрипло ухнув, она обвалилась на палубу и накрыла всех, кто работал у трюма номер три. Некоторые, не устояв под тяжестью воды, полетели кувырком. Одного матроса забило в штормовой полупортик — он удержался чудом, ухватившись за пожарный водопровод, а все туловище болталось уже за бортом. Его вытащили товарищи.

— Буря — это тебе, брат, не тетка родная. Тут гляди в оба.

Матросы покашляли, освобождая легкие от горечи и соли, и снова взялись заканчивать свою работу.

Старший штурман вздумал пробраться на корму, чтобы взглянуть, что делается в кают-компании, где давно уже разбойничало море. Волна, казалось, только и поджидала этого момента. Откуда она взялась? Вывернулась из бездны. В две сажени ростом, лохматая, она качалась, потрясая седой бородой. Она мягко подхватила его под руки, как маленького ребенка, окутала в белые пеленки пены и понесла к корме. Те, кто видел эту сцену, замер от ужаса, молча прощаясь с товарищем навсегда. Но тут произошла неожиданность: перед полуютом волна, зашипев, вдруг разрядилась и с размаху ударила штурмана о фальшборт. Он едва мог встать, с трудом поднялся на мостик, окровавленный, с разбитым лицом.

— Я вернулся с того света,— уныло проговорил штурман, шатаясь, как пьяный.

День приближался к концу.

«Коммунист» изнемогал. Дифферент на нос увеличился. Что делается в носовом кубрике? Один матрос решился посмотреть. Он долго целился и, уловив момент, когда нос судна высоко взметнулся вверх, бросился бежать. Маневр удался: матрос очутился под прикрытием, защищающим вход в кубрик. Тот же способ он применил и при возвращении обратно, но за ним, неожиданно взметнувшись на палубу, бурно помчалась волна, потрясая взмыленным хвостом. На полпути она настигла его и, скрутив в черный ком, швырнула к каю-



там. Он вскочил, вбежал на мостик и там уже застопал, хватаясь за расшибленные колени.

— Кости целы? — обратились к нему другие.

— Целы.

— Ну, значит, пройдет.

А потом спросили о главном:

— Что в кубрике?

— До половины воды набралось. Волны гуляют. Разломали все переборки. Не узнать нашего жилья. Все наше добро пропало...

— Черт с ним совсем, с этим добром. Только бы до берега добраться...

Исступленно билась буря. Страшно было смотреть, когда вся передняя половина корабля зарывалась в море, когда буруны, вскипая, с грохотом катились к мостику, угрожая снести все надстройки. Останавливалось дыхание в ожидании надвигавшейся катастрофы. Но проходил момент, и нос судна, болезненно содрогаясь, снова выбирался на поверхность.

И опять наступила тягостная ночь. Она была похожа на бред и тянулась бесконечно долго.

Много раз выходил я из рубки. На мостике трудно было стоять: обливали волны, а ветер хлестал по лицу солеными брызгами, как плетью. Ослепляя, мутью давил бушующий мрак. Я прислушивался к враждебным звукам. Иногда казалось, что «Коммунист» окружен толпами невидимых врагов,— они рычали, выли сквозь зубы, ломали дерево, выбивали заклепки, царапали и грызли железо. И когда этому будет конец?

Я смотрел на штурманов: у них стиснуты челюсти, а в глазах, налившихся от соленых брызг кровью, как у алкоголика с похмелья,— напряженность и боль. «Коммуниста» сносило — куда? В клокочущую тьму, в горланящую неизвестность. А где-то в море разбросаны подводные рифы. В обыкновенную погоду штурманы знают, где скрываются эти чудовища с гранитными клыками. А где они теперь? Может быть, далеко, а может быть, рядом: притаились и ждут сбившихся с курса кораблей. Горе судну, если оно попадет в страшный оскал такого чудовища: гранитные клыки вонзятся в железное дно и не выпустят, пока не растерзают в бесформенные куски.

В рулевой рубке я встретился с эстонцем.

— Ну, что скажешь, товарищ Володя?

Он воскликнул на это:

— Эх, коробка наша горемычная! И как только выдерживает такую бурю!

Почти двое суток люди ничего не ели и не пили, двое суток провели без сна, мотаясь над зыбучей бездной, среди разверзающихся могил. Против «Коммуниста», нападая, действовал тройственный союз — ветер, волны, мрак. В неравной борьбе истощались последние силы. Отчаяние рвало душу. Нет, никогда нам больше не причалить к желанному берегу. Он пропал для нас навсегда в этом бушующем хаосе, мрачном и холодном, как сама пучина.

И безмолвно стонала душа моряка, истерзанная дьявольской злобой циклона.

Я настолько устал, что перестал ощущать страх. Сознание помутилось. Все стало противным. Казалось, что легче умереть у стенки, под направленными дулами винтовок, чем здесь, в этой буйноголосой тьме, в осатанелом реве бесконечности.

В рубке, перевалившись через стол, держась за края его, я, точно в бреду, видел, как вошел третий штурман, очень глазастый парень, и торопливо начал протирать бинокль. Мокрый весь, он стучал зубами и, волнуясь, говорил:

— Что-то там замечается. Сейчас узнаю...

Он еще что-то говорил, но мне вспомнились слова, сказанные про него одним матросом:

— Глаза у него вонзаются в темноту, как штопор в пробку.

Третий штурман выбежал, но через минуту-две вернулся.

— Маяк Боркум открылся! — торжествующе крикнул он.

Этому трудно было поверить, тем не менее все почувствовали себя окрыленными.

Вызвали на помощь второго штурмана, уходившего в машину погреться. Темные волосы его поседели от осевшей соли, поседели ресницы и брови. Он был похож на старика с молодым, энергичным лицом. Все три штурмана смотрели в черную даль. Там, как маленькие звезды, виднелись три огня: красный посредине и два белых по краям. Да, это был Боркум, тот самый маяк,



который нам так нужен,— наша радость, наша надежда на возвращение к жизни.

Предстоял еще один опасный момент: удастся ли повернуться на свой правильный курс?

— Лево на борт! — скомандовал первый штурман и в то же время звякнул машинным телеграфом.

Машина заработала полным ходом. Море накрыло волною всю палубу от носа до кормы. Корабль, казалось, напрягал последние силы — погружался в кипящие провалы, падал с борта на борт и упорно поворачивался влево.

В разрыве черных туч показалась молодая луна. Это небо серебряным полуглазом смотрело с высоты, следило за нашим рискованным маневром.

Наконец услышали громкий голос того же штурмана:

— Так держать!

— Есть так держать! — обрадованно ответил рулевой.

Напрасно злился циклон, упуская свою добычу,— с каждой милей море становилось мельче, а волны теряли силу.

На второй день к вечеру «Коммунист», потрепанный в отчаянной схватке, израненный, медленно входил в Кильский канал. Муки наши кончились.

Улыбками осветились усталые лица моряков.

Еще через день на «Коммунист» явились рабочие, чтобы приступить к ремонту. Они искренне пожимали нам руки, поздравляли.

Тут только мы узнали о жертвах циклона. Оказалось, что в Северном море погибло пять судов.

— Три парохода и два парусника,— пояснил один из рабочих.

— А из людей кто-нибудь спасся? — справились наши матросы.

— Да, несколько человек на одном паруснике. Они привязали себя к мачтам. Их сняли через двое суток.

Матросы широко раскрыли глаза, придвинулись ближе к говорившему рабочему.

— Живыми?

— Да, живыми. Но их всех отправили в сумасшедший дом.

Мы тоже видели смерть. Она дышала холодом бездны, так близко раскрывавшейся перед нами, рвала нас лохматыми лапами циклона. Теперь ничто нам не угрожало — палуба под ногами не качалась, твердая земля находилась рядом. И все-таки, услышав о гибели других моряков, еще раз почувствовали зябкую дрожь на спине.

На «Коммунисте» застучали молоты, восстанавливая разрушенные части.



## В БУХТЕ «ОТРАДА»

В волнах Балтийского моря мерно покачивался наш пароход, преодолевая встречный ветер и ночной мрак, держа курс к далеким берегам Англии, а в кают-компании при свете электрической лампочки пожилой и полный механик рассказывал мне свою историю.

...Я, если хотите знать,— человек мирный. Во время каких-нибудь скандалов и столкновений других люблю держать нейтралитет. Это уж в моем характере. О политике люблю только послушать, но почти не занимаюсь ею. Для этого, я полагаю, есть другие люди, которые могут протанцевать на острие ножа и не обрезаться. А мое дело — знай работай. Это у меня с детства, из деревни, где вместе с отцом я немало земли переворочал.

Должен сказать, что на военной службе мне везло. Начал я с матроса второй статьи, как полагается нашему брату, и на второй год уже плавал кочегаром. Потом благодаря своему старанию добился, что меня назначили в школу машинистов самостоятельного управления. Через два года успешно кончил ее. Дальше пошло само собой: дослужился до судового кондуктора, а после революции получил звание механика. Правда, для этого мне пришлось потратить двадцать с лишним лет упорного труда. За это время много судов переменил. Плавал на броненосцах, крейсерах, миноносцах, подводных лодках. И, не хвастаясь, скажу, что всю судовую механику на практике прошел и знаю ее так, как едва ли знает любой мусульманский мулла свой коран.



При царском режиме я не особенно любил власть — она всегда казалась чужой, не народной. Правда, воевал за нее, но только потому, что нельзя было не воевать. А тут еще об измене заговорили. Под яростным натиском немцев ломалась Россия, слезами и кровью истекал народ. Наконец всплыл Гришка Распутин. Все это очень раздражало меня, но не настолько, чтобы я мог зашипеть, как волна у скалы, и стать революционером... Нет, я честно исполнял свою работу.

А революция все-таки пришла, пришла помимо меня. Ураганом налетела она и развеяла всю старую власть, как мусор. Скажу откровенно — в груди моей загорелось новое солнце. Вместе с другими я чувствовал себя перерожденным. Дальше этого мне не хотелось идти. Однако недолго продолжались медовые месяцы. Истории неугодно было справляться с моими желаниями, и она продолжала разворачиваться по-своему. В революционной стране еще раз произошла революция. Потом, как вам уже известно, началась гражданская война.

Все это очень не нравилось мне. Я насторожился.

Еще раз повторяю, что я человек мирный, люблю тишину и покой. И все-таки циклон революции одним крылом захватил и меня. До сих пор не могу без дрожи вспомнить об одном случае, какой выпал на мою долю.

В то время я находился на далекой окраине России — в царстве белых. Отсюда именно поднимались «спасители» отечества. Забряцали сабли, засияли разные погоны, до генеральских включительно. К восставшим присоединились попы, благословляли их на ратный подвиг золотыми крестами и усердно служили молебны. Везде, бывало, только и слышишь:

— За возрождение родины!

Хотели и меня мобилизовать, но этот номер не прошел: я уже отпраздновал сорок девятые именины. Поступил механиком на коммерческий пароход «Лебедь». Судно это было небольшое, в тысячу тонн, и годами чуть ли не ровесник мне.

По-прежнему я строго держался своего правила — сохранять во всем нейтралитет. От политики подальше, а труд, где бы он ни происходил, всегда останется только на пользу человечества. Так, по крайней мере, я думал тогда.

Мобилизовали моего старшего сына Николая. Про-

служил он несколько месяцев, а потом, не будь дурным, взял да и дезертировал из армии. Явился голубь домой.

— Здравствуйте, папа и мама!

Так мы и ахнули с женою. Сколько хлопот наделал нам, сколько страху нагнал на своих родителей.

Что, думаем, теперь делать?

Далеко на севере есть приятель у меня, верный друг — Саим. Решаю отправить сына к нему. Иначе пропадет парень. А там — сам черт его не найдет!

Говорю:

— Поезжай, Николай, к Саиму. Дам денег. Переждешь у него, пока вся эта кровавая суматоха не кончится. А там, глядишь, и домой благополучно вернешься.

Парень он у меня работящий и послушный. Против родителей никогда и ни в чем не возражал. Грех пожаловаться. Любимец мой. А тут заупрямился.

— Не для того,— говорит,— я из армии убежал, чтобы прятаться, как налим под камнем. Я хочу сражаться за правду...

— Какая,— спрашиваю,— тут правда, когда поднялся брат на брата и кровь на свою кровь пошла?

Нет, не уговорить его. Одно — стоит на своем. До слез ведь довел нас с женою.

Ушел в сопки к партизанам.

Тяжелое горе свалилось на мою седую голову. Задумался я. Сделаю рейс, вернусь домой, и что же? Чувствую безотрадную пустоту в своей собственной квартире. Жена в слезах, увидит меня — начинает пилить:

— Брось ты на этих лиходеев работать. Как тебе не стыдно против родного сына идти?

Она у меня из простых, малограмотная, но женщина хорошая.

Возражаю ей:

— Мое судно не военное, а коммерческое. Ты это сама знаешь. Значит, я сохраняю нейтралитет.

— Подумать только, какое слово выдумал! А мне наплевать на твой нейтралитет...

Есть у меня сынишка, Павлик, черноглазый крепыш, такой шустряга, каких мало на свете. Ему тогда только что на пятнадцатый перевалило. Услышав наш разговор с женою, заявляет самым серьезным образом:

— Идем, папа, к партизанам, и больше никаких.

Смотрю на него, сдвинув брови.



— Откуда это тебе в голову пришло?

Обиженно отвечает:

— Егоркин отец вместе с партизанами сражается. А мы что глядим? Буржуям, что ли, продались?

Егорка Сурков на год старше моего сына, дружит с ним. А отец его — бывший токарь из Петрограда, служил машинистом на «Лебеде» и за месяц до этого сбежал с парохода.

Постучал я по столу кулаком.

— Вот что, Павлик, такие мысли выкинь из головы. Чтобы я больше не слыхал об этом. Тебе учиться надо. Слышишь?

Мальчонка насупился, как галчонок в ненастье, и басит.

— Слышу. Я, поди, не глухой.

— Еще что скажешь?

— Трусишь ты...

Обидно мне стало. Щелкнул я его раза два по голове. И что же вы думаете? Вместо того, чтобы испугаться, выпалил мне:

— Я все равно к красным убегу.

Ну, думаю, все на свете пошло вверх торманом. Революция запутывает в хитроумный узел и мою семейную жизнь — не распутать.

Дошло до того, что свет стал не мил. И чуяло сердце, что этим беда не ограничится.

Так и случилось.

Выбрали меня в правление союза моряков. Не хотелось идти на такой ответственный пост и в такое грозное время. Отказывался, долго упирался,— уговорили.

Продолжаю плавать на своем «Лебеде», а после каждого рейса хожу на собрания, общественные дела выполнять. Присматриваюсь вокруг — власть круче и круче заворачивает вправо. А тут еще иностранные войска появились, помогают нашим генералам творить черное дело. Вся жизнь в наморднике, как будто никогда и не было революции. И морякам плохо — прижимают. Работы по горло.

Получаю сведения от Николая. Жив и здоров он. Сообщает, что сила их увеличивается, растет. Я все чаще начинаю задумываться о целях моего сына.

Грозовые тучи нависли над Россией. И вся она — в пожарах и дыму, в крови и в слезах, распинаемая гражданской войной. Шарахается народ из стороны в

сторону, от одной власти к другой, добивается своего счастья. А кто доподлинно знает, где скрывается солнце правды? Я только одно замечаю, что история идет своим чередом, движется вперед — не прямо, а с какими-то громаднейшими зигзагами. Куда приведут эти запутанные пути?

Позднее у меня началось прояснение. Правда, я не очень-то восторгался красными. Я понимаю так: пусть в прошлом человек был только кладбищенским сторожем, а революция может поставить его во главе государства, если соответствует у него голова. А тут слишком просто поняли слова из «Интернационала»: «Кто был ничем, тот станет всем...» Отсюда — был баран, стал барон: на автомобиле запузыривает. Другой никуда больше не годен, как только быкам хвосты накручивать, а он в кабинете заседает, и без доклада к нему не входи. Много и других уродств замечал я. Но наряду с этим среди красных есть действительно головы.

Неужели, думаю, они не выведут народа на путь лучшей жизни? Сравниваю: а что среди белых? Одна мутная пузырчатая пена. Что это за «спасители» родины, которые опираются на штыки иностранных войск? Таким образом, постепенно, под влиянием разных событий, мой нейтралитет изветшался и не мог уже больше спасать меня от революции, как дырявый зонтик от дождя. Куда-то нужно примыкать. Мое сочувствие переходит на сторону, где находится старший сын. Я начинаю увлекаться общественной работой. И все чаще произношу: мы, что пришли от полей и фабрик, от рудников и заводов, и они, что спустились с парадных подъездов и нарядились в золотые погоны. Сквозь кровавую мглу уже стала мерещиться другая жизнь, обновленная в купели революции.

Однажды прихожу в союз моряков, а там — засада. Схватили меня, скрутили.

— Механик еще, а негодяем заделался,— говорит один из охранников.

Обычное мое спокойствие взорвалось.

— Я никогда негодяем не был и вам не советую быть.

— Молчать! — кричит тот и браунингом размахивает.— А то сразу заткну глотку свинцом!..

Никогда я раньше не думал, что могу так разозлиться. Выпячиваю грудь, налезаю:



— Не испугаешь. Я уже пожил на свете. Бей!

— Посмотрим, что через несколько дней запоешь.

— Подумайте лучше о том, как бы вам не пришлось запеть вавилонскую песню.

Вот ведь до чего сорвался — сам в петлю полез.

Засадили меня в трюм железной баржи. Нас там набралось человек с полсотни. А с арестованными тогда расправлялись очень просто: уводили баржу в море и выбрасывали людей за борт — рыбам на пищу.

Смотрю на своих товарищей — обреченность в их глазах. И у самого остро ноет сердце. Думается, как теперь дома, знают ли, в каком положении я нахожусь? Никнет моя седая голова, копошатся безотрадные мысли, как пойманные раки в ящике,— нет выхода. Начинаю раскаиваться, что напрасно отступил я от своего постоянного правила — во всем быть осторожнее.

Однажды на военной службе я так же вот сорвался, но сейчас же все дело поправил. В то время я был машинным квартирмейстером. Дело произошло пустяковое. Один мой приятель, тоже машинный квартирмейстер, спрятал на судне бутылку водки, принесенную с берега. Никто об этом не знал, кроме меня. И бутылка все-таки пропала. Встретился я с приятелем на шкафуте. Он вдруг на меня набросился.

— Ты бутылку взял?

Я загорячился.

— Ты что — обалдел? Знаешь ведь, что водку совсем не пью.

Слово за слово — схватились. Он мне два зуба вышиб, а я ему нос набок своротил. Не знаю, до каких пор мы лупили бы друг друга, если бы не услыхали грозный оклик:

— Стойте! Что вы делаете?

Глянули — перед нами старший офицер. Сразу оба вытянулись.

— Играем, ваше высокоблагородие! — первый ответил я.

— Играете? — переспросил старший офицер и посмотрел строго на наши окровавленные физиономии.

— Так точно — играем, ваше высокоблагородие,— подтвердил и мой приятель.

Что оставалось старшему офицеру делать? Расхохотался, схватившись за живот, а нас послал умываться. Таким образом мы избавились от карцера.

С тех пор за всю военную службу у меня ни одного скандала не было.

Однако я отвлекся. Вернусь к своей барже. Два дня просидел я в ней, а на третий вызвали меня на допрос в охранку.

— Что вы, господин Раздольный, делали в правлении союза моряков?

Следователь, штабс-капитан Аносьев, сидит по одну сторону стола, а я по другую. В его лице ничего нет зверского, о чем я понаслышался от других. Напротив, самое безобидное лицо с маленькой русой бородкой и короткими усами. На голове — прямой пробор, такой ровный, точно бритвой по линейке проведен.

Я показание даю спокойно, не торопясь, обдумываю каждое слово. Упираю больше всего на то, что политикой, мол, мы не занимались, что наши задачи чисто экономические. Наворачиваю так складно, точно веревочку вью. Следователь подпер руками голову, слушает устало и смотрит на меня так, как будто во всем со мною соглашается. А потом вдруг спрашивает тихо, почти дружески:

— А где находится ваш старший сын, Николай?

Во рту у меня сразу стало сухо.

— До сих пор в армии служил. Вам об этом лучше знать.

Следователь откинулся на спинку стула и повысил голос:

— Да, мы лучше знаем. Мы знаем, что одно время он скрывался у вас на квартире, а теперь разбойничает вместе с партизанами.

Я почувствовал, что следователь свалил меня в гроб.

— Может быть, господин Раздольный, вам неизвестно и то, что правление моряков — и вы в том числе — снабжало партизан оружием?

Надо мною захлопнулась крышка, и нечем стало дышать.

Только и мог я ответить:

— Ничего не знаю.

Раздался новый звонок. Явились вооруженные люди. Штабс-капитан Аносьев, кивнув в мою сторону головой, спокойно приказал:

— Уберите его.

Опять я очутился в железной барже. Таскали и других на допросы. Целую неделю так продолжалось. А потом началась сортировка — кого на свободу, кого в тюрьму. На барже нас осталось всего пятнадцать человек. С этих пор в нашем мрачном трюме поселилась смерть. Люди перестали есть, быстро чернели, часто вскакивали по ночам. Безнадежно было, хоть вдребезги расшиби свою голову. Днем у выходного люка беспрерывно сторожили часовые, а на ночь, кроме того, он закладывался тяжелыми лючинами и запирался на замок. Что нам оставалось делать? Мы ждали-ждали, когда баржу возьмут на буксир и поведут в море. С поразительной ясностью представлялось, как на шею каждого из нас привяжут мешок с углем и начнут выбрасывать за борт. А родственникам сообщат, что арестованных выслали в Советскую Россию. Так, по крайней мере, поступали со всеми, кто попадал в трюм этой страшной баржи до нас. Об этом мы хорошо знали и заранее до дрожи ощущали на себе холод глубокой бездны.

Все съежились и притихли перед неизбежностью. Особенно мучительны были те моменты, когда к барже приближалось какое-нибудь паровое судно. Шум гребных винтов приводил нас в оцепенение. Сердце падало от страшной догадки: не за баржей ли пришли? Бледнели лица, безжизненно отвисали посиневшие губы. Некоторые, не мигая, смотрели пустыми глазами на люк. От страха с двумя началась рвота, как при морской болезни...

Так повторялось каждый день.

В баржу к нам неожиданно попал и машинист Сурков. Его привезли вечером. Это был крупный человек, немного сутулый, но крепкий, как якорная лапа. Его лохматые волосы были засорены трухой от сена. Он заговорил бойко и весело, точно попал не к смертникам, а на именины:

— Вот и я к вам, товарищи! Здорово бывали!

Все бросились к нему, обступили тесным кольцом.

— Рассказывай, что делается на свете.

— Дела хорошие. Красные войска прут вперед на всех фронтах. Что? Партизаны?

Сурков оглянулся и возбужденно зашептал:

— Скоро у нас будет дивизия. Рабочие и крестьяне — порох. Каждый день прибывают к нам новые люди. И оружие есть. Три дня тому назад и я отправил в отряд полсотни ручных гранат, несколько винтовок и

один пулемет. Что? Откуда взял? Солдаты передали и сами перешли к нам. Восемь человек. Караульные. А наша разведка? Каждый день получаем сведения из города. Все знаем, что там делается, знаем даже, что кушают белые генералы. Про одно только не знаю,— куда это запропастился мой сорванец?

— Кто это — сорванец? — осведомились мы у машиниста.

Не отвечая, Сурков вдруг обратился ко мне:

— Ты, старик, ничего не слыхал про своего пистолета?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Да Павлушка-то твой и Егорка мой — где?

Что-то жуткое повисло в трюмном воздухе. Я обалдело смотрел на Суркова, приоткрыв рот. А он, несуразно высокий, нагнулся надо мною, сразу потемнел и выдавил кривыми губами:

— Да, брат, оба исчезли. Не то их арестовали, не то еще что случилось...

Сообщение товарища сдавило мне горло. Как я не сдох в эту ночь? Железное дно баржи показалось необыкновенно холодным. Все тело дрожало, как в лихоманке. Много раз я поднимался, переспрашивал Суркова и снова ложился, оглушенный его ответами. Весь мир представлялся мне в виде сумасшедшего дома...

Днем Сурков заявил нам:

— Раз я засыпался — и засыпался безнадежно,— то мне нечего больше ждать.

— А что можно поделать? — спросил кто-то.

Сурков сжал кулаки. Гневом загорелись коричневые глаза.

— С моей силой да чтобы умирать смиренным ягненком? Нет! Я поступлю иначе...

Он попросился у стражи «оправиться». Его вывели наверх. Вскоре мы услышали рев голосов, топот ног и ружейные выстрелы. Что случилось там? Мы ничего не знали. Только больше уже не видели ни нашего Суркова, ни того курносого часового, что повел его наверх.

После этого другой часовой угрожающе бросил нам:

— Вас всех нужно перерезать.

Пример машиниста не заразил нас. Мы сидели на дне баржи, скрюченные, безвольные, уныло ожидающие своего смертного часа.

На второй день я услышал голос сверху:



— Раздольный! Выходи!

В первый момент мне стало холодно, точно я оброс ледяной корой, но сейчас же бросило в жар.

Когда высадились на берег, я не знал, куда ведут меня часовые. Ноги потеряли свою упругость и гнулись, точно были восковые. Казалось, не тело, а сама душа качалась, как одинокое дерево под ветром. Посмотрел на ласковую синь неба, вдохнул полную грудь свежего сентябрьского воздуха,— стало легче.

Около пристани нас поджидал паровой катер. Минут через пятнадцать я был переброшен на свой «Лебедь». На нем находились офицеры с револьверами и сотни три солдат и кадетов, вооруженных винтовками, пулеметами, ручными гранатами. Кроме того, было десятка полтора лошадей. Отупевшим мозгом я сообразил лишь одно, что моя казнь, очевидно, отсрочена. Все эти люди затеяли какое-то серьезное дело, где мое присутствие необходимо. Но в этом для меня мало было утешительного.

Вместо прежнего капитана судном командовал знакомый лейтенант. Он призвал меня на мостик и заговорил строгим голосом:

— Это я вас вызвал на судно. Смотрите, чтобы все было в исправности. Если хоть что-нибудь заметим, то расчет будет короток. Я надеюсь, что вы понимаете меня...

На момент во мне загорелась надежда, и я умоляюще смотрел на бритое лицо лейтенанта.

— С якоря сниматься через полтора часа. Можете идти.

— Есть! — машинально ответил я.

В сопровождении часового спустился в машинное отделение.

На токарном станке трое машинистов пили чай и мирно разговаривали. Один из них, рослый и развязный человек, по фамилии, как после узнал, Маслобоев, при виде меня весело засмеялся:

— А, господина большевика привели.

Я хотел возразить на это, но смолчал, ибо начал приходить в себя. Спросил только:

— Вы на каком судне плавали раньше?

Маслобоев оказался очень болтливым и отвечал на все охотно.

— Раньше? Хо-хо-хо... Я не плавал, а, можно ска-

зать, летал, летал на сухопутных скороходах. Я передвигал составы в сотню вагонов.

Он навеселе. Глаза у него влажные, а на крупном носу фиолетовые жилки, тонкие, как паутина. Вахта его начинается часа через два.

Еще машинист Позябкин, широкий и тяжеловесный. Этот — угрюмо молчалив, болезненно задумчив. Он стоит на вахте.

Третий — молодой и кудрявый парень. Улыбается широко, смотрит доверчиво. Он как будто сочувствует мне. Ему вступать на свой пост не скоро. Он заявляет:

— Пойду в кубрик: сочинением храповицкого займусь. В случае чего — разбудите меня.

Заглядываю в кочегарку. Часовой не отстает от меня. Там происходит галдеж: судовые кочегары спорят с сухопутными, размахивая кулаками. Я сразу понял, в чем дело. Оказывается, что в одном котле пар поднят до марки, а в другом — стрелка манометра показывает всего лишь шестьдесят фунтов давления.

— Это вам не паровоз, черт возьми! — кричит один судовой кочегар.

— А какая разница? — спрашивает его сухопутный.

— Разница такая, что в этом деле вы понимаете столько же, сколько лангуст в библии.

Потом обращаются ко мне:

— А ну-ка, большевицкий механик, разберите, кто из нас прав.

Из прежней команды — ни одного человека. Очевидно, они все арестованы.

Откуда собрали этих людей?

Я не стал их разбирать, а сейчас же полез на кожух, чтобы соединить пар обеих котлов. Все это сделал в одну минуту. А когда слез, научил кочегаров, как держать пар в котлах. Затем распределил вахту,— оставил только двух человек, а остальных отослал отдыхать,— и вернулся в машинное отделение.

Осматриваю машину. Загрязнена она, в ржавчине и запустении. Испытываю отдельные части, смазываю; привожу все в порядок. Мрачный машинист Позябкин помогает мне довольно добросовестно.

Подвахтенный, машинист Маслобоев, пьет чай и говорит всякий вздор. Одно лишь я замечаю — он очень заинтересован мною, точно я представляю собою редкую диковинку. Пристает с разными вопросами.



— Коммунисты собираются устроить рай на земле и хвалятся, что они все знают. А скажите мне, господин большевик, знаете ли вы, какой в мире самый несчастный ребенок?

Он помолчал, вытянув ко мне длинную шею. Не дождавшись ответа, торжествующе рассмеялся. Потом замахал правой рукой, точно на балалайке заиграл. Я услышал его хрипучий голос:

— Значит, не можете ответить. Хо-хо. Так я вам скажу. В мире самый несчастный ребенок — это поросенок: у него одна только мать — и та свинья. А это потому вы не знаете, что в цирк не ходите...

Но я, не обращая внимания на издевательства Маслобоева, осторожно спрашиваю его:

— Долго нам придется быть в пути?

— Пустое: часов пять.

— Куда же это мы направляемся?

Каждое слово его ершом топорщится у меня под черепом, колет:

— Одно только знаю, что идем партизан лупить. Хо-хо, будет горячее дельце. Алеша, ша! Не пикни! Тут сила...

Из памяти у меня не выходит сын. Поблизости нет других партизан, кроме того лишь отряда, где находится Николай. Вернее всего — туда именно направляется «Лебедь». В сопках недалеко от моря находятся партизаны. Быть может, они отдыхают. И никто из них не подозревает, что скоро на берег высадится десант, хорошо вооруженный. Окружат их, переловят. А потом начнется расправа. Может случиться даже так, что в последний момент Николай увидит своего отца.

Что он подумает обо мне?

У меня конвульсивно задергались губы.

— А вы, господин большевик, должно быть, кур воровали? — спрашивает меня Маслобоев.

Поворачиваю голову. Качаясь, двоится знакомое лицо с большим носом, насмешливо скалятся зубы.

— Каких кур?

— Не знаете? Хо-хо. Отчего же у вас руки трясутся?

Скоро заработала машина. Немного времени спустя пароход начал покачиваться. Я понял, что мы выходим в открытое море.

Часовой все время смотрит за мной. Помимо винтовки — у него еще ручная граната. За пояс заткнута.

Своим присутствием он как бы напоминает мне, что судьба моя решена — смерть. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Сделаю только рейс, а дальше — балласт на шею и в морскую пучину. А тут еще Николай в воображении рисуется: светловолосый, с синими глазами, живой и любознательный; вот он мечтает, подготовившись, поступить в технологический институт, и я ему сочувствую в этом. И что же? Этот здоровый и румяный парень, которому жить бы и жить, скоро будет уничтожен.

Голова моя разваливается от горьких дум.

Я работаю машинально, без участия мозга, только благодаря многолетней практике. Руки сами знают, что нужно делать.

С каждым ударом моря, при каждом крене часовой пугливо озирается. Лицо у него становится бледным, с зеленоватым оттенком, глаза мутнеют. Он положил винтовку на настилку, а сам держится за токарный станок, чтобы не свалиться.

— Чтоб дьяволы слопали вас вместе с кораблем! Ох, до чего мутит...

На машиниста меньше действует качка. Он рассказывает мне:

— Где Зубаревский отряд партизан? Уничтожен. А где Чижаевская шайка? Всю ее переловили и на солнышко посушить повесили. Чудак! Тут пушки, винтовки, пулеметы, а там только дробовики да самодельные пики. Куда уж эти бараны лезут сражаться против львов?

Я стараюсь не слушать Маслобоева, но слова сами назойливо лезут мне в голову. Он кажется мне исчадием ада. Хочется броситься на него, столкнуть его под размах мотыля, чтобы машина окрасилась человеческой кровью. Но я молчу. Только крепче стискиваю зубы.

Маслобоев подходит ко мне ближе.

— Скажи на милость, господин большевик, зачем это ваши коммунисты хотят свергнуть самого бога?

Обыкновенно я очень осторожно и терпеливо относился к религиозным чувствам другого человека. А тут случилось нечто странное. Глаза у меня полезли на лоб. Я придвинулся к машинисту почти вплотную. Он взглянул на меня и сделал шаг назад.

— У вас лицо злое, как морда у рыси.

Как я удержался, чтобы не вцепиться в его горло?



Вместо этого я начал шарлатанить.

— Не в этом дело, господин машинист,— говорю я сквозь зубы.— Теперь я задам вам вопрос.

— Ну?

— Жена у вас есть?

— Да.

— А бога любите?

— Бога нельзя не любить: он есть альфа и омега.

— Так. Теперь скажите: что вы стали бы делать, если бы свою жену застали спящей в постели с самим богом?

Маслобоев дернулся, ощетинился и громко крикнул:

— Дьявол!

Он повернулся и быстро полез по железным трапам наверх.

В этот именно момент и родилась у меня мысль, от которой самому стало страшно.

Я попал в неприятельский стан. А война есть война. Не я выдумал ее, будь она трижды проклята. Тут — кто кого одолеет: если не мы их, то они нас. А сам я что теряю? Впереди у меня так или иначе — черная пасть смерти. Ладно! В таком случае всем могила — на дне моря.

До сих пор не могу понять, что тогда произошло со мною. Я действительно превратился в дьявола.

С холодной ясностью я создавал план уничтожения. Кого? Живых людей. А те, что в сопках скрываются, разве падаль какая? И в окаменевшем сердце не было больше ни чувства жалости, ни угрызений совести.

Вахтенный по-прежнему угрюмо молчал.

— Куда это направляется наше судно? — обратился я к нему.

Позябкин взглянул на меня, как городовой на нищего.

— Об этом спросите у командира,— отрезал он и отвернулся.

Встряхивает бортовая качка. В вентиляторы доносится гул ветра.

Скользко шмыгают в цилиндрах поршни. Лениво ворочаются эксцентрики. Зато усердно размахиваются мотыли, точно не желая отстать один от другого в работе. Напряженно вращается гребной вал. А я под этот привычный шум звуков произвожу свои расчеты, взвешиваю каждую мелочь.

Нужно открыть крышки кингстонов. Море тогда ворвется внутрь судна с невероятной силой. Но этого мало. Чтобы судно погибло, должны водою наполниться и трюмы. А для этого необходимо открыть клинкеты — те железные задвижки, посредством которых машинное отделение соединяется с ближайшими трюмами. А спасательные помпы? Для них немного надо — достаточно несколько ударов кувалды, чтобы вывести их из строя...

Но как это все проделать?

Я смотрю на часового — он лежит пластом, хоть живьем бери его.

Начинает укачиваться и вахтенный. Он мне заявляет:

— Я свои часы отстоял. Пойду искать Маслобоева.

Отвечаю ему очень вежливо, с поклоном:

— Пожалуйста.

Я воспользовался его отсутствием и осмотрел клинкет заднего трюма.

К моей большой радости, он оказался открытым. Мне оставалось сделать только, чтобы не могли его закрыть,— я намотал на резьбу шпинделей проволоку. После этого приготовил около кингстонов кувалду, зубило, ключ для отвинчивания гаек. Сходил в кладовку и на всякий случай захватил с собою пробковый нагрудник. Можно приступить к делу. Но тут приходит мысль, что из этого ничего не выйдет. Меня могут убить раньше, чем я возьмусь за разрушительную работу. А мне хочется бить наверняка, без промаха, хочется видеть гибель противника своими глазами.

На вахту является Маслобоев. Он уже не кажется мне злодеем. Я первый заговорил с ним:

— Ну, что хорошего наверху?

Маслобоев обрадованно замахал рукой, сообщая:

— Эх, разъярилось море! Ветер — беда. Берегов не видно. Наша пехтура валяется вся и корежится, точно холерой заразились. Как вы думаете, господин большевик, после такой встряски могут солдаты сражаться или нет?

— Не знаю. А вот что скажите мне: почему вы величаете меня большевиком? Я даже во сне никогда большевиком не был.

— Рассказывайте! Хо-хо. Сову видно по полету, а молодца — по мыслям.

Он подумал немного и добавил:



— Сколько собака ни крутись, а сзади все хвост останется.

Я учу его, как нужно ощупывать размахивающие мотыли. Без привычки это трудная штука: можно ушибить руку. И удивительно: я беспокоюсь о таком пустяке и нисколько не задумываюсь над тем, что этот человек вместе с другими обречен на смерть. Маслобоев не может молчать.

— Чего только коммунисты добиваются? Не могу понять.

— Да, трудно понять. Для этого нужно иметь в голове, кроме насекомых, еще что-то...

Машинист что-то возражает мне, но я не слушаю его. У меня создается новый план. Решаю взорвать цилиндр.

Мне, как механику, выполнить это ничего не стоит. Тогда машинное отделение превратится в ад кромешный, куда никто не посмеет спуститься для спасения судна. А я буду действовать совершенно свободно...

Раздался свисток. Я пошел к переговорной трубке.

— Сколько машина дает оборотов? — спросил командир.

— Пятьдесят восемь,— ответил я.

Командир рассердился.

— Дайте до семидесяти оборотов!

— Есть. Но должен сказать вам, что кочегары плохо работают.

— Передайте им, что я их арестую...

— Есть!

Я передал кочегарам приказание командира. Они посмеялись надо мною, но все-таки взялись за лопатки и начали подбрасывать уголь в топки.

К осуществлению своего плана я приступил не сразу. Это довольно сложная затея. Вам, как неспециалисту, пожалуй, не понять. Но попробую все-таки пояснить. Дело в том, что все работающие части машины построены на принципе точного расчета. Мое дело — нарушить эту точность. Я увеличиваю смазку цилиндров больше, чем следует. Масло, попавшее в цилиндры, поступает потом в холодильник, а оттуда через воздушные насосы и питательные помпы добирается до котлов. Кроме того, я перепитываю левый котел. Все это нужно для того, чтобы получилось вскипание в котле: вода забур-

лит и вместе с паром бросится в машину. А это поведет к взрыву цилиндра.

Смотрю на водомерное стекло левого котла,— вода в нем достигает на три четверти. Дело идет отлично. С нетерпением жду взрыва, бездушный и холодный, точно кусок железа в мороз. Водомерное стекло начинает белеть,— страшный момент приближается.

Вдруг из глубины души, как со дна моря, всплывает новая мысль: отставить все это. Потопить корабль я успею в любое время. Мне нужно посмотреть сражение. И еще вопрос: куда мы идем? Вернее всего, я здесь слукавил перед самим собою: просто мне хотелось еще пожить час-другой.

Я убавил ход машины и побежал в кочегарку.

— Закройте поддувало левого котла! — крикнул я.— Убавьте огонь! Нам грозит опасность...

На этот раз кочегары быстро исполнили мое приказание. Вероятно, и в голосе и в выражении лица они почувствовали тревогу.

Я вернулся в машину и устало опустился на табуретку. Отдохнул, прислушиваясь к гулу моря. Потом, когда опасность миновала, увеличил ход машины.

Маслобоев опять пристает ко мне с разговорами.

— Слышал я, что в вашем коммунистическом царстве обедают наизусть! Правда это?

— А здесь? — спрашиваю я.

— У нас пока слава богу. А в случае чего — иностранцы помогут.

Иностранцы — мое больное место. Я раздраженно кричу:

— За что? За ваши глаза?

— Это неважно, за что. Но помогают и будут помогать.

— Они так помогут, что у каждого русского человека от жилетки одни рукава останутся.

Мы разговаривали так до тех пор, пока не прекратилась качка. Вой в вентиляторах точно оборвался. Машинист сорвался с места.

— Пойду взглянуть, что делается наверху.

Поднялся с мостика и мой телохранитель, весь грязный и все еще похожий на зачумленного.

Несколько раз звякал машинный телеграф, передавая распоряжения с мостика. Я останавливал машину, потом давал ход назад и опять повертывал регулятор на «стоп». Немного погодя послышался грохот якорного каната. В машинном отделении стало тихо.

— Кончилось, что ли, наше путешествие? — спросил часовой, оправляясь от морской болезни.

— Об этом знают только на мостике.

— Чтобы провалиться в тартарары вашему кораблю. Пусть на нем водяные лешие плавают, а не люди.

Я только теперь заметил, что лицо у него добродушно-пухлое, обросшее щетиной, с наивной прозрачностью в широко открытых глазах. Этот парень, проживший на свете лет двадцать пять, по-видимому, ничего не понимал в российских событиях. Что-то кольнуло в груди, но я остался тверд в своем решении.

Спрашиваю:

— Не понравилось плавать?

— Хорошо, что служу на берегу. Пропал бы я в море.

Является Маслобоев.

— Вот это новость! Одного партизана уже видели. На велосипеде появился между сопок. Вот жулики — разведку поставили, а? Точно настоящие воины. А только как увидел, что тут прибыли не в жмурки играть,— эх, и стрекача задал назад! Где же им против нас! Одно только им остается — смазывай пятки и в лес...

Я напрягаю всю силу воли, чтобы не выдать своего волнения.

Вставляю с напускным равнодушием:

— Значит, никакого сражения не будет.

— А для чего лошади взяты? Догонять. Там уже начинают шлюпки спускать.

Топот ног и отдельные выкрики доносятся сверху, подтверждают слова Маслобоева, пронизывают тело как электрическим током. Но меня интересует другое. Спрашиваю, как бы между прочим:

— Где это мы остановились?

— В бухте... Как она, шут возьми, называется? Да, бухта «Отрада». Кругом сопки. Дикое место...

Машинист еще что-то говорил, но я ничего уже не понимал. Мы пришли туда, где находится мой сын. Недалеко начинается глухая тайга. В ней скрывались партизаны. Отсюда делали набеги на села, уничтожая милицию и вооружаясь. Об этом я знаю из последнего сообщения Николая. Он уверен был, что их ни за что не найдут. Но их открыли. Сейчас начнут уничтожать.

Стучало в висках, а в голове — точно размахивались мотыли. Сколько времени прошло? Я не отдавал себе отчета. Послышались первые выстрелы. Наверху топали люди, что-то кричали. Машинист убегал и возвращался обратно. Ему обязательно нужно было поделиться с кем-нибудь новостями. Он дергался, суетился, размахивая руками. Я не понимал его... А потом в помутившемся сознании вырос один вопрос, до боли расширяя череп, страшно мучительный,— почему я не потопил корабль в пути? Рушились надежды. Уязвленный, я стоял как в столбняке.

Фуражка слетела с моей головы. Я поднял ее, посмотрел. А когда увидел маленькую дырку в козырьке, понял: через световой люк влетела пуля, ударилась о железо и сделала рикошет.

— Хорошо, что голову не задела,— заботливо отозвался Маслобоев.

Это меня отрезвило. Я взял себя в руки. Нет, от своего плана я не откажусь. Все стало ясно, как в морозное утро.

Оказалось, что не успел десант отплыть на шлюпках от борта, как партизаны, спрятавшиеся в сопках, засыпали его огнем.

Это было настолько неожиданно, что белые растерялись. Они бросили шлюпки и забрались на пароход. Все спрятались в трюмах. Я сам услышал крики раненых.

Машинист рассказывал мне дальше беззлобно, даже как будто восторгаясь:

— Вот это стрелки! Только вышел командир на мостик — бац! Готов. Прямо в сердце. Помощника его — то же самое. Никому нельзя наверху показаться. Ах, жулики! Я думаю — у них охотников много. Те могут одной дробинкой убить белку прямо в глаз, чтобы шкурку не испортить. Навык большой. А что вы думаете на этот счет?

— Мое дело маленькое. Я ничего не думаю.

Часовой поднимал прозрачные глаза и ожидающе смотрел на световой люк.

Дикое злорадство охватывает меня. Война есть война.

Мне нельзя терять времени. Я приказываю поддерживать в котлах пар до отказа. Они дрожат. И в груди моей все дрожит. Я превратился в азартного картежника. На кону — вместо золота — триста человеческих жизней. Никто из них не подозревает, что участь их решена. В этой вот седой голове, под костяным черепом, остались одни козыри. Выигрыш обеспечен.



Не будучи наверху, я все-таки хорошо представлял себе, как обстоит там дело. Никто не мог подняться на мостик, чтобы занять командный пост. А о поднятии якоря нечего было и думать. Положение для белых создалось безвыходное.

Наконец одному мичману удалось ползком пробраться в машину. Он поместился на верхней площадке около дверей и оттуда начал командовать:

— Механик! Полный назад!

Для меня ясно стало, что хотят выбраться из бухты, не поднимая якоря. Но я не так глуп, чтобы пустить машину во всю силу.

В свою очередь, я приказал машинисту:

— Скажите кочегарам, чтобы шуровали хорошенько. Иначе нам не выбраться из этой кутерьмы.

— Хорошо,— ответил он и кинулся в кочегарку без разговора.

Я успел крикнуть ему вдогонку:

— И вы сами последите за ними!

Мною сделано все, чтобы взорвать цилиндр. Я с нетерпением косился на водомерное стекло. У меня было такое чувство, как будто я схватил противника за горло и оставалось только придушить его.

Мельком взглянул на часового. Он поднялся по трапу на несколько ступенек и остановился. Для чего-то пощупал гранату за поясом и запрокинул голову, глядя вверх.

— Полный вперед! — доносился до меня тревожный голос того же мичмана.

Я передвигал регуляторы. Машина работала. «Лебедь» дрожал, точно чувствовал приближение грозы.

Якорь, по-видимому, крепко вцепился железными лапами за грунт. Судно могло двигаться взад и вперед лишь на том расстоянии, на какое позволяла ему длина каната. Мы болтались так, меняя ход, довольно долго.

Вдруг я заметил, что вода в водомерном стекле запузырилась. Немного погодя оно побелело, точно налитое молоком. Сейчас должен быть конец. Несколько минут осталось жизни.

«Война есть война!» — с хладнокровием повторял я про себя.

Я пустил машину на полный ход.

Якорный канат не выдержал — лопнул.

Офицер торжествующе заорал:

— Наконец-то, черт возьми, пошли!

Он высунул голову из машинного отделения наружу и высоким срывающимся голосом распорядился:

— Передайте рулевому в рубке — пусть правит в море!

В машине послышался толчок, потом другой, сильнее. Я догадался, что это значит. Успел прыгнуть за дверь кочегарного отделения. Раздался удар, точно из пушки, за ним второй, более резкий, с металлическим звоном. Крышка цилиндра от высокого давления вырвалась и с грохотом обрушилась вниз. Все машинное отделение наполнилось паром, довольно горячим даже внизу. Он травился со страшной силой, с свистящим шипением. Создавался такой шум, в котором глохли крики обезумевших людей.

Точно сквозь туман я увидел, что внизу на железной настилке что-то копошилось. Подошел ближе, нагнулся. Это оказался часовой с разорванным животом — он извивался, пытался вскочить и опрокидывался. Вспомнилась граната, заткнутая за пояс.

На мгновение я оцепенел, но тут же бросился к левому борту, туда, где находились кингстоны. На пути увидел свалившегося мичмана. Он еле ворочался, разбитый и ошпаренный. Работать мне пришлось вслепую, в клубах обжигающего пара. Привычные руки быстро отвинчивали гайки. Одна лишь мысль сверлила мозг — скорее, скорее. Наконец крышки кингстонов были отброшены напором воды. Она с ревом начала врываться внутрь судна. Что мне еще оставалось выполнить? Я схватил кувалду и начал колотить по золотниковым штокам спасательной помпы. Замысел мой осуществился полностью. Никто больше не спасет судна. Триста человек вычеркнуты из жизни. Как бы желая убедиться в этом, я с минуту постоял на одном месте. Рев воды смешался с свистящим шипением пара. Я слушал эту музыку, стиснув зубы. Все шло ладно, как нельзя лучше.

Осматриваюсь. Мичман лежит трупом. Нагнувшись, перехожу к другому борту. Темным пятном выделяется



распластанный часовой. Я почему-то говорю ему, мертвому:

— Так-то, брат.

Больше мне нечего делать. Остальное пойдет само собой. Нужно попробовать, нельзя ли спастись. Под настилкой у меня спрятан пробковый нагрудник. Я схватил его и бегу в кочегарное отделение. Здесь ни одного человека. Очевидно, все побежали по трапу, непосредственно соединяющемуся с верхней палубой.

Прежде всего надо освободить топки от огня. Это уменьшит шансы на взрыв котлов. С гребком в руках я работаю за пятерых, обливаясь потом. Над настилкой показалась вода, поднимается все выше и выше. «Лебедь» накренился на левый борт, беспомощный и жалкий. Но у меня в душе ни чувства страха, ни раскаяния.

Когда вода залила топки, я остановился и прислушался. Из машины все еще доносился шум вырывающегося пара. Над головою ржали лошади, с дикими воплями кричали люди. Я отчетливо представлял положение противника. Оно было безнадежным. На судне оставаться нельзя: оно само погибало. Белые бросались за борт, искали спасенья в воде, постепенно проваливаясь в пучину. А с берега ловкие стрелки без промаха разбивали черепа и вонзали штыки в тела тех, кто достигал подножия сопок.

Я надел на себя пробковый нагрудник. Подождал немного, пока еще не поднялась вода. А потом открыл люк прогара и полез в дымовую трубу. Крики наверху реже.

Проходит еще некоторое время. Котлы покрываются водою. Судно, избавившись от крена, стоит прямо. Пар исчез. В отверстие трубы виднеется круглый кусок потемневшего неба. Загораются звезды. Должно быть, наступает ночь. Вокруг меня что-то жутко бурлит. Это вырывается наружу где-то задержавшийся воздух.

Я подсчитываю шансы на спасение. Сколько их? Пять из сотни. Нет, меньше. Почему-то кажется, что сейчас взорвутся котлы. Взлечу на воздух. Есть и другая опасность: корабль может сесть на мель, тогда мне не выбраться из этой черной дыры. А я уже плаваю в железном круге, диаметр которого не больше двух аршин, и коченею от холода. Зябко стучат зубы.

Всхрапывают лошади. Кто-то надрывно тянет:

— Товарищи... Спасите...

Другой хрипло умоляет:

— Глоточек воды... В груди жжет...

Это остались на палубе раненые. Стоны их терзают мозг, выворачивают душу. Уничтожены триста человек. Я — главный виновник их гибели.

А у них, как и у меня, тоже есть жены и дети, есть матери.

Я запрокидываю голову и смотрю в небо. Бесстрастно горят далекие лампады. Я спрашиваю, точно делая кому-то вызов:

— Ну что?

Нет, ничего мне не осталось, как только разбить свой череп об эту проклятую трубу.

Но тут, как всегда, всплывает лукавая мысль. Она оправдывает какое угодно действие. Вспоминаются товарищи, что остались закупоренными в барже.

«Лебедь» вдруг качнулся, вздрогнул, точно испугался своей гибели. Под ним расступилась вода. Он с гулом начал проваливаться. В ужасе заржали лошади, бросая к звездам последний свой крик. Сверху, через трубу, ухнув, обрушилась вода, смяла своею тяжестью. Я завертелся в водовороте, опускаясь вместе с кораблем на дно.

Пробочный нагрудник выбросил меня на поверхность. С забитыми легкими, задыхаясь, я поплыл к ближайшему берегу.

Как выдержали мои мускулы? Как не оборвались нервы?

Вдали, у подножия сопок, виднелись пылающие костры. Мелькнула догадка, что это лагерь партизан. Раздавленный и закоченевший, я полз туда, как собака с перешибленным хребтом, полз вдоль берега и орал до хрипоты.

— Стой, чертова голова! — раздался вдруг грозный окрик.— Куда прешь?

Остро нацелились штыки, готовые вонзиться в мое полумертвое тело. Я почувствовал отвратительный холод стали. Проваливаясь куда-то, слепой, я успел простонать:

— Где сын мой, Раздольный?

Показалось, что я опять очутился в черной трубе. Страшный водоворот крутил и затягивал меня вниз. Но



чьи-то руки крепко охватили за плечи, трясли. Я отчетливо услышал голос:

— А, вот он где нашелся...

Меня подхватили на руки и куда-то понесли. Я качался, как на волнах. Одна лишь мысль тяжело ворочалась в голове: как можно ходить по воде? А когда увидел костры и людей, начал кричать, что «Лебедь» потоплен мною. Скалились лица, сотни лиц, кружились фигуры, пожимали мне руки, тормошили. Николай почему-то превращался в Павлика, а потом Павлик вырастал в Николая. И все это провалилось в тьму, как в угольную яму. На смену явились кошмарные видения. Так продолжалось до утра.

Я удивился, что на мне чужая сухая одежда. Ветер ласкал лицо. Вершины деревьев чертили ясную синь неба. В шум тайги странно вплетались человеческие голоса. И еще больше удивился, что вместо Николая около меня крутился Павлик, а рядом с ним стоял Егорка.

— Папа, мы знали, что «Лебедь» идет к нам,— восторженно сообщил Павлик.

— Как ты очутился здесь? — спросил я, задыхаясь от радостного волнения.

— А нас с Егоркой привел — знаешь кто? Товарищ Евсеенко. Помнишь — рулевой с «Лебедя»? Мы теперь с Егоркой костры разводим и чай кипятим для партизан. Нам самый главный начальник поручил это дело. Честное слово! А Николая выбрали начальником штаба. Какой он сердитый стал! А уж задается! Через губу больше не плюет...

Павлик торопился рассказать мне все, что ему известно. А я, все еще больной, с трудом воспринимал действительность, плохо верил в то, что нахожусь на твердой земле, среди партизан.

В стороне стояли пленные, окруженные часовыми. Их набралось человек сорок. Это были люди с того света. Николай, сурово-возмужалый, не похожий на прежнего наивного подростка, производил над ними следствие. Смутно помню, как сортировали пленных. Из одной кучки смотрел на меня Маслобоев, пришибленный и скучный, как безнадежный пациент в ожидании доктора.

— Отпустите его на все четыре стороны,— попросил я за машиниста.

Партизаны немного подумали и объявили Маслобоеву о моем желании. Он поднял голову, оглядел всех воскресшими глазами.

— Товарищи! Я по глупости своей был на другой стороне. А теперь прошу — можно мне остаться с вами?

Одобрительно заревели голоса.

Из пленных человек десять повели в сторону.

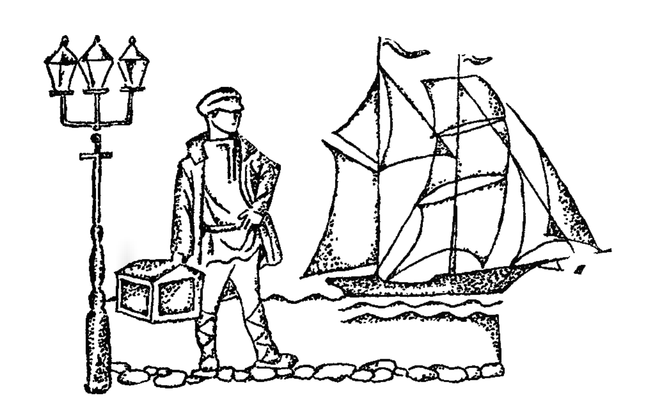
Тайга огласилась дикими воплями.

Недалеко, в окружении щетинистых сопок, голубела бухта «Отрада». От парохода «Лебедь» виднелась лишь верхняя часть мачты. Она поднималась над водою крестом, как символ разыгравшейся здесь трагедии.



# КАПИТАН ПЕРВОГО РАНГА

РОМАН



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

Захар Псалтырев, о необыкновенной истории которого я хочу рассказать, с новобранства находился со мною в одном взводе. Мы были с ним одинакового роста и поэтому, выстраиваясь на дворе флотского экипажа для маршировки, становились рядом. Он был моим соседом и по жилому помещению. На третьем этаже большого кирпичного корпуса, в одной из четырех камер, занимаемых нашей ротой, койка Захара Псалтырева стояла третьей от моей. Таким образом, я имел возможность наблюдать за ним днем и ночью.

Помню, в экипаж он явился в домотканом коротком зипунишке, в облезлой заячьей шапке, в лаптях, с небольшим сундуком за спиной. Засунув сундук под койку, он уселся на нее, снял с кудрявой темно-русой головы шапку и распахнул зипун. Потом пытливо оглядел большими серыми глазами камеру. Длинная, она вмещала в себе более сорока коек, расставленных в два ряда, причем между каждой парой коек возвышалось по шкафу. На продольной фасадной стене висели в рамках какие-то правила для матросов, изображения золотых погон флотских чинов, патриотические лубочные картины. С другой поперечной стены, из посеребренного киота, строго смотрел на людей покровитель моряков — Николай-чудотворец. Лицо Псалтырева, обескровленное деревенской нуждой, на момент приняло выражение

беспредельной тоски. Но сейчас же он расправил, словно от усталости, широкие, крутые плечи и, тряхнув кудрявой головою, промолвил:

— Ну, ладно! Начало сделано. Остается немного — только семь лет прослужить.

Кто-то из новобранцев посмеялся над ним:

— Что ж это ты явился во флот в таком наряде?

Псалтырев, не смущаясь, ответил:

— А для чего мне другой наряд? Казенное добро получу,— защеголяем.

Мы все были подстрижены нолевой машинкой. На второй день нас сводили в баню. Недели через две мы все оделись в одинаковую флотскую форму.

За это время мы перезнакомились друг с другом. Мы уже о многих знали, откуда кто пришел, какая семья у него осталась, знали, кто женат и кто холост и чем занимался дома. По праздникам у нас учений не было, но в город все равно никого не отпускали. Приходилось сидеть в камере и скучать.

Прошло две недели, как мы поселились во флотском экипаже, а некоторые новобранцы все еще с завистью относились к тем, которые по каким-либо причинам были забракованы приемочной комиссией. Тут же вспоминались разные случаи.

Захар Псалтырев, прислушиваясь к разговорам, долго молчал, а потом заявил:

— А я очень рад, что попал на службу.

Говорившие повернули к нему головы и с удивлением уставились на него.

— Что дома ел? Квас с картошкой, квас с редькой да постные щи. А здесь скоромным супом кормят и кашу дают. Я сам напросился во флот. В нашем селе Хрипунове никакой речушки нет. Воду можно увидеть только в колодцах и в лужах во время дождя. Одно лето мне все-таки подвезло. Работал батраком на Оке. Это будет от нас верст сто. Там и плавать научился и пароходы повидал. А теперь моря и океаны увижу. И уж очень мне хочется узнать, как военные корабли устроены. Может, какой-нибудь специальности обучусь.

— Черт с ней, со специальностью, лишь бы дома остаться! — сказал один из новобранцев.

Псалтырев строго посмотрел на него:

— Если так каждый будет рассуждать, то мы без армии и флота останемся. А тогда другие государства



раскромсают нашу Россию по частям и приберут к своим рукам. Хорошо будет?

Он улыбнулся и заговорил о том, как гуляли «забритые».

— Эх, и закуролесили мы напоследок! Дым коромыслом стоял! И говядинки поели. Известное дело — все родители режут для рекрутов живность. Так уж исстари повелось. И моя мать то же сделала. Были у нас три курицы и петух. Пожалела она курицу: яйца, мол, будет нести. Взяла да и отрубила голову петуху. Такого красавца больше не найти. Сильный, пером огненный. Запоет, бывало,— на всю волость слыхать. А насчет драки — во всем селе ни один не мог против него устоять. На спор я на нем целковых пять выручил. Вот до чего жалко такого петуха! Лучше бы мать овцу зарезала.

Время шло, но мы, несмотря на молодость, чувствовали себя подавленными. До рекрутчины у каждого из нас была какая-то своя особая жизнь, свои занятия, родственники, друзья, знакомые. Почти до двадцати двух лет, начиная с детства, мы жили — одни в городах, другие в деревнях,— привязанные к привычным условиям. И вдруг связь с прошлым оборвалась, и наша жизнь должна продолжаться в новой обстановке. Нас пугали стены казармы. Мы ложились спать по приказу начальства, вставали утром под игру горнистов и грохот барабанов. Без разрешения фельдфебеля мы не могли завтракать, обедать, ужинать. Инструкторы оглушали нас бранью, а мы вытягивались перед ними, выслушивая их грубые наставления. Если у кого из нас был слабо подпоясан ремень, то инструктор сам затягивал его, до боли нажимая коленом на живот. Казалось, что мы перестали принадлежать самим себе, перестали быть людьми. Все первоначальное учение сводилось к тому, чтобы в новобранцах заглушить самостоятельную мысль и превратить их в послушные и нерассуждающие автоматы. Многие из нас старались заглянуть вперед — что же будет дальше? И служба нам рисовалась нудной, как осенняя слякоть, и невероятно длинной, как этапная дорога через Сибирь.

Не унывал только Псалтырев. Его серые глаза, роговицы которых были усыпаны маленькими, как маковые зерна, сияющими точками, смотрели на все с жадностью,— так хотелось ему скорее разобраться в новой жизни. Каждое движение его было неторопливо и рас-

считано. А месяца через полтора он стал выявляться перед нами как исключительно даровитый человек. В самых простых вещах он видел намеки на что-то интересное, чего другим было невдомек. Всем людям, например, свойственно летнею порою любоваться цветами. А Псалтырев не только любовался, как все, но и более глубоко над этим задумывался. И в беседах с новобранцами у него возникали самые неожиданные, озадачивающие товарищей мысли.

Однажды после занятий, утомленные, мы расположились на койках. Один из новобранцев утирался носовым платком. Увидев на платке вышитые васильки, Псалтырев спросил:

— Цветы, должно быть, любите?

— Невеста на прощание подарила,— ответил тот.

— Ах, цветики-цветочки! Они для меня загадка.

Псалтырев оглядел всех и продолжал:

— Помню, оставался у меня на огороде квадратный аршин свободной земли. И посадил я на нем разные цветы. Почва была одинаковая, одинаково на нее светило солнце, и одинаково орошали дожди. А почему-то рядом росшие былинки зацвели все по-разному. На одном и том же месте пестрели красные, синие, желтые, розовые цветки. Откуда же, спрашивается, берут они свои особенные краски? С неба, что ли, или из земли? Ведь каждый из нас и на лугах видел то же самое.

Вопрошающим взглядом Псалтырев обвел присутствующих, но в ответ на него уставились недоумевающие лица. И мнение всех выразил один новобранец огромного роста и могучего телосложения. Почесав стриженый затылок, верзила мрачно пробасил:

— Вот черт! Какой дотошный!

— Чудно, правда, получается. Откуда у травы такие расцветки? — отозвался другой тоненький голосок сзади.

— Как будто какой-то невидимый художник так их разукрашивает,— добавил самый грамотный из нас.

На минуту все задумались.

А у Псалтырева уже готов другой вопрос:

— Или вот еще сохатый. Ну, чем этот лось-бык питается? Травы, прутики, кора и хвоя. Пища мягкая, а рога-то какие у него бывают — твердые и крепкие, словно камень. Зимой сбросит, а за год они опять у него вырастают, да еще на один отросток прибавятся. Как и



отчего каменеют рога — тоже непонятно. А ведь, наверное, есть такие ученые люди, которые все знают. Хорошо бы с таким знатоком поговорить. Спросил бы я его еще о желудке. Всякую снедь он в животе переваривает, а сам остается цел, словно чугунный. Просто диву даешься, как это он вместе с пищей сам себя не переварит. А попади он в другой желудок — тоже переварится. Вот тебе и чугун!

Так Псалтырев огорошивал нас многими странными вопросами, разрешить которые не были в состоянии ни мы, ни он сам. Его любознательность удивляла товарищей. Без устали он допытывался обо всем, стремился проникнуть в самую суть окружающих вещей. Малограмотность не мешала ему знать много песен, былин, сказок. У него была необыкновенная память. Говорил он складно, пересыпая свою речь пословицами и неожиданными сравнениями. Приходили послушать его новобранцы и из других камер. Своими сказками он отрывал нас от гнетущей действительности и уносил в мир фантазий и необыкновенных приключений. Собиравшиеся вокруг него люди то слушали, затаив дыхание, то разражались молодым, задорным смехом,— в зависимости от того, что он рассказывал.

## II

Однажды вечером, после словесных занятий, инструктор Храпов подозвал к себе новобранца Филатова, дал ему пять копеек и тихонько сказал:

— Сбегай в лавочку и купи для меня фунт колбасы.

Филатов, не поняв, в чем дело, робко заявил:

— Господин обучающий, фунт колбасы стоит восемнадцать копеек.

Инструктор рассердился:

— Чубук! Исполняй то, что я тебе приказал! И принесешь мне гривенник сдачи!

Озадаченный Филатов рассказал об этом другим новобранцам.

— Брось ты этот пятачок в его поганое рыло! — посоветовал ему Псалтырев.

Но все начали возражать против такого совета.

— Ну и пойдет Филатов под суд. Хоть инструктор и маленький, а все же начальник. А начальник всегда

останется прав. Этот его приемчик уже давно известен.

— Да, это, пожалуй, верно,— согласился Псалтырев.— Если часы врут, то всегда бывает виновата минутная стрелка.

У Филатова навернулись слезы. Ведь те двадцать три копейки, которые он на этой покупке должен был потерять из собственного кармана, равнялись почти половине его месячного жалованья. Но он скрепя сердце побежал в лавочку. Мы разговорились о жадности инструктора, а через минуту уже все слушали только одного Псалтырева, у которого на всякий житейский случай был свой пример.

— Чей в селе лучший дом стоит рядом с церковью? Ну, известное дело,— попа. Тот поп, о котором я хочу рассказать, был жадности непомерной. Вставал он раньше всех и будил своего работника и работницу, чтобы не ели они даром хлеба. Как-то в субботу он поднялся с кровати на заре и взглянул в распахнутое окно. Тихо. Село еще спит. Только один кривой мужичок, по прозвищу Свят-свят, хитрый-прехитрый человек, суетится что-то около поповского колодца. А прозвали этого мужичка потому так, что он был заугольышем и будто бы родился от вдового дьякона. Таращит батюшка глаза на колодец и не верит самому себе. Что же это такое происходит? Не дьявольское ли это наваждение? Или это все представляется ему во сне? Подергал поп себя за сивую бороду, ущипнул уши — больно. Стало быть, это не во сне. А с другой стороны, разве не диво, что мужичок ловит удочкой рыбу в колодце? Из окна хорошо видно, как она трепещется, когда Свят-свят вытаскивает ее наверх. Спешно натягивает поп штаны на ноги, набрасывает подрясник на плечи и выходит на улицу. Еще издали кричит мужику:

— Ты что тут делаешь?

— Карасей ловлю,— отвечает кривой мужичок и целится одним глазом на попа.

— Откуда же могут быть тут караси?

— Значит, бог послал.

Подходит поп ближе и смотрит в ведро, а в нем действительно штук двадцать живых золотистых карасей. Все как на подбор — по фунту в каждом будет. От зависти он даже задрожал. А Свят-свят вытаскивает удочкой из колодца еще одного карася и говорит:

— Теперь хватит с меня на уху.



Набросился поп на кривого мужичка за то, что наловил он рыбу в чужом колодце,— хотел отнять у мужичка добычу, а тот угрожает:

— Вот расскажу людям, что в твоем колодце караси водятся. Придут они и всю рыбу выловят. А ее тут, надо думать, пудов двадцать будет.

Отступил батюшка и просит никому об этом не говорить. Свят-свят ушел. А батюшка потом целый день провел в хлопотах: то удочки бегал искать, то лесы готовил,— для этого ему пришлось вырвать волосы из хвоста своей кобылы,— то удилища приспосабливал. А сам все время думал, как завтра, в праздник, попадья нажарит ему карасей в сметане и с каким аппетитом он будет их кушать. А у матушки в этот день случилось большое горе. Знала она, что ее батюшка любит водку, настоенную на черной смородине. А делала она это хорошо: сначала на ягодах настаивала спирт, а потом разводила ее водой на любую крепость. И вот попадья приготовила такой настойки целое ведро, процедила ее сквозь сито и разлила по бутылкам. Но что делать с оставшимися ягодами? Попробовала их есть — горькие. Спиртом они пропитались. Как ни жалко было попадье, а пришлось ей эти ягоды выкинуть во двор. А там ветерком их продуло — перестали они пахнуть спиртом. Первым наткнулся на них петух. Проглотил он одну ягоду, другую — ничего. И давай созывать всех своих жен. А их у него было более двадцати штук. Набили они свои зобы наспиртовавшимися ягодами и захмелели. Веселье пошло среди них небывалое: петух качается и все время поет, куры кудахчут и тоже качаются. Некоторые из них заспорили между собой и пустились в драку,— может быть, из ревности к петуху. Другие уже на боку лежали, а продолжали голосить. Словом, закуролесили птицы, точно пьяные люди в трактире. Потом одна за другой начали замолкать, и все подохли.

Попадья до того расстроилась, что прямо волосы на себе рвет. Какой убыток! И кушать кур нельзя — дохлые. Приказывает она кухарке ощипать их, чтобы хоть не пропали перья. Та сделала свое дело, сложила птичьи тушки в переулок и крапивой прикрыла. Забоялась, что на дворе они могут загнить и нехорошо будут пахнуть. А в переулке авось за ночь собаки растащат их.

Случилось это вечером под воскресенье. Поп ничего

не знал о курах и всю ночь думал только о карасях. Встал он на заре, осмотрел все вокруг двора, не подглядывает ли кто, и пошел к колодцу. А кривой мужичок Свят-свят встал еще раньше и побежал по селу. Будит он народ и говорит каждому:

— Наш батюшка с ума спятил.

— А ты откуда об этом проведал? — спрашивают его.

— Удочкой ловит рыбу из своего колодца. Кто же в здравом уме будет это делать?

Взбаламутились мужики и бабы и заторопились к поповскому дому. Кто из-за угла, кто с огородов смотрят они на своего батюшку. А тот действительно запускает в колодец удочки. Никаких карасей, конечно, там не было. Ведь кривой мужичок Свят-свят наловил их в озере, а не в колодце. Надул он попа. Долго батюшка возился с удочками и с досады плевался: хоть бы одна маленькая рыбешка попалась. Заметил он, что мужики и бабы глазеют на него, сконфузился и побежал в свои хоромы.

Скоро заиграл на рожке пастух, и со всех дворов стали выгонять скотину. Бабы высыпали на улицу, и тут уже все, от малого и до старого, узнали, что поп свихнулся. Когда заблаговестили к заутрене, весь народ повалил в церковь, чтобы посмотреть, что будет делать взбесившийся поп. Но в этот день никто не попал в божий храм. Около него началось что-то невиданное. Оказалось, что поповские куры не сдохли, а были только пьяными до бесчувствия. Ну так же, как это бывает с человеком,— другой напьется водки до того, что пластом лежит и еле-еле дышит. А у кур кто же заметит дыхание? И вот эти «дохлые» птицы за ночь отрезвели и воскресли из мертвых. Вот тут-то и пошла потеха. Петух не узнает своих жен, куры не узнают своего мужа и своих подруг. Ведь им никогда не приходилось видеть себе подобных голыми, без единого перышка. В испуге, с криком шарахаются они друг от друга в разные стороны, словно тоже спятили с ума. А народ животики надрывает от смеха, улюлюкает. Попадья приказывает работнику и работнице переловить кур и порезать их. Да разве такую уйму скоро переловишь? Про церковь все забыли. Тут уж не до нее, коли на улице такое представление идет, какого не увидишь ни в одном цирке. Церковный сторож сказал об этом попу. Тот прямо в ризе и с кадилом в руке выскочил на паперть. Как глянул он, что делается на улице, глаза у него на лоб полезли: визг, хохот, крики, голые куры туда и сюда мечутся, а за ними его работник и работница гоняются изо всей мочи. Перекрестился поп и понесся прямо в ризе к себе домой. А кривой мужичок Свят-свят кричит ему вслед:

— Подожди, батюшка! Давай карасиков в колодце половим!

До самого полдня народ не расходился и даже вспотел от хохота.

Наконец всех кур зарезали. Но что с ними делать дальше? В погребе у попа не было снега, а так они могут протухнуть. Батюшка с матушкой надумали зажарить сразу всех кур и от жадности так наелись, что оба заболели животами. А народ уверился, что не только поп, но и попадья сошла с ума. С той поры перестали ходить в церковь. Решили, что через такого попа никакая молитва не дойдет до бога.

После того как новобранцы посмеялись, я спросил Псалтырева:

— Откуда, Захар, ты столько знаешь сказок и песен?

Он охотно объяснил:

— От бабушки. Она первая сказочница на селе. И плакальщицы такой нигде не сыскать. Ее на свадьбы часто приглашают — поплакать по невесте. Вот уж начнет причитать — кажется, камни прослезятся.

— А почему фамилия у тебя церковная? Отец у тебя не псаломщик?

Захар Псалтырев усмехнулся:

— Почти что... Когда-то он мог железную кочергу скрутить, как веревку. Да простудился, ревматизм нажил себе. С клюкой стал ходить. Работать ему стало не под силу. Приспособился он псалтыри по покойникам читать. Вот и дали ему прозвище — Псалтырев. А писарь, истукан, и меня по уличной кличке записал. А ведь как говорится: дурак завяжет — и умный не развяжет.

Подумав немного, Захар добавил:

— Жаль отца. Трудно теперь ему без меня. Все хозяйство теперь лежит на матери да на младшей сестренке. А человек он с головой. Сам научился грамоте в

меня научил. Сначала я мог только по-славянски читать. Потом мне попался оракул и сонник. Вот по ним-то я научился и другие книги читать, то есть не церковные. Только мало их у нас в селе, книг-то.

Захар был худ, но обладал такой широкой костью и такими мускулами, что с ним никто не мог бороться. Двухпудовой гирей он забавлялся, как мячиком, подбрасывая ее до двадцати раз подряд выше головы и не давая ей упасть на землю.

Вскоре в нем обнаружилась еще одна особенность: страсть перенимать всякое дело самоучкой. Товарищи по службе удивлялись, как ловко он подшивал им сапоги, не будучи никогда сапожником, перекраивал казенные брюки и фланелевые рубахи, прилаживая их под рост тех, кем они были получены. К любому замку он мог сделать новый ключ вместо потерянного, умел починить остановившиеся часы. А разобрать на части винтовку и снова собрать ее для него ровно ничего не стоило. Это он мог бы сделать даже с завязанными глазами.

— Цепок на всякую работу! Золотые руки! — отзывались о Псалтыреве его товарищи.

— Вот бы такому парню да образование дать,— далеко бы он пошел! — восхищались многие, глядя на то, как под складным ножом Псалтырева простая деревянная чурка постепенно превращалась в модель корабля. Это было в недолгие часы отдыха.

Но ничего нельзя было изменить в те однообразно жуткие часы, когда до способностей Псалтырева не было никому никакого дела. Большого начальства мы еще не знали, а маленькое только калечило нас по-своему... Помимо старшего инструктора, нас обучал строевому делу его помощник, младший унтер-офицер Карягин. Такая фамилия никак не подходила к этому маленькому, рыжему, осыпанному веснушками человеку. Худой и малосильный, он вместе с тем обладал чрезвычайной подвижностью и беспокойным характером. Он никого не бил, но мучил нас до изнеможения. По его приказанию мы во время учений на дворе ложились в грязь. Иногда мы бегали по двору до тех пор, пока от нас, как от загнанных лошадей, не начинал клубиться пар. Все это казалось нам лишним и ненужным, как было не нужно держать винтовку на прицеле до дрожи в руках.



Псалтырев однажды сказал о Карягине:

— Такие же вот тощие бывают клопы в заброшенной избе. Поглядеть на них — одна шкурка осталась. Но не дай бог человеку к ним попасть — заедят.

Новобранцы зло посмеялись над таким сравнением, но кто-то из них передал об этом Карягину. Он стал придираться к нам еще больше. В особенности доставалось Псалтыреву. В своей мести помощник инструктора всячески изощрялся над ним.

— У тебя нос не в порядке — прочисти!

Мы продолжали свои строевые занятия, а Псалтырев, выделенный из взвода, стоял на отлете и в продолжение десяти — пятнадцати минут громко сморкался. Это повторялось изо дня в день. Кроме того, Карягин придирался к нему, что он будто бы не умеет отдавать честь, и придумал для него особое учение. Он заставлял Псалтырева проходить мимо столба, стоявшего во дворе, и козырять дереву, как офицеру. При нашем экипаже жил лохматый пес из дворняжек, по кличке Триссель. Старый, с поврежденным позвоночником, он не мог уже бегать. Карягин становился в конце двора и манил Трисселя к себе. Пес послушно шел на зов, неуклюже расставляя задние ноги. Псалтырев должен был идти ему навстречу и за три шага становился во фронт, словно перед адмиралом.

Карягин выкрикивал звонким тенором:

— Плохо, Псалтырев! Отставить! Повтори!

И снова начиналась комедия, над которой, однако, никто из нас не смеялся. Это было выше нашего понимания, особенно после пространных разговоров на уроке словесности о высоком значении офицерского чина. Как же это так? Нам настойчиво внушали самое глубочайшее уважение к начальству вообще, а тут выходило наоборот: адмиральские почести воздавались какой-то паршивой собаке. В наши головы, забитые строжайшими правилами чинопочитания, Карягин своими выходками вносил сумятицу. Мы были наивны, и никто из нас не знал, что и подумать о таком, как казалось нам, кощунственном нарушении дисциплины.

## III

Каждый из нас, будучи еще в деревне, много понаслышался об Иоанне Кронштадтском. Слава о нем гремела по всей стране. Почти в каждой избе среди икон

можно было увидеть его портрет. Этот священник заживо был зачислен в бесконечный сонм святых. О нем писали в газетах, а устная молва разносила, что он может изгонять из женщин бесов и вообще творить всякие чудеса. Был случай, когда буйно помешанный будто бы сразу же вылечился от одного только его благословения. Кроме того, он считался ясновидцем. Достаточно человеку лишь о чем-нибудь подумать, как он узнавал его мысли. В необыкновенную силу этого священника люди верили, ему молились, и каждый просил о своем: хворые — об исцелении от болезней, преступники — о прощении грехов, богатые — о ниспослании еще большего богатства, бедные — об избавлении от голода, бесплодные — о нарождении детей, нелюбимые — о любви. И как магометане в Мекку, так и православные со всех концов России тянулись в Кронштадт, чтобы присутствовать при богослужении отца Иоанна. От наплыва людей в этот город хорошо богатели хозяева гостиниц.

Иногда матросы назначались начальством для охраны священника. Выйти ему из боковой двери Андреевского собора и пройти до кареты, стоявшей за оградой, было очень трудным делом: богомольцы, бросаясь под благословение отца Иоанна, могли сбить его с ног. Вот здесь-то и требовалась помощь со стороны солдат или матросов. Они выстраивались в две шеренги, одна против другой, и, ухватив друг друга за руки, образовывали собою коридор. В такой коридор могли проникнуть только богатые люди, подкупив полнотелую женщину Снигиреву, «батюшкину овцу», как она сама себя величала, или проворного белокурого псаломщика.

Старые матросы по этому поводу смеялись:

— Выходит, что без денег так же нету тебе божьей благодати, как и хорошей выпивки и закуски в трактире.

От них же мы узнали, что Иоанн Кронштадтский очень богатый человек. Ему шлют деньги со всех концов России. Секретарь его ежедневно ходит с большой кожаной сумкой на почту и получает там мелкие и крупные переводы. Правда, когда отец Иоанн едет в коляске, то разбрасывает нищим медные и серебряные монеты, но это все делается больше для славы. Крупные суммы остаются при нем. Он имеет собственный дом, выезд и пароход. Какой же это святой? Вся эта критика, услы-



шанная нами от старых матросов, сопровождалась страшной руганью.

Один из новобранцев нашего взвода, метко прозванный Стручком, был высок, тонок и сутул. Судя по его гибким и нежным рукам, он никогда не занимался физической работой. Во время молитвы в роте он отличался большим усердием и, обладая хорошим баритоном, очень красиво пел. В его синих, как весеннее небо, глазах светились наивность и задушевная простота. Но за этими располагающими внешними признаками в нем скрывалась большая хитрость. Как только он заявился в экипаж, то первым делом подарил инструктору Храпову серебряные часы. Тот ко всем новобранцам относился с особой жестокостью, а к нему сразу же проникся любовью. У Стручка было много денег, и каждую неделю появлялись новые карманные часы. От родителей он ничего не получал. Откуда же у него такие доходы? И только, поживши с ним, мы узнали, в чем дело. Это был мошенник-профессионал. С неподражаемой ловкостью он, как выражаются матросы, «запускал водолаза» в чужие карманы. Но, как волк не беспокоит скотины той деревни, вблизи которой он проживает, так и этот новобранец никогда не позволял себе обидеть кого-либо из своих людей. Наоборот, он старался всячески ублажать нас.

Под видом набожного человека он каждый праздник отпрашивался у инструктора в Андреевский собор, где обыкновенно отправлял свое богослужение Иоанн Кронштадтский. Храпов охотно отпускал Стручка. Мы оставались в роте и скучали. Как дети ждут ласкового отца с базара, зная, что он привезет им подарки, так и мы с нетерпением поглядывали на дверь. Появление Стручка было для нас большой радостью. Он приносил карманные часы, бумажники, портмоне. Инструктор Храпов получал от него денежную награду. Не оставались и мы в обиде: для нашего взвода он покупал пуд баранок, полпуда колбасы, полведра водки, наделяя при этом каждого доброй горстью конфет. Новобранцы, изголодавшиеся на казенных харчах, с жадностью набрасывались на еду и водку. Если у Стручка выручка была особенно солидной, то пиршество продолжалось два дня. Товарищи, подвыпив, хвалили его на все лады:

— Ты наш благодетель.

— Пошли, господи, многолетней жизни тебе и отцу Иоанну.

— Без тебя, Стручок, где бы мы могли отведать такое кушанье? Да еще с выпивкой.

Стручок добродушно посмеивался, прищурив невинные синие глаза. Он жил среди нас аристократом. Всеми почитаемый, он выходил только на учебные занятия, но никаких казенных работ не выполнял и даже не стирал для себя белье. Все это делали за него другие новобранцы. Инструктор Храпов, пользуясь его подачками, во всем ему потворствовал.

Однажды Псалтырев спросил его:

— Не грех тебе заниматься в церкви такими делами?

Стручок спокойно возразил ему:

— Пойдем как-нибудь со мной к обедне,— я тебе покажу настоящих грешников. Ты сразу поумнеешь.

Мы с Захаром Псалтыревым имели к Андреевскому собору двойной интерес: хотелось увидеть священника, совершающего чудеса, и работу Стручка.

В один из праздников, по ходатайству Стручка, Храпов отпустил нас в церковь. Для нас это был удачный день: в Андреевском соборе служил сам Иоанн Кронштадтский. По этому случаю в храме собралось столько народу, что с трудом можно было передвинуться с одного места на другое.

Сначала мы стояли втроем недалеко от алтаря. Потом Стручок, чтобы не подвести своих товарищей, начал понемногу отодвигаться от нас. Мы с волнением следили за ним и за алтарем.

Наконец, блестя золотой ризой с голубой вышивкой, появился на амвоне отец Иоанн. По всему храму, словно от порыва ветра в лесу, пронесся сдержанный шорох. Тысяча рук взметнулась,— люди стали креститься. Молился и сам священник. Он был среднего роста, худощав, с русой бородой, с жиденькими волосами, выбившимися на затылке поверх ризы. Но во взгляде его светло-серых глаз было что-то суровое и настойчивое. Возглашая молитву, он как-то странно всхлипывал и произносил каждое слово резко и нервно, как будто отрывал его от своего горячего сердца. Казалось, что он беседует с живым богом, которого никто, кроме него, не видит. Но в то же время не верилось, что это был тот самый священник, слава о котором гремела по всей



Руси. Может быть, потому, что мы успели наслышаться от старых матросов немало насмешек о его делах, у меня невольно возникал вопрос: что это за человек? Действительно ли он обладает чудодейственной силой или просто занимается шарлатанством? Верит ли он сам в свои чудеса? Справа, недалеко от нас, около какого-то купца, стоял Стручок. Когда мы взглянули на него, он приподнял левую бровь. Это, как мы условились, означало, что чей-то карман был им уже очищен. Он стал передвигаться дальше, боясь, очевидно, что обворованный человек, спохватившись, может его задержать. Но могло быть у него и другое соображение: он наметил себе новую жертву. А момент для этого был самый удобный: внимание всех молящихся настолько сосредоточилось на священнике, что они не замечали чужой руки, шарившей в их карманах. Я испытывал двойственное отношение к отцу Иоанну: мне хотелось верить в его священнодействие, и, наряду с тем, меня разъедало сомнение. Если он ясновидец, то почему бы ему сейчас не изобличить этого мошенника? Он должен бы повернуться к народу и громогласно крикнуть:

«Православные! Среди вас есть один человек, по прозвищу Стручок. Это — карманник. Он забыл бога и потерял свою совесть. Вот там он стоит в матросской форме. Один богомолец уже пострадал от него...»

Это произвело бы на всех потрясающее впечатление. Самые отъявленные скептики поверили бы в чудеса отца Иоанна. Но он, как ни в чем не бывало, продолжал свое богослужение, а Стручок, оглянувшись на нас, второй раз приподнял левую бровь.

В соборе пахло ладаном. Перед иконами горели свечи, освещая нарядные лики святых. Множеством огней сверкала богатая люстра. Отец Иоанн скрылся в алтаре. С амвона провозглашал ектенью дьякон, громадный и пышноволосый. С его раскатистым басом как бы перекликался налаженный хор, наполняя храм стройным пением. Все это располагало мирян к молитве и надежде.

Наступил самый напряженный момент, когда все приготовились к всеобщей исповеди. Отец Иоанн вышел на амвон, постоял с минуту перед алтарем, сосредоточенно глядя на царские врата, словно вдохновляясь божественной силой. Внезапно его плечи вздрогнули. Он порывисто повернулся к народу и, нахмурив брови, молча осмотрел всех, грозный, как судья. Тысячи человече-

ских грудей, раздавленных тяжестью грехов, перестали дышать. Стало так тихо, как будто весь храм сразу опустел. Казалось, не отец Иоанн, а кто-то другой взволнованно заговорил за него, необыкновенно строгий и повелительный, не допускающий никаких сомнений:

— Братие во Христе! Я — немощь, нищета; бог — сила моя. Это убеждение есть высокая мудрость моя, делающая меня блаженным. И вы станете блаженными, если избавитесь от грехов своих. Будьте искренни на исповеди. Господь бог наш бесконечно милосерд, он все простит. Кайтесь в содеянных вами грехах.

Он замолчал и, ожидая покаяния мирян, стоял в такой позе, словно приготовился взвалить на свои плечи непомерную тяжесть чужих преступлений.

Какая-то женщина громко взвизгнула:

— Батюшка!

И вслед за этим, словно по сигналу, весь храм наполнился гулом голосов. Это был вопль не менее трех тысяч человек, опускающихся на колени. Казалось, закачались стены Андреевского собора. Я взглянул на Псалтырева. Упрямо наклонив голову, он удивленно озирался, точно бык, попавший не в свое стадо. Чтобы не выделяться среди других людей, мы тоже опустились на колени. Кругом происходило какое-то безумие. Ни в одном доме для умалишенных нельзя услышать того, что происходило здесь. Лишь немногие каялись тихо, а остальные как будто старались перекричать друг друга. Очевидно, им хотелось, чтобы священник услышал их слова,— иначе душа не очистится от грехов. В этом разноголосом гаме можно было понять только тех, кто находился ближе к нам. Рыжебородый купец, мотая головой, признавался:

— Я застраховал свои товары, а потом сам же их поджег. Мне досталась большая страховка. А за меня пошел на каторгу мой сторож.

Пожилой чиновник бил себя в грудь и стонал:

— Грешник, батюшка, я изнасиловал десятилетнюю девочку.

Лысый человек, похожий на ломового извозчика, выкладывал свой грех с надрывом:

— Я спьяна избил свою жену, а на второй день она умерла. И теперь не могу забыть своего горя...

Молодой деревенский парень, несуразно широкий,



с уродливым лицом, хрипел, как в бреду, о том, что он занимается скотоложством.

Около нас худая женщина рвала на себе волосы, колотилась в истерике и вопила:

— Батюшка! Я собственными руками задушила своего ребенка. Сердце мое почернело от греха... Нет мне больше жизни...

Некоторые фразы долетали до нас издалека, и мы не видели, кто их произносил:

— Я родную мать уморил голодом...

— На суде под присягой я был лжесвидетелем...

— Из-за меня удавился мой родной племянник...

Чем дальше шло покаяние, тем сильнее было от него впечатление. Очевидно, к отцу Иоанну съезжались люди, может быть, почитаемые и уважаемые дома, но втайне подавленные ужасными грехами. С высоты амвона он мрачно смотрел на свое коленопреклоненное человеческое «стадо», собранное из непойманных преступников. Что он думал в это время? На его окаменевшем лице не было никаких признаков брезгливости перед мерзостью, извергаемой устами трех тысяч людей. Может быть, он привык к этому, и никакая, самая жуткая, тайна человеческого бытия его уже не удивляла. Но нам было страшно. Здесь, в этом прославленном храме, никто не говорил о каком-нибудь добром поступке. Каждый выворачивал свою душу наизнанку, и сочилась она, как запущенная рана, смердящим гноем. Даже в воображении нельзя было нарисовать себе то, что выкладывалось на всеобщей исповеди. Казалось, вся человеческая жизнь состоит из одних только подлостей.

Началось причастие. Люди, приняв его, будут считать себя очищенными от грехов. Потом они разъедутся по домам, чтобы снова творить свои гнусные дела.

Мы с Псалтыревым вышли из храма.

От ограды собора, около которой уже стояла карета в ожидании отца Иоанна, и до самого его дома вытянулись ряды нищих и калек. Тут были безрукие, безногие, слепые и всевозможные уроды. Они ждали того момента, когда рысак помчит карету. С нее священник одной рукой будет благословлять их, а другой — бросать им медные и серебряные монеты.

— Больше я не ходок в эту церковь,— задумчиво сказал Псалтырев.

— Почему? — спросил я.

— Тошнит, точно я мух наглотался.

Он кивнул головою на калек и заговорил:

— Посмотри на них. Хоть сто раз встречайся они с Иваном Кронштадтским, а все равно у безногих не вырастут ноги, безглазые не станут зрячими, уроды не превратятся в красавцев. Будто бы с божьей помощью он творит чудеса, а такого пустяка не может сделать. Выходит — бог создал солнце, звезды, землю, людей, а помочь этим несчастным у него, оказалось, силы нет. Нет, брат, тут что-то не то.

К нам присоединился Стручок, весело ухмыляясь.

— Ну, как сегодня твоя выручка? — спросил у него Псалтырев.

— Подходящая. Дома подсчитаем. Идем скорее, есть хочется.

И мы втроем, дыша свежим морозным воздухом, быстро направились в экипаж.

## IV

Нас, шесть человек новобранцев, отрядили на кухню чистить картошку. Занятие надоедливое. Время приближалось к полуночи, а у нас работы оставалось еще часа на два. Руки устали, и после дневных учений всем хотелось скорее добраться до своих коек. Но нас развлекал Захар Псалтырев. У него был неистощимый запас разных сказок, легкомысленных и серьезных. Иногда мне казалось, что некоторые из них он сам сочиняет или, во всяком случае, рассказывает по-своему.

— А то вот еще было какое происшествие,— начал Псалтырев ровным и спокойным голосом новую сказку.— После смерти встретились две души. Известное дело,—на тот свет ничего с собою из нарядов не возьмешь. Обе души были голые. Так что нельзя было понять, какое место каждая из них занимала на земле. Только потом выяснилось, что одна душа вышла из царского тела, другая — из тела самого бедного мужика. Перед ними одна только дорога, и похожа она на длинный, бесконечный мост. Других путей никаких нет. Кругом ни леса, ни речки, ни земли — одна пустота. Идут они этой дорогой и никуда свернуть не могут. Обоим скучно стало. Первым заговорил бедняк:

— Ты куда шествуешь, добрая душа?



— Куда дорога приведет. А ты? — спрашивает царь.

— Я тоже. Стало быть, мы с тобой попутчики.

— Да, выходит, так,— неохотно буркнул царь. Он еще не привык, чтобы с ним разговаривали без разрешения, и потому был недоволен.

Мужик хоть и бедный был, но любил поговорить и обо всем полюбопытствовать. Может быть, земляка встретил? И вот пристал он к царю с расспросами:

— Долго жил на земле?

— Сорок лет.

— Что так мало?

— И сам не знаю,— отвечает царь.

— Может быть, на работе надорвался?

— Я совсем не работал.

— Значит, без работы остался? Не с голодухи ль помер?

Сравнение с безработным, как крючком за печенку, задело царя, и он отвечает бедняку:

— Ошибаешься, грубый человек. Еды я имел столько, что некуда было девать. Около меня сколько еще людей кормилось! Мне доставляли пищу со всей нашей страны. Даже из-за границы привозили ее. Тысяча человек была занята тем, чтобы ублажать меня и мою семью. У меня были самые ученые повара, и они трапезу готовили для меня из самых лучших продуктов. Среди зимы я мог есть свежую малину, землянику, яблоки, груши, виноград. Не было на всей земле такого кушанья, какое мне отказали бы подать. А вина какие я пил! Самые дорогие. И наливали их мне в хрустальные бокалы. А разные яства подавали мне на серебряных и золотых блюдах. И пока я обедал, играла музыка. Вообще только было бы у меня какое желание,— все для меня делалось.

— Да,— удивляется мужик,— пожил, видать, ты хорошо. А все-таки в сорок лет скончался. Вот и у нас был такой случай. Недалеко от нашего села жил помещик. Считался первым богачом во всей округе. Земли и леса у него было — за неделю не обойдешь. И скотины он имел больше, чем было во всем нашем селе. А скотина какая! Племенная! И хоромы с садом были на славу. Одним словом, ни в чем нужды не имел. И вот он влюбился в одну бабенку. И бабенка-то была невзрачная — тоненькая, черненькая, на цыганку похожая. Присушила она его, что ли? А только, как познакомился с нею,

закуролесил наш барин. Каждый день у него пошли пиры — танцы, выпивка, музыка, игра в карты. Через два года все просадил. Пришли заимодавцы и выгнали его из дому. Даже негде было ему приютиться. Последнюю одежонку спустил на водку. А тут наступили холода. И пришлось ему валяться под забором. Ну, значит, простудился и помер. Наверно, и с тобой так случилось?

Царь даже обиделся и говорит:

— Либо ты настоящий дурак, либо притворяешься дураком. Да у меня разной одежды осталось столько, что можно было бы одеть целый полк. И такой дорогой одежды никто не имел. И собственные дома остались — не дома, а каменные палаты. В них сотни комнат. Если бы ты увидел, как они убраны и как украшены, ослеп бы от блеска. Кроме всего, я был первым богачом. Все мои подвалы загружены золотом...

Бедняк перебил царя:

— Эх, вот это жизнь! Ничего не делай, а богатства пропасть. Ешь и пей, что твоей душеньке угодно... Радуйся, да и только!

— А мне скучно было,— говорит царь.— Все мне надоело: и почести, и богатство, и пища. Доходило до того, что я и сам не знал, чего мне еще хочется.

Бедняк подумал и говорит:

— Не могу понять: при таком богатстве и так рано ты помер. Я бы на твоем месте тыщу лет жил. Лекарей, что ли, не было около тебя поблизости?

— Были. И какие! Самые отборные, самые ученые. Как только я родился, меня окружили доктора. С тех пор они следили за каждым моим шагом. По их совету я спал, ел, пил, прогуливался. Разных лекарств и снадобий и за свою жизнь принял — счета нет! И заморские доктора приезжали лечить меня. А вот ничего не помогло — я помер.

Бедняка еще больше любопытство заедает:

— Может быть, ты нехристь и ни разу в церкви не молился?

Царь отвечает:

— Ты какой-то чудак. Да ежели хочешь знать, церковь у меня находилась прямо в палатах, и службу справляли в ней архиереи да митрополиты. Это тебе не простые попы! Я мог заставить их служить за меня молебен в любой час. Я по нескольку раз в году исповедовался и причащался. И во многих монастырях мне приходилось бывать. Не раз прикладывался я к святым мощам. И не только я один молился. Со дня моего рождения за меня молились все церкви, все монастыри и больше ста миллионов моих подданных. А когда я захворал, то печальный звон раздавался по всей моей стране. О моем выздоровлении служили молебны и богу, и сыну божию, и богоматери, и всем святым. Не только в церквах, но и во всех домах горели свечи и лампады перед иконами. Да ведь я сам — помазанник божий. А вот — ничто не помогло. Пришла смерть.

— Погоди,— говорит крестьянин.— Кем же это ты на земле был?

— Царем-самодержцем!

— Ах, вот оно что!.. Ты, значит, царем был. Так, так. Ну, понятно: тут, конечно, тебе всего вдоволь хватало. Это ты верно говоришь, что за тебя все молились. Когда нам поп объявил, что ты захворал, то и я пошел в церковь. И моя свечка за тебя горела у Николая-угодника. А теперь выясняется, что впустую я истратился тогда. Да... А прожил ты все-таки маловато: сорок лет. Совсем пустяк! Получается, что и должность-то у тебя была незавидная.

Оба немного задумались. Потом царь спрашивает бедняка:

— А ты сколько жил на земле?

— Хватит с меня,— накинь на сотню пять годков.

— Сто пять лет! — удивился царь и хотел было остановиться, но какая-то невидимая сила толкнула его вперед.

— Я бы и еще пожил, да нанялся у одного торговца лес рубить. Сколько я за свою жизнь лесу свалил! Все сходило благополучно. А тут сплоховал — прихлопнуло меня деревом.

Теперь царь пристал с расспросами к мужичку, как он жил, да что кушал, да на чем спал.

— Богатым я сроду не был. Наше дело крестьянское,— работай всю жизнь, и больше ничего. Избенка у меня осталась шесть на шесть аршин. Да и та сгнила вся,— все равно через годок-другой развалится. Прижили мы с женой двенадцать человек детей. Она была у меня баба исправная, почти каждый год рожала по ребенку. Трое детей померли маленькими, а остальных всех вырастили. Двух дочерей выдал замуж. Один сын погиб на военной службе. Будто он офицера оскорбил

и пошел за это па вечную каторгу. Понять нельзя, как это мой сып мог оскорбить офицера? Уж такой был тихий да работящий малый. Остальные сыновья все живут. А у меня такое было правило: как сравнялось сыну двадцать лет, так катись от меня на все четыре стороны. Пусть сам себе зарабатывает на пропитание. Только самого младшего оставил при себе. Думал, поможет мне на старости лет. Да ничего из этого не получилось. Как-то раз поехали мы с ним в город. Дело было летом. Жара стояла несусветная. Встретились нам подгулявшие купцы. Захотели они позабавиться над моим сыном: уговорили его за двугривенный на солнце смотреть и не мигать. С полчаса он глаз не закрывал, а может, и больше. Уж очень ему хотелось получить двугривенный. Ведь вот какой дурак оказался! Двугривенный он получил и тут же залился горькими слезами: ослеп на всю жизнь. Пришлось мне его кормить... Спрашиваешь, на чем я спал? Да как придется: на печке, на полатях, на лавке. Подстилку сплел из болотной травы. Бывало, постелешь ее, шубенку под голову положишь, дерюгой накроешься — и храпишь себе во все носовые завертки. Да ведь за день так умаешься, что и на голых дровах проспишь. А насчет еды — что можно сказать? Харч у нас известно какой: квас с редькой, квас с капустой, щей с хлебом похлебаешь. Больше на картошку наваливались. Каша у нас редко бывала. А мяса разве только на пасху да в престольный праздник отведаешь...

Царь спрашивает:

— Что ж ты так бедно жил?

— Да не везло мне: то пожар, то скотина сдохнет. А главное, земли не хватало. По четверти десятины на мужскую душу. А на женскую совсем не давали. Да и земля была неважная. Что с нее возьмешь? Но я все-таки доволен остался своей жизнью. Пусть кто другой пустит такую поросль, какую я пустил из своей избенки; дождался и внучат и правнуков. У них, наверно, лучше будет жизнь. Говорили, от помещичков хотят землицы прирезать крестьянам. Бывало, раздумаешься об этом, водочки хватишь — и так тебе станет весело, что песни поешь.

Царь выслушал бедняка и долго молчал. Все о чем-то думал. А подом давай ругаться:

— Ах, негодяи! Ах, подлецы!



— Кого это ты так кроешь? — спрашивает бедняк.

— Обманщиков. Верил я им. А они надули меня. Все мне лгали: и министры, и генералы, и судьи, и советники, и духовенство. О господи! Если бы можно вернуться на землю! Переиначил бы я всю свою жизнь. Все свои богатства я роздал бы беднякам, а сам ушел бы в народ. Стал бы я трудиться, как и все крестьяне мои, чтобы сто лет прожить.

А бедняк смеется,— не верит царю:

— Это ты только теперь так говоришь. А верни тебя на землю — опять по-старому будешь царствовать. Разве сам человек откажется от такого богатства да от почета? И работать ты не будешь — избаловали тебя. Ведь земля, кормилица-то наша, она любит, чтобы человек поливал ее своим пóтом. А ты, поди, потел только в бане, когда на полкé парился. Да и к нашей крестьянской еде тебе не привыкнуть... Да что там толковать! Хоть ты и говоришь, что на земле все тебе надоело, а все ж таки ни за что ты не расстанешься со своим престолом.

Царь даже заплакал и начал клясться:

— Если я вру, то пусть сейчас же поразят мою душу громы небесные...

Как только он это сказал, сверкнула молния и такой ударил гром, какого никто не слыхал на земле.

Царь проснулся и долго не мог прийти в себя: дрожит, как в лихоманке, весь холодной испариной покрылся. А потом опомнился. Вовсе он не помер! Все это ему приснилось. Он огляделся. Роскошная палата. В одном углу иконы в золоте и бриллиантах. Перед ними неугасимые лампады горят. Около царской кровати доктора суетятся. Один из них обращается к нему:

— Вы бредили, ваше императорское величество. Выкушайте ложечку вот этого лекарства. Оно хоть и горькое, но очень помогает. Потом проглотите вот эти две пилюльки. Минут черед десять я дам вам еще одно снадобье. Его только что доставили нам из-за границы.

Царь с тоской посмотрел на доктора и поморщился. Вот уже вторая неделя пошла, как доктора надоедают ему.

— Подождите,— слабо отвечает царь.

В стороне стоят духовные лица: митрополит и архиерей. Они смотрят на иконы и молятся. Митрополит приближается с дарами к царю и говорит:

— Разрешите, ваше императорское величество, еще раз причастить вас и пособоровать.

Царь и ему так же отвечает:

— Подождите.

То, что он увидел во сне, сильно повлияло на него. Приказывает духовным лицам и докторам удалиться. А вместо них созывает к себе всех министров и высших советников. А когда те явились, он спрашивает их:

— Есть ли в моем царстве мужики, которые живут по сто лет?

Они хором отвечают ему:

— Есть такие, что и больше живут.

— А молится ли за меня мой народ? И что теперь делается в церквах и в монастырях?

Тут самый главный министр начинает докладывать ему:

— Вся страна вторую неделю молится за вас, ваше императорское величество. Нет ни одной церкви, где не служили бы за вас молебны. Весь народ в слезах и в большой печали.

Царь приказал подвинуть к кровати стол, и на него поставить чернила, положить бумагу и перо. Хотел он указ написать. И тут он нахмурил брови. Проходит час, другой, а он все думает и думает. Министры стоят и ждут царского повеления. Ждут сутки, ждут другие. Хочется им и есть и спать,— прямо с ног валятся, а уйти без его разрешения нельзя. А он молчит. И только на третьи сутки говорит им:

— Хорошо. Пусть все останется по-прежнему. Уходите.

Министры удалились и ничего не поняли, для чего царь созывал их и к чему он такие слова сказал.

И опять доктора начали пичкать его разными снадобьями. Митрополит еще раз причастил его и пособоровал. Царю становилось все хуже и хуже. А на второй день он умер по-настоящему.

Когда Псалтырев замолчал, я спросил его:

— А эту сказку тоже от бабушки слышал?

— Нет. Слышал я ее, когда мне было лет пятнадцать. Однажды ночевал у нас странник. Оказался занятный старик. Всю Россию вдоль и поперек исходил он в лаптях. Мой отец израсходовал на него целую бутылку водки, а он всю ночь нам рассказывал. О чем ни спроси у него — все он знал: как золото из земли добывают,



чем лечиться от укуса змеи, какие травы бывают лечебные, из чего мыло делают. И сказки его не были похожи на наши деревенские. Позавидовал я тогда этому страннику. Вот бы и мне так походить по Руси. Сколько бы я мудрости набрался!

Сказка Псалтырева нам понравилась. Разговор зашел о странниках. Мне тоже приходилось не раз встречаться с ними на базарах и ярмарках, в трактирах и крестьянских лачугах. Под разными личинами бродили они по кривым, захолустным русским дорогам, одетые или в монашеские рясы, или в зипуны, или в залатанные рубища городского покроя. Одни из них сеяли среди лапотной деревни суеверия, поддерживали у измученных непосильным трудом людей наивную веру в чудеса и помощь святых угодников. Другие,— как пчелы с цветка собирают пыльцу,— впитывали в себя народную мудрость и заветные надежды, выраженные в сказках и в задушевных песнях, и, как пчелы пыльцу, несли эту плодоносящую мудрость в народ. Лапотная Россия, лишенная школ и книг, подбирала крохи социальной правды от таких именно странников. Поэтому они всегда в деревне были желанными гостями, всегда им были готовы ночлег и душевное радушие хозяев.

## V

За период новобранства выпал и на мою долю такой вечер, который навсегда остался в моей памяти.

Наш флотский экипаж осветился газовыми рожками. Мы, новобранцы, только что кончили занятия с ружейными приемами. Все чувствовали себя переутомленными. Хотелось отдохнуть, но уже просвистала дудка дежурного по роте, а вслед за нею раздалась команда:

— На словесность!

Новобранцы нашего взвода, в котором насчитывалось сорок человек, бросились по этой команде к месту учения и расселись по передним койкам. Стало тихо. Только на дворе выла вьюга, залепляя снегом окна. Пользуясь отсутствием инструктора, новобранцы робко озирались. Лица у всех были пасмурны, в глазах отражалась гнетущая тоска.

Рядом со мной уселся новобранец Капитонов, рослый парень, угловатый, низколобый. Он согнулся, съежился,

словно старался стать незаметнее. Тяжело ему было на службе. Выросший в глухой деревне Вологодской губернии, не видавший никогда города, он совсем растерялся, попав в чужую ему обстановку. Военное учение давалось ему с невероятным трудом. В особенности он никак не мог усвоить словесность, которая для него, неграмотного, была какой-то непостижимой мудростью. Каждый день его подвергали жестоким наказаниям. И, запуганный, задерганный, он производил впечатление безнадежного человека. У нас с ним был один шкаф, разделявший в заднем ряду наши койки. Вместе мы пили чай, вместе ели ту дешевую колбасу, какую приходилось иногда покупать в лавках. По вечерам, беседуя с ним, я помогал ему разобраться в уставе и заступался за него, когда над ним смеялись. Он относился ко мне с большой любовью, иногда его подбадривал Захар Псалтырев:

— Главное, Капитонов, ты не робей. Что с тобою может сделать инструктор? Ведь не зарежет ножом? Отвечай ему смелее, вроде как не он, а ты старший над ним. И тогда у тебя дело пойдет.

Пришел инструктор Храпов, крупный и жилистый человек, и важно уселся против нас на стуле. Это был старший унтер-офицер, кончивший армейскую стрелковую школу. На его обязанности лежало обучать нас строевому делу. На этот раз он казался особенно злым. Дело в том, что утром, понадеявшись друг на друга, никто из новобранцев не принес ему чаю. Это его взорвало. Желая нас наказать, он привязал к чайнику длинный шнур, и мы все, сорок человек, ухватившись за шнур, отправились на кухню за чаем. Шли в ногу, распевая:

Дулась, дулась, перевернулась,
Перевернулась и согнулась
В три дуги, дуги, дуги.

Вся эта песенка, которую заставил нас петь Храпов, заключалась лишь в трех бессмысленных строчках. И мы повторяли их, как попугаи. А он, сопровождая нас, командовал:

— Ать! Два! Громче пойте! Не жалеть глоток! Левой! Правой!

Потом целый день он мучил нас во дворе строевым учением.

С появлением перед нами Храпова новобранцы замерли. Некоторые из них неестественно выпучили на него глаза. Он окинул нас недовольным взглядом и, хмурясь, открыл перед собою военно-морской устав. Вдруг инструктор вскрикнул, заставив нас вздрогнуть:

— Наливайко!

— Чего изволите, господин обучающий? — вскочив, откликнулся белобрысый украинец.

— Что такое канонерская лодка?

Наливайко ответил на это более или менее сносно.

— Садись.

Не было такого случая, чтобы Псалтырев запнулся в чем-нибудь. И теперь на вопрос, в каких случаях подчиненный не должен исполнять приказания начальника, он отчеканил ответ слово в слово, как сказано в уставе. Храпов заметил ему:

— Тебя, черта головастого, даже скучно спрашивать.

На присяге несколько человек срезались. Инструктор выругался, но, к удивлению всех, никого не ударил. Он прочитал нам вслух несколько параграфов из устава и начал объяснять их своими словами:

— Примерно присяга... Вот вы не ответили насчет ее, ведь она — это главное на службе. Раз дал присягу, значит — баста: человек с головой и потрохами уже принадлежит царю-батюшке. Не ропщи, стало быть, ни на что. Голод и холод переноси. Потому что это — военная служба, не свадьба...

Он продолжал дальше произносить несуразные слова, нам казалось, что мы от них только глупеем.

— Поняли, головотяпы, что я говорил? — закончил Храпов и посмотрел на нас с такой враждебностью, как будто мы были неисправимыми злодеями.

— Так точно, господин обучающий,— ответили новобранцы хором.

— А теперь... Эй ты, морда теркою, повтори то, что я сказал вам,— обратился он к новобранцу Быкову, у которого лицо было изрыто оспою.

Тот вскочил, зашевелил толстыми влажными губами, но ничего не сказал.

— Я от тебя ответа жду, ты, точно корова, только жвачку жуешь...

— Так что, окромя государя, часовой никому не должен отдавать винтовки,— выпалил, наконец, Быков и сам испугался.

— Вот тебе на!— вскрикнул Храпов и, ядовито улыбаясь, обратился к нам: — Полюбуйтесь на этого молодца! Ты ему про мачту-грот, а он себе палец в рот. О чем я вчера говорил, он мне сегодня повторяет. Ну, как есть бревно! А ведь, ежели правильно рассудить, должен бы умным быть. Гляньте-ка на его рожу: сам черт на ней арифметику выписывал.

Инструктор повернулся к Быкову и, склонив голову набок, прищурил один глаз:

— У тебя мамаша есть?

— Есть.

— Где она?

— В деревне осталась.

— Ты, может быть, по мамашиной сиське соскучился, дитятко неразумное, а?

Новобранец стыдливо потупился.

— Я тебя выправлю! — сказал Храпов и кулаком ударил новобранца в подбородок так, что у того щелкнули зубы.

Инструктор пытливо осмотрел нас и остановил свой взгляд на Капитонове.

— Кто у тебя экипажный командир?

Мой сосед вздрогнул и рванулся с койки.

— Его высокоблагородие капитан первого ранга... ранга... ранга Борщов.

— Брешешь!

Капитонов назвал еще какую-то фамилию.

— Молчи уж! — оборвал его Храпов.— Недорубленный! Послушай вот, что тебе Стручок скажет.

Стручок ответил скороговоркой:

— Его высокоблагородие капитан первого ранга Капустин, господин обучающий.

— Молодец, Стручок!

— Рад стараться, господин обучающий.

— А ты, кукла заморская, поди сюда!— крикнул инструктор Капитонову.

Зная, зачем его зовет Храпов, новобранец приближался к нему медленно, дико озираясь, точно ища себе спасения. Широко раскрытыми глазами мы следили за инструктором, ожидая, что он применит к виновнику какое-нибудь новое наказание. В этом деле изобретательность у него была поразительная. И действительно, так и случилось. Он постучал кулаком по голове новобранца и прислушался. Потом постучал по деревянной табуретке и, наклонившись, также прислушался. После этого он значительно посмотрел на нас и заявил:

— Одинаковые звуки получаются. Стало быть, голова у него деревянная. Попробую приложить ему пластырь на шею. Иногда это помогает.

Капитонову было приказано нагнуться. Он сделал это покорно и безмолвно. При каждом ударе по шее его голова тыкалась вниз. Раза два он падал на колени, поднимался и снова становился в прежнюю позу. Возвращаясь на свое место, он в довершение всего зацепился за чьи-то ноги и споткнулся.

— Тюлень! — рявкнул ему вслед Храпов.

Словесность продолжалась. И чем дальше она шла, тем злее становился инструктор. Те, кто на чем-нибудь сбивался, подвергались наказаниям, какие только приходили ему в голову. И многие с ужасом смотрели на его сухое и усатое лицо. Спустя полчаса у двоих были окровавлены лица, трое стояли на матросских шкафиках, выкрикивая:

— Я дурак второй статьи!

— Я дурак первой статьи!

— Я глуп как пробка!

В то же время один из новобранцев, засунув голову в топку голландки и называя свою фамилию, произносил под суфлерство инструктора:

— У Пудеева кобылья голова... Он словесности не знает... Скорее можно свинью научить на белку лаять, чем из него сделать матроса...

И к каждой фразе он прибавлял самую отъявленную матерщину.

Меня все больше и больше удивлял Храпов. Нам известно было, что он происходит из крестьян Тверской губернии. Что он усвоил за шесть лет флотской службы? Строевое учение, имена царствующего дома — царя, царицы, их детей, вдовствующей царицы, великих князей. Но для этого не нужно было иметь много ума. И все же этот малограмотный человек, который с трудом мог нам объяснить морской устав, считал себя в сравнении с нами великим человеком. А мы для него были какими-то неразумными существами. Издеваясь над нами, он упивался своею властью. Я посмотрел на новобранцев, забитых и жалких, и подумал: неужели впоследствии и из них кто-нибудь выйдет таким же жестоким, как этот

инструктор? А он, обрывая мои мысли, задал мне вопрос:

— Что такое знамя?

На это, вызубрив весь устав почти наизусть, я ответил без малейшего затруднения. Мне приказано было сесть. Храпов взялся за Капитонова:

— Теперь ты повтори, что он сказал.

Капитонов встрепенулся:

— Знамя... хоругва...

— Ну? — не отставал от него Храпов.

Капитонов, напрягая мысли, морщил лоб. Губы его посинели, в глазах светился животный страх. Наконец, сокрушенно мотнув головой, он забормотал:

— Потому, живота не жалея... святая хоругва, до последней крови... Часовой...

Храпов остановил его:

— Стой ты, дубина стоеросовая! Ну, чего ты мелешь? Нет, измучился я с тобой совсем. Ты хоть пожалел бы мои кулаки: отбил я их об твою дурацкую башку. А все без толку. Тебя, видно, учить,— что на лодке по песку плавать...

И, не желая затруднять себя больше, он обратился ко мне:

— А ну-ка, смажь ему разок по карточке. Да по-настоящему, смотри!

Я отказался выполнить такое приказание.

Храпов стиснул зубы и ощетинил усы. Сухое лицо его стало багровым. Он жестко посмотрел на меня, а потом уставился, словно гипнотизер, напряженным и неподвижным взглядом на Капитонова. У того от страха задергалась нижняя губа. Последовал приказ с хриплым выкриком:

— Капитонов! Если он не того, то ты привари ему пару горячих!

— Есть, господин обучающий!

Ко мне повернулось лицо Капитонова, мертвецки бледное, как маска, и на момент я увидел его глаза, бессмысленно округлившиеся и пустые, точно он внезапно ослеп. Правая его рука откинулась с необыкновенной быстротой, словно он боялся упустить удобный момент для удара. Не успел я произнести ни одного слова, как голова моя мотнулась в одну сторону, затем в другую. Из глаз посыпались искры, зазвенело в ушах.

— Мерзавец! За что ты меня ударил? — задыхаясь от негодования, крикнул я в диком исступлении. Я упал на койку, но сейчас же вскочил. Все мое существо охватило одно безумное желание — броситься на Капитонова и рвать его, рвать до тех пор, пока не истощатся последние силы. Но он сам свалился на пол, как подкошенный, и над ним, яростный и страшный, стоял Псалтырев, ожидающе глядя на инструктора. Все это произошло, как в бреду, и до моего сознания донесся резкий голос:

— Разойдись!

Я увидел удалявшуюся из камеры спину Храпова.

В эту ночь я долго бродил по двору, осыпаемый холодным снегом, с болью в голове и с горечью в сердце.

Было уже поздно, когда я вернулся в камеру. Газовые рожки, наполовину привернутые, горели слабо. Кругом было сумрачно. Новобранцы, утомившиеся от работ и учебных занятий, крепко спали. Дремал и дневальный, привалившись к стене около двери. Воздух был тяжелый, спертый, пахло прелыми портянками. Я прошел к своей койке и начал раздеваться.

Капитонов еще не спал. Опустив голову, он в одном нижнем белье сидел на своей койке, убитый и несчастный. Лицо его с разбитым подбородком потемнело, взгляд устремился в одну точку. Не глядя на меня, он заговорил робко, дрожащим голосом:

— Прости, брат... Ей-богу, не знаю, как это я... Никогда больше... никогда... Бей меня, сколько хочешь...

И вдруг этот большой человек тяжко заплакал, стараясь заглушить свои всхлипывания. Я сразу понял, что не он, доведенный до невменяемости, был виноват, а кто-то другой. Мне стало жалко его, как будто своими слезами он смыл злобу с моего сердца.

Через две койки от меня всхрапывал Псалтырев.

Храпов, очевидно, сам испугался того, что случилось, и никого не посадил в карцер. И вообще он с этого вечера сократился в своих наказаниях. А мне и Псалтыреву совсем перестал задавать вопросы во время словесности.

## VI

Весной мы приняли присягу, нас произвели в матросы второй статьи. Служба пошла легче. Меня назначили в плавание на крейсере, и я разлучился с Захаром

Псалтыревым. Ему до болезненности хотелось быть вместе с нами. Он бредил кораблями и морем, но попал в вестовые к одному пожилому капитану первого ранга, Лезвину. Конечно, из моего друга, судя по его задаткам, вышел бы хороший судовой специалист, но ему и на этот раз подгадил Карягин.

На вторую зиму я снова встретился со своим «годком». Псалтырева трудно было узнать: его лицо лоснилось от сытости, словно он вернулся с богатого курорта. Он весело скалил зубы и рассказывал о своей службе:

— Теперь, брат, служить можно. Я даже доволен, что попал в вестовые. Мне и во сне-то не снилось такое житье. Расскажу тебе все по порядку. До чего же чуднó господа живут! Это, друг, не то, что у нас в деревне. Там на целую семью избенка, а тут только на два человека квартира из четырех комнат да еще столовая. А как все обставлено! Шкафы с зеркалами в человеческий рост. В столовой — буфет из красного дерева, и посуды в нем на тысячу рублей; стол раздвижной, стулья обшиты кожей. На стенах картины в золотых рамах. Кабинет весь уставлен книжными шкафами. Книги в них и тоненькие и толстые, да все с золотыми буквами на корешках. Тысячи три книг будет. Пока мои господа спят, я убираю кабинет, а сам нет-нет да и загляну в какую-нибудь книгу. Тут тебе и про моря, и как другие государства живут, и откуда земля взялась. Словом, про все на свете. Вот я и думаю: как же господам умными не быть, если они столько книг имеют? Среди книг нашел я иностранный словарь. В нем любое иностранное слово объясняется. Приглянулся мне этот словарь! Думаю: барину он не нужен,— барин и без него все знает, а для меня это находка. Я часто заглядываю в него. Теперь господский разговор я начинаю лучше понимать. В спальне на столике приспособлено тройное зеркало,— чтобы можно видеть в нем и лицо свое и затылок; две кровати из карельской березы стоят рядом вплотную: на одной муж спит, на другой — жена. А всего богатства и не пересчитать... Вот уж, можно сказать, живут люди!..

Сначала я боялся своего барина. Толстый он, голос у него хриплый, глаза навыкате, борода ржавая, как прошлогодняя трава в болоте. Дышит тяжело, посапывает. Очень любит свою жену. Третий год идет, как они повенчались. Она моложе его лет на тридцать. Корпусом и лицом — быть бы ей графиней. Улыбнется — точно сердце тебе прощекочет. Нельзя даже смотреть на нее — пьянеешь, словно стакан спирту хватил. И здоровьем бог не обидел ее. А ничего не работает. Лежит себе по целым дням на диване и книги почитывает. К вечеру начинает наряжаться в шелка, пудриться, мазаться. Часа два возится с собою,— красоту наводит. Потом уходит в Морское собрание. Муж один остается дома, скучает и от нечего делать свою бороду жует. Это значит — он расстроен. С такой женой наш брат пропал бы совсем. Да хоть бы ласковое обхождение имела с мужем, а то и этого нет. Что он ни скажет, она все перечит ему:

— Ты глупости говоришь.

Слушаю я своих господ и удивляюсь. Ведь благородные люди, а разговор между ними никак не ладится. При мне редко бывало, чтобы они разговаривали о чем-нибудь серьезно, дружески, как полагается мужу и жене. Чаще всего — несуразно у них получается. Она, например, охает, жалуется, что у нее сердце болит. Он по-хорошему обращается к ней:

— Наденька, я сейчас вызову доктора.

Барыня ни с того ни с сего сразу же рассердится:

— Ты что — шутишь или смеешься?

— И не думаю шутить или смеяться, тем более над тобою, моя дорогая.

— Что же значит — вызову доктора?

— А это значит, что я хочу пригласить доктора, чтобы он помог твоему здоровью.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Только то, что сказал.

Она начинает закипать:

— Оставь меня в покое. Мне тошно от твоих глупых предложений.

Не понимает и не хочет понять она своего мужа.

Скандалы у них бывают каждый день и начинаются с какого-нибудь пустяка. У барыни насморк — муж виноват. Купила она себе слишком тесные туфельки — муж виноват. Дождь долго идет — муж виноват. День очень жаркий — муж виноват. Во всем он виноват, а она всегда права. Сколько барин ни старается, но к чему-нибудь она обязательно придерется. Скажем, галстук у него немного съехал в сторону... Ну, уж тут держись — достанется как следует! И не замечает она того, что у

нее самой мозги съехали набекрень. Иной раз раскричится и давай всячески поносить барина:

— Тебе бы только факельщиком быть, гробы на катафалках сопровождать, а не морским офицером. Таких из флота нужно гнать грязной шваброй.

Он хочет что-нибудь возразить ей, а у нее даже ноздри побелеют, и как зашипит на него:

— Замолчи, корабельная плесень!

Ведь умные книжки она читает, а ругается, как торговка на барахолке. А барин только нахмурится и сидит себе, вроде как и язык у него отнялся. Иногда барыня до того разъярится, что начинает бить посуду и рвать все, что попадется под руки. Убытку целковых на пятьдесят наделает. Только ни разу не видел я, чтобы она разорвала свое собственное шелковое платье или шляпку с пером. В чем, друг, тут дело, а? А барин, вместо того чтобы потасовку ей дать, упрашивает:

— Наденька, успокойся. Ну, зачем ты сердишься? Прости, если я в чем виноват.

Помирятся,— барин у нее в ногах ползает и всякие ласковые слова говорит:

— Наденька, радость моя. Я люблю тебя больше, чем свою душу. Вся моя жизнь в тебе.

И туфельки у нее целует. А она улыбается и отвечает ему:

— Котик ты мой паршивенький, зачем ты свою Наденьку так расстраиваешь?

Даже противно смотреть на барина. Перед нашим братом, матросом, задается: замри и не дыши при нем, а жену усмирить не может. Такие, значит, правила у господ: хоть какая будь жена, а он должен обожать ее, как пречистую деву-богородицу. Иной раз смотрю на них и думаю: чего им не хватает? Говядина вареная, говядина жареная, куры, рыба, пироги, разные сладости, вина — ешь и пей, сколько душе угодно. Жалованье большое. Власть имеют, всюду почет и уважение. А радости нет никакой. И что этой барыне еще надо? Потомто я понял, что она не в те руки попала. А только скажу тебе, что иногда было жалко барина. Как это можно так измываться над человеком? Ведь он тебе не баран, а образованный человек: капитан первого ранга. В чины его производил сам царь. А она кто? Какие у ней чины? А кричит на него — вроде как она адмирал. И доходов от нее, как от лебеды в огороде,— никаких. Даже и кух-



ней-то не занимается. Живет у нас одна пожилая женщина, она и стряпает.

Кстати, надо тебе сказать об этой кухарке. Я величаю ее Настасьей Алексеевной, а для моих господ она просто Настя. Ей около пятидесяти лет, но голова у нее уже седая, лицо в мелких морщинках. И здоровьем она не может похвалиться,— поизносилась, живя у господ. С молодости работает на чужих людей, срок немаленький. За это время она успела старушкой стать, легкой такой, сухонькой. Я присматриваюсь к ней и думаю: другую такую заботливую и честную женщину не скоро найдешь. Я помогаю ей в работе и очень дружу с ней. Часто сидим мы с ней на кухне и обсуждаем господскую жизнь. Больше, конечно, рассказывает Настасья Алексеевна, а я слушаю и удивляюсь.

От нее я узнал и о прошлом моих господ. А еще рассказывал мне о барине старый боцман. Он теперь в отставке, служит в Купеческой гавани сторожем. Но когда-то он долго плавал вместе с Лезвиным на военных кораблях и знает его с молодости. Иногда боцман заходит к нам проведать своего прежнего начальника. У них давняя дружба. Без угощения барин не отпустит его или на водку даст.

А меня очень интересует господская жизнь, особенно сам Лезвин. Не так у них все идет, как у крестьян. Оказывается, его отец и дедушка тоже были моряками. Сначала он взял курс правильный, а потом сбился. Может быть, это потому так вышло, что он рано остался без родителя. Лезвин-отец дослужился до капитана первого ранга. Должно быть, думал еще выше подняться. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Хоронил он своего друга, какого-то знаменитого адмирала, и командовал парадом. Дело было зимой. Весь флотский экипаж выстроился на плацу во фронт. И вот когда вынесли гроб с флагами, Лезвин-отец скомандовал:

— Смирно!

И сейчас же добавил, как полагается:

— Экипаж, слушай! На кра...

Но матросы не дождались окончания команды... Капитан нагнулся, будто хотел рассмотреть что-то у себя под ногами, и вдруг рухнул лицом в снег. А когда офицеры подбежали к нему, он уже был мертвый. От паралича сердца умер.

Сыну, то есть моему барину, в это время было восемнадцать лет. Он только что надел мичманские эполеты. Ну, известное дело, сначала погоревал, и потом зажил самостоятельно. Это, как говорит боцман, был веселый человек и выпить не дурак. Любил что-нибудь учудить и не стеснялся начальства. За это ему не раз попадало. Однажды при боцмане был такой случай. Судно находилось в заграничном плавании. Молодой Лезвин стоял во время вахты на шканцах, смотрел на море и чему-то улыбался. В это же время командир прогуливался на верхней палубе. Он был старый, у него болела печень,— значит, жизнь пошла ему в тяжесть. Увидел он веселое лицо Лезвина и набросился на него:

— Чему смеетесь? На вахте стоите, и смеетесь. Что это для вас — палуба военного корабля или Невский проспект? У вас беспорядок!

— Какой беспорядок, где? — спросил Лезвин.— Я не вижу.

— Не видите? —ехидно переспросил командир.— Вокруг вас бревна валяются, и вы стоите и улыбаетесь. Уберите это бревно!

Командир носком ботинка указал на малюсенькую щепочку.

Лезвин посмотрел на командира, потом на щепочку и весело скомандовал:

— Вахтенный! Четыре человека на шканцы! Убрать это бревно!

Командир даже позеленел от злости, и поделать со своим подчиненным ничего не мог: сам же назвал щепку бревном.

По словам боцмана, Лезвин был умный моряк. Он знал хорошо и штурманское дело, и артиллерию, и все судно — от киля и до клотика. С англичанами и французами он разговаривал на ихнем языке, как на русском. Его все любили — и офицеры и матросы. Но высшему начальству он не совсем нравился. Почему? Недоволен он был порядками во флоте и все писал об этом какие-то доклады. Ему хотелось, чтобы по-другому было на кораблях — лучше. А там, на верхах, все эти его доклады клали под сукно. Ну, и началось у него охлаждение. Увидел он, что впустую старается, и запил горькую. И все-таки он, как и его отец, дослужился до капитана первого ранга. А дальше не пошел.



— Его и в адмиралы произвели бы, да жена помешала,— объясняла мне Настасья Алексеевна.— И как это его угораздило жениться на такой? Вероятно, бес помрачил его головушку. Ведь она не благородного происхождения,— дочь какого-то трактирщика. Одно только — красива. За это и взял ее на содержание один миллионер. Дорого она ему обошлась. Теперь у нее нарядов — за всю жизнь не износить, и разных драгоценностей хватит. А больше всего она просто транжирила деньги. Пожил миллионер с ней недолго и умер. Тогда ее подхватил адмирал-вдовец. Этот за короткий срок просадил с ней все имение и тоже умер. Такая уж, видно, уродилась: все с нею умирают. Да она, видно, нарочно выбирает себе в мужья пожилого человека, чтобы вольготней ей жилось. Вот и наш барин влип. Теперь все офицеры от него отвернулись, никто к нам не ходит,— жена-то, мол, у него не из дворянок. А насчет этого среди господ строго! Говорят, что из-за жены он и в адмиралы не попал. Какая же из нее может быть адмиральша? Один конфуз получится...

Так и понемножку узнал от боцмана и Настасьи Алексеевны всю подноготную своих господ. Значит, вот каким Лезвин был раньше и каким стал теперь. Совсем сник человек...

Через Настасью Алексеевну и со мною приключилось такое, чего я не ожидал. А все дело в том, что у нее была дочь... Трудно сказать, что ждет меня впереди. Судьба человеческая — как семя, с дерева сорванное: попадет оно на дорогу — погибнет; попадет на тощую землю — будет всю свою жизнь чахнуть; попадет в чернозем — расцветет.

Дочь кухарки зовут Валентиной Викторовной. Она часто заходит к нам. Ей восемнадцать лет. Служит она в одной конторе машинисткой. С первой же встречи с Валей меня потянуло к ней, как шмеля к душистому цветку. Лицом она не похожа на мать. Должно быть, в отца вышла: нос с горбинкой, губы тонкие, немного изогнутые, подбородок точеный, глаза, как у цыганки,— настолько черные, что зрачков не видать. Волосы у нее густые и причесаны на прямой пробор, а это всегда придает девушке скромный вид. Любит она наряжаться в белые платья, и тогда кажется мне лепестком с вишневого цветка. Характером она в мать,— мягкая и обходительная. А уж такая веселая, что при ней даже

хворый человек засмеется. Не девушка, а заря весенняя!.. Эх, любовь, любовь! Кто ее выдумал! И радость она дает всем и страдания. Когда Валя сидит со мной рядом и улыбается, то все вокруг становится необыкновенным: и кухня с начищенными кастрюлями, и кусок неба, что виднеется в квадрате окна. Вот до чего нравится мне Валя! Даже от голоса ее как будто пахнет фиалками. А уйдет она,— тоска лохматым зверем навалится на мою душу, нигде я себе места не найду.

Но вся моя беда в том, что я из деревни и необразованный. А она окончила городское училище. Где же мне с нею тягаться? Только смотрю на нее влюбленными глазами, как на звездочку ясную, и тихонько про себя вздыхаю. Иногда сказками забавляю мать и дочь. Нарочно выбираю для них такие сказки, где говорится, как богатая невеста вышла замуж за бедного молодца и как они счастливо зажили. Вале это нравится. Стал я замечать, что и она как будто интересуется мною,— все чаще и чаще заглядывает к нам. Я, конечно, стараюсь во всем угодить ее матери: плиту разожгу, посуду вымою и что-нибудь состряпаю. А она тем временем отдохнет. Она относится ко мне, как к родному сыну.

— Славный ты,— говорит,— парень, Захар. За что ни возьмешься, все в твоих руках выходит хорошо. Одно только плохо: необразованный ты.

Эх, думаю, вот в чем дело! Она не прочь бы выдать за меня свою дочь, если я отшлифую себя. И взялся я за дело. Прислушиваюсь к господам, как они — когда в ладу — разговаривают между собою, заглядываю в разные книги. До смерти мне хочется сравняться умом с Валей. Про себя соображаю, что во всяком деле прежде всего нужна грамота. Без нее даже письма своей возлюбленной нельзя написать. А с чего начать? Обращаюсь к Вале:

— Как мне научиться правильно писать?

Это ей по сердцу пришлось, и она ласково отвечает:

— Я принесу вам книжку. Грамматикой называется она. И могу помочь вам в этом.

Скоро книжка действительно очутилась у меня в руках. Я тогда же подумал, что, может быть, через нее решится моя судьба. И начал я зубрить эту самую грамматику. По ночам, когда все спят, я сижу на кухне и пишу что-нибудь. Иногда Валя мне диктует. И так я старался, что за лето почти все правила грамматики



выучил наизусть, а продолжаю делать пропасть ошибок. Мне очень совестно перед девушкой. Она смеется:

— Практика нужна. Через год ты будешь писать без ошибок.

Стал я бывать у Вали на квартире. Комнату она снимает. Живет небогато, но у нее все аккуратно и чисто убрано, как и сама она, аккуратная и чистая. На окнах белые занавески, кровать застлана розовым одеялом, в одном углу комод стоит, около стола два венских стула. Сижу я в этой комнате, смотрю на Валю и кажется мне: счастливее меня никого нет на свете. Если она станет моей женой, то вместе с нею я одолею все, как богатыри в сказках.

Неделю тому назад позанимались мы грамматикой, а потом и сам не знаю, как у меня это вырвалось:

— Эх, Валя! За один только твой поцелуй я готов переплыть через весь залив. Только прикажи — сейчас же я это сделаю.

Сказал я так и сам испугался.

Она вспыхнула вся, радостно сверкнула зубами и ответила:

— Зачем же я такую глупость буду говорить? А поцеловать тебя и без этого можно.

Подошла ко мне и точно огнем опалила мою душу. У меня даже голова закружилась. От неожиданности я совсем растерялся и не могу ей сказать ни одного ласкового слова. От радости у меня даже слезы на глаза навернулись. Я сконфузился еще больше и невпопад сказал:

— А грамматику я обязательно одолею.

И тут же ушел от Вали.

А вчера от ее матери узнал интересную новость. Сидел я с нею на кухне за чаем, разговорились о жизни. Старушка разоткровенничалась и сообщила мне:

— Только тебе, Захар, одному скажу я тайну.

Я насторожился.

— Моя Валя-то ненаглядная — ведь она дочь адмирала.

От этих слов меня будто кто по сердцу резанул. Пропала моя головушка! Разве такая девица пойдет замуж за деревенского парня? Горько мне стало.

— Как это могло получиться? — спрашиваю.

Настасья Алексеевна начала издалека. Больше всего она служила у морских офицеров — то горничной, то

кухаркой. Пришлось ей немало горя хлебнуть. Когда она молодой была, многие господа льнули к ней. И трудно было ей, сироте, отбиваться от них.

Я, заслушавшись, глядел на Настасью Алексеевну, а она рассказывала дальше:

— И вот поступила я горничной к капитану второго ранга. Он человек хороший и добрый, а жена у него — ведьма с Лысой горы. И любовников у нее перебывало столько, сколько в году недель. Двух детей она ему родила, только ни один из них не похож на капитана. Видать — чужие дети. Уехала она с ними на все лето в Крым. Ну, барин и начал за мною ухаживать. Как-то раз подпоил он меня сладким вином... Ну, что ж тут говорить? Ни один человек не знает, где потеряет свое счастье, где найдет. Забеременела я и думала — конец мне. А барин-то оказался совестливый человек. Когда я уходила от него, наделил он меня деньгами. А потом уж приходил на свидание к дочери, помогал мне... Благодаря ему она городскую школу кончила, и сто рублей у нее лежат в сберегательной кассе. И теперь гляжу я на свою Валеньку,— вылитый отец. Только ты, Захар, случайно не проговорись ей. Она ничего об этом не знает.

Я обрадовался, что Валя не знает о своем происхождении, и говорю:

— Будьте спокойны, Настасья Алексеевна. Все ваши слова скроются в моей голове, точно камни в море. Только позвольте спросить: выходит, что отец Вали вовсе не адмирал, а капитан второго ранга?

— Верно, был таким, а теперь он — адмирал. Виктор Григорьевич Железнов. Может, слыхал о нем? Умный человек...

— Нет, ничего не слыхал. Мало ли у нас во флоте адмиралов? Всех не упомнишь.

Вот какая, друг, история...

Теперь я и сам не знаю, как у меня обернется дело с Валей.

## VII

Захар Псалтырев замолчал и задумался.

Ротный писарь вручил мне открытку от моих родителей. Я наскоро прочитал ее: дома все благополучно. Потом повернулся к Псалтыреву:



— Рассказывай дальше. Как твои господа поживают?

— Нескладно живут. Но это еще что. А ты вот послушай, как и меня затянули в новое дело... Сначала мой барин, капитан первого ранга Лёзвин, взял меня с собою в плавание. Командует он крейсером «Алеша Попович». Корабль что надо! Заглядишься! Очень быстроходный. Жаль только, проплавал я на нем всего две недели. За это время облазил его весь сверху донизу,— не осталось такого помещения, куда бы я не заглянул. Сколько механизмов и разных приборов! Чудо человеческого ума! Так я полюбил свой крейсер, точно он принадлежит лично мне. И вот однажды барин приказывает мне:

— Собери свои вещи. Поедешь со мною.

Барин мой оказался человеком простецким. С ним можно было разговаривать о чем угодно. На этот раз он, правда, почему-то насупился, но я все-таки обратился к нему:

— Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, куда будем держать курс?

— Будешь жить в моей квартире и прислуживать барыне.

Огорошил он меня этими словами, но разве командиру можно перечить?

Когда мы прибыли, барыни дома не оказалось. Вижу я, приуныл старик, точно его с должности рассчитали. Зовет меня к себе в кабинет и спрашивает:

— Ты женат, Захар?

Дернуло меня за язык соврать ему:

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Любишь свою жену?

— Да как же, ваше высокоблагородие, не любить жену? Она и первая помощница мне по хозяйству, и жить мне с ней веселее.

— А не боишься, что в деревне может с каким-нибудь парнем любовь закрутить?

— Что ж поделаешь... Меня дома нет. Значит, ее воля.

— Ну, а если бы это случилось при тебе?

Думаю: к чему это он клонит? И отвечаю:

— Я бы этому парню морду набил. А потом посмотрел бы: крепко они принайтовились друг к другу или нет? Если она только дурить вздумала, то и ее проучить

не мешает. А если она всерьез полюбила, то катись от меня на паровом катере к чертовой матери.

Барин похвалил меня: правильно, мол, я смотрю на жизнь. Помолчал он немного, пощипал свою ржавую бороду.

— Вот что, Захар, у нас тоже бывают такие случаи... Ну, как бы тебе это объяснить? Жена мне изменяет.

Он запнулся, покраснел, точно его в мошенничестве обличили. Я стою вытянувшись и руки держу по швам, как полагается. Вдруг он выпалил:

— Так вот, Захар, в чем дело. Если ты в мое отсутствие заметишь на горизонте что-либо подозрительное, то доложишь мне. Скажем, лейтенант или мичман появится в моей квартире... Ясно?

— Так точно, ваше высокоблагородие, все ясно.

— Только хорошенько смотри за горизонтом, как сигнальщик с корабельного мостика. А я буду тебе платить за это пять рублей в месяц. Это сверх того, что ты вообще получаешь.

— Есть,— отвечаю я.

Он даже похлопал меня по плечу.

— Молодец ты у меня! Умный парень. Уверен я, что от твоего глаза ничего не скроется.

Вот с этого и началась у меня настоящая жизнь. Вечером явилась домой барыня, нарядная, раздушенная. Увидела она мужа и с такой радостью бросилась к нему на шею, что он моментально повеселел. Сейчас же началось у них пиршество. Раньше такой любви у них я не замечал.

Утром барин собирается в море. Барыня горюет, плачет, внушает ему, что без него она от тоски с ума сойдет. Он утешает ее, обещает недели через две опять вернуться к ней. Я решаю про себя: пожалуй, зря барин заставляет меня следить за ней. Она просто взбалмошная женщина, но мужу не изменит. Только одно было подозрительно: уж очень ласковой она стала со мной. А на следующий день звонит по телефону кому-то:

— Володя, приезжай скорее. Сгораю от нетерпения. Что? Да нет его дома, старого дурака. В море он. Захвати, Володя, моего любимого ликеру.

Ах, думаю, шельма какая! Обязательно доложу все барину. Пусть он знает, какая есть у него жена. Вскоре появляется в квартире мичман — молоденький, чистенький, свежий, словно огурчик с грядки. Духами от



него несет. Улыбается, будто сто тысяч выиграл. В руке у него сверток с выпивкой. И барыня, увидавши мичмана, зарумянилась, как маков цвет. Сразу же все в ней переменилось. Глаза радостью сверкают, как роса перед солнцем. А голос такой умилительный, что сердце замирает. Кто может устоять перед такой женщиной? Глядя в это время на барыню, даже подумать нельзя, что она может на кого-нибудь рассердиться. Ангел непорочный! И, может быть, у другого мужа она была бы настоящим другом. А у Лезвина — это поперечная жена. Но он и не замечает, что своей красотой опутала она его, как золотой паутиной, чтобы сосать из него кровь.

Приказывает она мне стол накрыть, рюмочки приготовить, черное кофе сварить. Все я сделал, как велено. Барыня наказывает мне, чтобы я на кухне сидел, а здесь, то есть в зале, я больше не нужен ей. Сижу я на кухне и слышу: щебечут вдвоем, как птицы весной. Помолчат немного, затихнут, и снова — то смех, то разговор веселый. Старую кухарку барыня отпустила до позднего вечера. Я на кухне один. Скучно мне и завидно слушать, как другие играют в любовь. Пробыл мичман, этот самый Володя, часа четыре и собрался уходить. Я подаю ему накидку, фуражку. Он спрашивает:

— Какой губернии?

— Рязанской, ваше благородие.

— Люблю рязанских.

И дает мне двугривенный. Через некоторое время барыня зовет меня в зал. Смотрю, сидит она в кресле, усталая, словно целый день в жнитве провела. Прячет от меня глаза. Разрешает мне допить остатки ликера! Ну, что за вино! И пахнет, как цветы, и сладости необыкновенной, и кровь распаляет. Спрашивает она меня ласково так:

— Твои родители, Захар, вероятно, бедно живут?

— Очень, барыня, бедно.

Достает из сумочки два рубля и наказывает мне:

— Пошли-ка им. На что-нибудь пригодятся.

Я, конечно, поблагодарил барыню. У нас, в деревне, за два целковых нужно целую неделю работать. И каждый раз так: когда мичман приходит — он мне двугривенный, а она — два рубля. Думаю я: пожалуй, и не стоит докладывать барину. Какое мне дело до их супружеской жизни? Да и какой он ей муж? Разве для нее

такой нужен? Недели через две приезжает домой сам барин. Она голову платочком обвязала, охает — больной прикидывается. Он зовет меня к себе в кабинет и спрашивает:

— Ну, Захар, как на горизонте?

Мне немного совестно было, но отрапортовал я резво:

— Чисто, ваше высокоблагородие. Только барыня без вас очень скучала. Плохо кушает. Иногда сидит одна и плачет.

Барин доволен и дает мне пять целковых.

Как и в первый раз, переночевал он только одну ночь и опять отправился в плавание.

Однажды мичман Володя с утра приехал к нам с большой корзиной. В ней были уложены разные закуски и вина. Мне было приказано добавить чайник и чайные приборы, хрустальные стаканы и рюмки. Потом послали меня за другим извозчиком. Когда я вернулся домой, барыня была уже в шляпке и накидке:

— Захар, поедешь с нами!

На одном извозчике сначала уехал мичман, и минут через десять я с барыней покатил к пристани. Это было проделано, как я понимаю, для отвода глаз: никакого, мол, знакомства между ними нет. На пароходе мы все втроем переправились через залив. Там нас встретил лейтенант с какой-то пожилой барыней. Ростом он в три аршина, сухой, кости у него крупные, как у лошади, лицо носатое, нахальное, как будто разутое. Она ниже его почти наполовину, но тяжестью, пожалуй, не уступит ему. У ней лицо мясистое, рот широкий, губы пухлые, глаза желтые и смотрят на лейтенанта жадно. Платье с большим вырезом на груди, и за пазухой будто две тыквы заложены. Одной рукой она придерживает шляпку, широкую, как решето, со всевозможными цветами. Вот такую бы, думаю, плотную бабу да на крестьянские работы — что можно бы с нею натворить! На ней можно бы бороновать. Ну, а насчет красоты — она против моей барыни все равно, что лапоть против сапога. Сначала я полагал, что это мать лейтенанта. А потом, слышу, он называет ее деткой, она его — Мишелем, по-нашему, значит,— Михаил. Жена? Нет, так он перед ней расстилается, что сразу видно — не жена она ему! После уже догадался: это такая же пара, как и Володя с моей барыней. Обе женщины, как



только встретились, давай друг друга восхвалять. «Детка» говорит моей барыне:

— Надюша! Милочка моя, ты сегодня прямо красавица!

А моя ей в ответ:

— Душенька моя, я две недели не видела тебя. За это время ты очень помолодела. И тебе так идет эта шляпка! Ты в ней обаятельная!

Взяли мы трех извозчиков. Господа попарно сели, а я на этот раз один устроился — корзину охранять.

Путешествие наше длилось не меньше часу. Я развалился на сиденье, как барин, и гадаю: для чего это они взяли меня? На голубом небе кое-где медленно плывут легкие облачка. Я смотрю на них и вспоминаю деревенскую песню, как млад-сизой орел ушиб-убил лебедь белую с лебедятками и пух пустил по поднебесью. И действительно, облачка похожи на пух. В одном месте они как будто тают, в другом новые появляются. Так же вот плывут и мысли в моей голове — то исчезают, то опять появляются. В лесу деревья шелестят листвой, и кажется, что они между собой шепчутся. Потом проезжаем полями. Гляжу я на крестьянские посевы. Узкие, как и у нас, в Рязанской губернии, полоски пестрят картофельной ботвой, гречихой, просом, чечевицей, овсом. И все яровое поле похоже на огромное одеяло из разноцветных лоскутьев. Дальше, на озимых, под ветром склоняются ржаные колосья, словно куда-то спешно бегут. Как раз время цветения, в воздухе носится желтая пыль. Я вспоминаю родное село, какой там ожидают урожай? А здесь — неважный. Земля, видать, истощена и сухая.

Вдруг передние повозки остановились, и послышались выкрики. Что же, думаю, такое случилось? Чему так обрадовались господа? Оказалось, мы подъехали к такой части поля, где, как говорится, от колоса до колоса не услышишь человечьего голоса, а растут одни васильки. Обе барыни и офицеры соскочили с повозок и бросились собирать цветы.

— Боже мой, какая красота! — восхищалась моя барыня.

— Эти цветы возвышают мои мысли! — голосила шестипудовая «деточка».

— Очаровательно! — восклицал Володя.

— Синяя мечта! — басил Мишель.

Моя барыня приказывает и мне собирать цветы. У меня другое на уме, но пришлось подчиниться ей. А она прямо ликует:

— Я безумно люблю васильки. Хорошо мужичкам живется. Вечно они на лоне природы, среди цветов.

Извозчики угрюмо косятся на господ. И я про наших бар думаю: так вот как они смотрят на нашу кормилицу-землю! Все у них не так, как у нас в деревне,— и разговоры, и обычаи, и мысли иные. Поэтому никогда, видно, господам не сойтись по-хорошему с мужиком. Не понимают они того, что для крестьян эти синие цветы — слезы. Те, кто трудился здесь, на этих участках, останутся без хлеба. У меня невольно срывается с языка:

— Барыня, эти цветы — сорняк.

Она упрекает меня:

— Ах, Захар, какой ты невежа! Вырос ты на земле, а не чувствуешь красоты природы.

— Вот если бы васильки на пустыре росли, вместо чертополоха, или в овраге, тогда и нашему брату можно было бы ими любоваться.

Барыня только махнула на меня рукой и запела:

Как голубые огоньки,
Средь золотых стеблей
Растут родные васильки
Для радости моей.

А дальше, видно, не знает слов и все повторяет одно и то же. Ей подтягивает лейтенант Мишель. А я чувствую, что все во мне кипит. Хотелось мне сказать ей словечко, да волки недалечко — мичман и лейтенант. Будь у меня власть, заставил бы я этих господ самих землю пахать. Потом посмотрел бы, как они радовались бы василькам.

Все набрали по охапке цветов и поехали дальше. Минут через пятнадцать остановились на лужайке вблизи какого-то озера. Мичман Володя спрыгнул с тарантаса, помог моей барыне спуститься на траву. Потом он огляделся, улыбнулся и сказал:

— Вот это место по красоте самое подходящее для любви!

— Не в этом дело, Володя,— раздался сзади басистый голос лейтенанта.— Любить можно всюду. Только надо знать — как? Я, например, не признаю платонической любви.



Я сперва не понял, о любви какого Платона он заговорил. А Мишель обвел рукой круг и добавил:

— Это все равно, что смотреть на эту красоту зажмурившись.

Офицеры сговорились с извозчиками, чтобы они приехали вечером, и отпустили их. Мне было приказано раскинуть скатёрть, приготовить закуски и раскупорить бутылки. Немного времени спустя все сидели на лужайке, выпивали и закусывали.

Больше всех зубоскалил Мишель, старался рассмешить барынь:

— Какие мы все-таки набожные. Здорово у нас получается воздержание. В деревнях теперь живут строго: постятся, умерщвляют плоть. Идут Петровки. А для нас, светских, это самое чудное время для пикников и любви на лоне природы.

Вот богохульник! Хоть бы меня постыдился. Тут-то я и понял, что посты только для деревни, а господам всегда масленица. Началась она и для меня. Офицеры, как всегда при женщинах, подобрели, стали меня угощать.

— Ты, голубчик, не стесняйся,— уговаривал мичман.— Ешь и пей, сколько влезет. Хватит тут добра.

Наливают мне коньяку половину чайного стакана. Смотрю, на бутылке надпись не по-русски. Как объяснил мне мичман Володя, коньяк французский, самый дорогой. Я ахнул, когда узнал, какая ему цена. За одну только бутылку такого напитка можно купить две овцы. Опоражниваю стакан и чувствую — по жилам точно огонь разливается. Даже пятки жгет. Офицеры и барыни подсовывают мне еду, словно я стал их братом.

Лейтенант приказывает мне:

— Только ртом не чавкать. Не напоминай свинью. Терпеть не могу это противное животное.

— Есть, ваше благородие! — отвечаю.

Присматриваюсь к господам, с каких закусок они начинают и как едят, и сам стараюсь во всем им подражать. Беру ломтик белого хлеба, сначала намазываю его сливочным маслом, потом сверху покрываю зернистой икрой. Стоит она три рубля фунт, но зато вкусна же, окаянная! Балычок и семга — тоже подходящая закуска. Это тебе не в деревне, где можно под водку есть что и как попало — огурцы, редьку, капусту, селедку, картошку. У господ должен соблюдаться строгий поря-

док. По порядку — принимаемся за мясную еду: ветчина, разные колбасы, жареные цыплята. Заканчиваем швейцарским сыром. После коньяка я испробовал еще разные вина. А напоследок дают мне шампанского. Ну, доложу я тебе, и винцо! Раскупоривают бутылку — пробка летит вверх аршин на десять. А сам напиток пенится, искрится и шипит, как рассердившийся гусак.

Мне приказали костер разжечь и чайник вскипятить. Топора мы не взяли, но я и без него наломал ворох сучков. Дело это для меня привычное. Заполыхало пламя. Чай пили с пирожными. Это такая сладость, что тает во рту.

Раньше я думал, образованные люди — народ серьезный. А оказывается, некоторые из них по части озорства не уступят деревенским парням. Взять хотя бы Мишеля. Как он сам рассказал, его подтянул за что-то адмирал Бугров,— и лейтенант решил отомстить своему начальнику. Случилось это неделю назад. У Бугрова тяжело заболел сын. Мишель в похоронном бюро заказал гроб и послал гробовщика к адмиралу снять мерку с покойника. На второй день лейтенант узнал от адъютанта, что́ произошло от такой проделки. Адмирал и без того был расстроен; он, можно сказать, дрожал за жизнь своего сына. А тут появился гробовщик с аршином. Адмирал взбесился! Набросился на несчастного гробовщика, как зверь, и так его изувечил, что тот весь в крови ушел в свое похоронное бюро.

Обе барыни и мичман Володя надрывались от смеха и всячески восхваляли Мишеля за его находчивость. А «детка» больше всех хлопала в ладоши и кричала:

— Браво, мой милый лейтенант, браво! Предлагаю в его честь выпить еще шампанского.

Мишель разошелся и еще больше начал остроумничать. Особенно глумился он над женатыми:

— Ты, детка, для меня дороже всего на свете. Буду тебе верен — никогда не женюсь. Не хочу быть приговоренным к каторге с прикованием к тачке. Да и что такое у нас, в Петербурге, жена? Это — письмо, которое оплачивает марками муж, а читают все. Пью за здоровье моей детки.

Попойка продолжалась. Шумнее становилось у нас на лужайке.

Барыни все-таки воздерживались и больше забавлялись слабенькими напитками. А офицеры начали мешать водку, коньяк и вина и по чайному стакану выпивать. Как ударил им по-настоящему хмель в голову, пошли они куролесить. Что только они не выделывали! И песни пели, и через костер прыгали, и на траве кувыркались. Женщины хохочут, а офицеры еще пуще выкидывают всякие номера. Потом они парами разошлись в разные стороны и скрылись в кустах.

Я остался один у костра. Живот у меня набит так туго, что можно было бы на нем блоху раздавить. Ведь я один уничтожил пищи столько, что ее хватило бы накормить целую семью. Улегся я на травке и думаю о господской жизни: во что им обойдется одна только эта гулянка?

Долго офицеры и барыни пропадали, наконец, возвращаются — сначала одна пара, затем другая. Я смотрю на женщин — прически у них спутаны, платья смяты. Все мне понятно. Но мое дело маленькое — знай прислуживай. Опять все принимаются за выпивку. Пожилая барыня, видно, надоела Мишелю. Начинает он ластиться к моей барыне: то тихонько от других обнимет ее, то руку у нее поцелует. А она, видать, ничего против не имеет: улыбается ему и смотрит на него скромными глазами. Мичман Володя заметил это и сквозь зубы процедил:

— Я очень прошу тебя, трехаршинный джентльмен, умерить свои порывы.

Лейтенант рассмеялся:

— Ревнуешь, мальчик?

Володя сразу запузырился и даже побледнел. Слово за слово, пошла у них ругань. Стали они называть друг друга на «вы». Володя уличил Мишеля, что тот всегда норовит покутить только на чужой счет, и назвал его нечистоплотным. Лейтенант окрестил мичмана прыщом из адмиральской семьи. А тут еще и барыни сцепились между собою. И чего только они не наговорили одна другой! «Деточка» бросила моей барыне:

— Вы только третий год замужем, а уже десять любовников сменили.

Моя барыня рассвирепела.

— А вам досадно, что от вас все мужчины отворачиваются? Кто на такую старуху польстится? Придется вам какого-нибудь матроса приласкать.

Офицеры начали угрожать друг другу дуэлью. К сча-

стью, у них не было с собою револьверов. А то они тут же открыли бы стрельбу.

Но вот прибыли наши извозчики. На одном из них Мишель и пожилая барыня уехали вперед и даже не простились с недавними друзьями. Мы еще оставались некоторое время около озера. Барыня разрешила двум извозчикам кончать закуски и выпивку. Потом и мы помчались домой. Извозчики, захмелевши, гнали своих лошадей с гиканьем. Дорогой между мичманом и моей барыней, должно быть, произошла ссора. Она пересела ко мне, и Володя и около пристани не остановился, а помчался дальше.

С этого дня он куда-то запропастился совсем. Стал появляться у нас лейтенант Мишель. Значит, отшил он мичмана от барыни. Этот дает мне на чай по полтиннику. И барыня прибавила: каждый раз трешницей награждает. Стало быть, лейтенант пришелся ей больше по душе, чем мичман. Словом, теперь я живу в свое удовольствие. Пища хорошая, все меня любят, и доход кругом. Служить мне долго,— осталось еще около шести лет. За это время сколько я этих полтинников, трешниц и пятерок наберу! Хозяйство у меня в деревне плохое: избенка ветхая, лошаденку ветром качает, из скотины всего только две овцы. Вернусь со службы, все по-другому пойдет. Новый дом построю, куплю хорошего жеребца, заведу племенную корову. Буду первый житель в деревне. Может, барыня разохотится и еще одного ухажера заведет. Эх, и раздую же я свое хозяйство!

Мечта Псалтырева не осуществилась. Месяца через три я снова встретился с ним. Лицо его было в кровоподтеках. Нос и губы распухли. Я спросил:

— Что случилось? Где это тебя так разукрасили?

Псалтырев махнул рукой:

— Кончилась моя масленица, наступил великий пост. Вот балда! Ведь подвел меня!

— Кто?

— Да лейтенант, этот самый Мишель, чтоб у него всю жизнь было пусто в желудке. Милуется он с барыней, а в это время слышу звонок, длинный, уверенный. Сердце у меня так и дрогнуло. Замер я на месте. Что, думаю, теперь будет? Лейтенант ко мне на кухню. Я выпускаю его через черный ход. Потом бегу к парадной двери. Так и есть — сам барин передо мною. Выговаривает он мне, почему я так долго дверь не открывал. Я сочиняю ему: лицо, мол, было у меня в саже, умывался. А он подозрительно смотрит на меня, не верит. Лицо у него сердитое, мрачное. Разделся он и спешит прямо в спальню к жене. У меня сейчас же мелькнула мысль: должно быть, старая барыня, шестипудовая «деточка», из-за ревности написала донос моему барину. Ну, думаю, лейтенант успел уйти,— кажется, обойдется все по-хорошему. А вышло не так. Не прошло и двух минут, началось представление: барин орет, барыня визжит. С полчаса это у них так продолжалось. Зовет он меня в кабинет. Иду я и волнуюсь. Спрашивает барин меня:

— Как на горизонте?

А сам от злости так и задыхается. Что-то у него за спиною в руке. У меня еле язык повернулся:

— Чисто, ваше высокоблагородие!

Вдруг он как зарычит:

— Чисто, говоришь? А это что?

Мелькнуло передо мною что-то голубое. Я даже не понял, что у него в руке очутилось. И давай меня он этой самой голубой штукой по глазам хлестать. Мало ему показалось, начал кулаком по лицу долбить. Потом вдруг отшатнулся от меня и спрашивает:

— С кем я сейчас ругался в спальне?

— Со своей женой, Надеждой Александровной, ваше высокоблагородие.

— Врешь! Это не жена капитана первого ранга Лезвина, а это...

Он громко назвал ее таким словом, каким называют только уличных женщин, и прибавил к этому матерную брань. Вот тебе, думаю, и благородный человек! Да так выражаться про свою жену не всякий крестьянин позволит себе. А барин и мне приказывает:

— Повтори все то, что я сказал!

Привык я ко всяким словам, а тут стало не по себе. Просто совестно обидеть барыню. Ведь плохого я ничего от нее не видал! А тут еще мыслишка в голове ворочается: может, он хочет обернуть дело так, чтобы потом меня отдать под суд за оскорбление жены.

Барыня сначала плакала, а потом не слышно стало. А он наседает на меня, кулаки держит наготове. Первый раз он таким страшным показался мне: лицо бледное, глаза мутные, ржавая борода трясется.

Я тихо повторил его слова.

— Громче! — рявкнул он.— Убью на месте!

Вижу я, что барин сорвался с нареза и осатанел: не увернуться мне от его побоев. Эх, думаю, все равно погибать! И я так гаркнул, что стены дрогнули:

— Это не жена капитана первого ранга Лезвина, а это...

И точь-в-точь повторил его слова.

Барыня вбежала в кабинет и завизжала:

— Мерзавец! Старая калоша! Учишь вестового ругать меня?..

А я тем временем махнул на кухню, захватил свои вещи и понесся в экипаж. Что теперь мне будет, сам не знаю. Боюсь, изувечит, окаянный.

Псалтырев попросил у меня зеркало, посмотрел на свое отражение и промолвил:

— Как живописец размалевал мою карточку. Ну, ничего,— заживет. А все-таки я здорово наморДовался на господских харчах. Теперь придется на полпудика убавиться в весе.

И сразу же рассердился:

— Дурак он, старый дурак, барин-то мой! Что бы ему вернуться домой часика на два позже? Тогда бы все были довольны: и я, и барыня, и лейтенант, и больше всех — сам барин. Так нет же, принесла его нечистая сила не вовремя.

## VIII

С осени, после кампании, большинство матросов было распределено по разным школам. Из этих школ выходили судовые специалисты: комендоры, минеры, гальванеры, кочегары, машинисты, минные машинисты, сигнальщики, рулевые. Кроме того, были еще школы для унтер-офицеров тех же специальностей, а также для содержателей казенного имущества и строевых унтер-офицеров.

Захар Псалтырев ни в одну из них не попал. Его зачислили в расхожее отделение. Это означало, что он (и другие, подобные ему) должен выполнять работы, какие ежедневно назначает фельдфебель: пилить дрова, убирать с экипажного двора снег, вывозить мусор из корабельных мастерских, ездить с баталером за продуктами. И все же Захар не забыл о науке. Больше всего он хотел одолеть грамматику. По вечерам я диктовал ему из той или иной книги, а он писал. Потом он сам себя



проверял, сличая написанное им с подлинником и подчеркивая свои ошибки. Число ошибок у него уменьшалось с каждой неделей. Это его очень радовало. Теперь, присматриваясь к занятиям товарищей, он взялся и за арифметику. Казалось, для него не было трудностей. Если он намечал для себя какую-нибудь цель, то всегда ее достигал. За один месяц им были усвоены все четыре арифметических правила.

В экипаже пища была не та, к которой Псалтырев привык, будучи вестовым. А тут еще он настолько увлекся наукой, что у него мало оставалось времени для сна. Он похудел и осунулся, но по-прежнему оставался энергичным и веселым.

Изредка Псалтырев встречался с Валей.

Однажды я спросил его:

— Ну, как у тебя с нею?

Захар просиял белозубой улыбкой:

— Занятий стало меньше, а поцелуев — больше. Да она теперь и сама видит, что года через два я догоню ее. А потом дальше пойду. Это сильно повлияло на нее. Но главное — моя любовь к Вале горяча, как солнце, а от солнца, как известно, даже лед тает. Валя хоть сейчас готова пойти со мною под венец. Только начальство не разрешит мне жениться, пока я не кончу военной службы.

— Долго придется тебе ждать,— заметил я.

— Да, больше пяти лет. Ну, ничего. Зато, какая жена будет! Всем на зависть. И до чего она приветлива! Спасибо ее матери. Она все время внушает дочери, чтобы не очень зарилась на золотые погоны. Могут обмануть девушку и разбить всю ее жизнь. А для меня Валя — это вторая душа. Теперь и мать ее уверилась во мне. Она тоже не прочь видеть меня своим зятем. Не зря она велит мне, чтобы я учился хорошенько. Она считает, что я сначала должен выйти в унтер-офицеры, а потом остаться на сверхсрочную службу и добиться звания кондуктòра. Что ж? Может быть, она и права.

— А как поживает твой барин?

— Жена ушла от него. А он с горя еще больше стал жевать свою бороду. Пока обходится без вестового. Слава богу, про меня забыл.

Скоро в нашем экипаже произошло событие: жандармы арестовали пять человек, в том числе двух унтер-офицеров. Это произвело на матросов сильное впечатле-

ние. Во всех ротах втихомолку начались разговоры. Арестованные считались хорошими людьми. Ни в каких уголовных делах они не были замешаны. За что же их взяли, да еще ночью?

Псалтырев, возбужденный, прибежал ко мне и таинственно заговорил:

— Слышал я,— политические они. Будто они что-то замышляли насчет царя. Неужто верно?

— А почему же нет?

— Да ведь бороться нужно только против господ. От них народ много обиды терпит. А при чем же тут царь? И как без него мы будем жить?

Я сам ничего не понимал в политике и не мог ответить на его вопросы.

— Эх, поговорить бы с арестованными! Вот от них бы я все узнал. Только говорят, что они никогда больше не вернутся в экипаж.

Однажды утром, во время распределения матросов на работы, фельдфебель, ткнув пальцем в грудь Псалтырева, сказал:

— А ты придешь ко мне в канцелярию за нарядом.

Псалтырев заволновался, ничего, кроме каверзы, не ожидая для себя от начальства. Действительно, так и случилось. Через полчаса, вручая какой-то запечатанный пакет и билет для проезда по железной дороге в Петербург, фельдфебель строго его наставлял:

— Вот, бери и запомни, что скажу. Твое счастье, что других таких на примете нет. Я тебя рекомендовал вестовым к важному лицу во флоте. Потрафишь — в люди выйдешь. Наверно, ты слышал про сиятельных графов Эверлинг? Так вот, молодой граф в нашем экипаже лейтенантом служит. Иди к нему, это дело тебе знакомо. Только предупреждаю: если подведешь меня... жизни не рад будешь.

Псалтыреву не хотелось опять идти в вестовые, поэтому он никак не мог разделить восторгов фельдфебеля. Ему все еще мерещились классы той или другой специальности моряка. Рассказывая о своем новом назначении, он горько жаловался мне:

— Беда, брат! Только от одного барина отделался, а теперь к другому... Из огня да в полымя! Видишь, как оно выходит, дело-то. Ты хочешь одно, а косоглазая судьба подсовывает тебе совсем другое. И почему это так устроена жизнь, что ты обязательно должен занимать на земле совсем не то место, какое любо тебе? А всего досаднее, что с Валей придется расстаться...



На минуту он задумался и заговорил уже примиренно:

— Ладно. Если Валя по-настоящему меня любит, то ничего не изменится. А я испытаю новую жизнь. Может, удастся чему-нибудь поучиться. Офицеров я узнал. Посмотрю теперь, как графья живут.

Прошло три недели. Под вечер я сидел у себя в роте и читал роман Виктора Гюго «Отверженные». Вдруг рядом раздался сердитый окрик, заставивший меня вздрогнуть:

— Опять за книгой?

Я машинально вскочил и тут только понял, что это, подражая фельдфебелю, решил попугать меня Псалтырев. Он стоял передо мною и улыбался — полнотелый, отъевшийся на графских харчах.

Поздоровавшись, я спросил:

— Как дела? Совсем вернулся в экипаж или отпущен на время?

— Дела, как терка, корявые. И у этого барина просыпался я. Граф что-то написал тут обо мне,— ответил Псалтырев, размахивая пакетом,— иду в канцелярию, к дежурному офицеру. Потом все расскажу.

Псалтырев, нагнувшись, на ухо добавил мне:

— Я все-таки сейчас успел повидаться с Валей. Обрадовалась она...

Псалтырев повернулся и быстро удалился.

Вскоре под конвоем он был отведен на гауптвахту. Две недели ему пришлось питаться только хлебом и водой. Несмотря на это, он вернулся по-прежнему веселый, точно побывал на родине. И я с интересом слушал его рассказ.

— Прибыл я в Петербург, нашел улицу, и дом сразу показали — всем известен, стоит особняком. Этажей немного, только три, а в длину и ширину много места занимает. Кругом железные решетки, высокие. От них меня даже оторопь взяла — боязно как-то стало. А парадный подъезд — это, по-нашему, крыльцо — широкий, с каменными ступенями и по бокам какие-то чугунные чудовища, не то птицы, не то звери сидят. Поднялся я по лестнице и остановился у тяжелых дверей. Вместо

скобок висит на них большое кольцо медное. Смотрю, дверь сама потихоньку открывается. Я вхожу. Передо мною человек, высокий и толстый, с пышными седыми бакенбардами, с голым подбородком, и такой весь важный, как будто он тоже барин. Длинное пальто и картуз с ясным козырьком, все в золотых позументах. Брюки навыпуск, ботинки сверкают, как черное зеркало, хоть глядись в них. Догадываюсь: швейцар. Вот это, думаю, должность! Только открывай да закрывай дверь, вот и вся работа, а ходят, видно, сюда господа по разбору, редко. Тут здоровья не надорвешь. Перед этой особой я, натурально, вытянулся, сделал под козырек, показываю пакет и умышленно величаю швейцара, как офицера:

— Куда, ваше благородие, прикажете сдать бумаги?

Лицо его расплылось от удовольствия, он добродушно заговорил:

— Не в этот подъезд, парень, ты попал. Тут только господа ходят. Свороти во двор. Спроси у дворника, где контора. Там передашь.

— Меня, ваше благородие, назначили вестовым к вашему графу.

Старик расправил бакенбарды, заговорил медленно и важно:

— Хорошее дело. Его сиятельство — это тебе не простой офицер. Наш барин при дворе часто бывает, с высочайшими особами знается. Послужить его сиятельству — большая честь, и сам ты вроде как бы благородным человеком становишься. Всю жизнь потом гордиться будешь. Только смотри, парень, держи ухо востро, не всякий удостоится графской милости. Много уже вас таких у него побывало.

Слушаю швейцара, а сам думаю: «И чего ты мне плетешь, мусорная головушка?» А сказал другое:

— Спасибо за совет, ваше благородие!

В конторе взяли у меня пакет, часа два я там просидел — ждал распоряжения. Наконец в нижнем этаже показали мне небольшую комнатку. Два стула, столик, шкаф и железная койка — вот и вся мебель.

Началась моя новая жизнь.

Моим соседом по комнате оказался повар-соусник, Прохор Савельич. На графской кухне, кроме него, было еще два повара: кондитер и главный.

Но для меня самым интересным человеком оказался этот самый мой сосед-соусник. До сорока лет он дожил



холостяком. Те два повара оплыли жиром, а этот, удивительно даже: на таких харчах — и такой был поджарый. Усы он брил, чтобы не пачкать их соусом во время пробы, а бородку только подстригал. Заостренным концом она загибалась у него к горлу и была похожа на запятую. Круглые глаза немного пучились. Голову держал прямо, и на ней ширилась лысина, плоская и блестящая, как поднос. По вечерам, отделавшись от стряпни, Прохор Савельич любил хватить чайный стакан водки, настоенной на ржавых гвоздях. По его словам, такая настойка самая полезная,— железо всасывается в кровь. Кто во что верит!

С соусником я сразу подружился. А произошло это вот как. Будучи на кухне, я невзначай обжег себе пальцы у раскаленной плиты. Другие меня обозвали «разиней», а Прохор Савельич достал пузырек с прованским маслом, смочил им тряпочку, приложил ее к ожогу и дружески заговорил:

— Это пустяки. Пройдет. А вот представь себе, что ты годовалый ребенок. Тебя приманивает все ясное и светлое. А рука твоя необыкновенно длинная и может вытянуться на любое расстояние. И вот ты увидел первый раз солнце и по-ребячьи им заинтересовался. Твоя рука невольно потянулась высоко к небу потрогать заманчивый светлый шар. Ты обязательно обожжешь пальцы, как о плиту, только еще сильнее. Но интересно знать — через сколько времени ты почувствуешь боль?

— Наверно, как от молнии, сразу,— ответил я.

Соусник хитро улыбнулся:

— Ошибаешься, моряк. Вижу, что астрономию не читал. Знай же: ты почувствовал бы боль не сегодня и не завтра, а только через сто шестьдесят семь лет.

На кухне все засмеялись над этими словами.

— Как будто и разумный человек, а мелет чепуху. Это ты, Прохор, от своих книг заговариваться начинаешь,— укорял его главный повар.

А я даже обиделся:

— За дурака, что ли, вы меня считаете, Прохор Савельич? Понять не могу.

— Клянусь здоровьем, правду я говорю. Могу доказать. Да сейчас некогда. Сварю соуса, подам к столу, тогда заходи ко мне в каморку.

Вечером я пришел к своему соседу. Он показал мне

книгу — «Популярная астрономия», сочинение Фламмариона. Своими глазами я прочитал на странице раскрытой книги то, о чем говорил Прохор Савельич. Впервые здесь я узнал, что солнце от нашей земли отстоит на сто сорок восемь миллионов километров. Так и выходит: ощущения по нервам передаются со скоростью двадцати восьми метров в секунду, а на таком расстоянии, как от земли до солнца, боль от ожога почувствовалась бы через сто шестьдесят семь лет.

До поздней ночи я засиделся у моего нового знакомого. Его рассказы о разных чудесах удивляли меня. С этого раза я часто стал бывать у него.

Потом я взял у соусника еще несколько книг по астрономии. Ну, до чего же интересна эта наука! Как у нас в деревне говорят о звездах: это, мол, лампады, которые на ночь зажигают ангелы. А оказывается, каждая малюсенькая с виду звездочка может быть больше солнца. Так через соусника я впервые дознался о планетах, о кометах и о том, что земля вертится вокруг солнца. И особенно я запомнил слова Прохора Савельича, что астрономия нужна морякам. Без нее штурман — это все равно, что поп без святцев или требника.

Но что за человек этот Прохор Савельич! Умнейшая голова! Разговорится, только слушай его. Даром, что соусник. Науками интересуется, и говорить о них было ему не с кем: вот он и обрадовался мне,— хоть один слушатель нашелся... Кстати, через него я узнал и о жизни своего нового барина. И тоже дивился немало.

Раньше капитан первого ранга Лезвин казался мне богачом. А теперь я понял, что в сравнении с графом он просто нищий. Кроме петербургского особняка, у графа есть еще шикарная дача в Гатчине, да еще больше двухсот тысяч десятин собственной земли. Имения его разбросаны в трех губерниях. Большие доходы ему дают и винокуренные заводы. Градоначальник, генералы, адмиралы и даже министры считают за честь водить с ним знакомство. Значит, распоряжается он в жизни всеми делами, как фельдфебель новобранцами.

Слушал я Прохора Савельича, и у меня голова кругом шла. Какие же бывают богатые люди на свете! Один только графский особняк чего стоит! Шутка сказать, ведь в нем могут разместиться все жители нашего села. Семьдесят две комнаты и три зала: большой, средний и малый, каждый — для разных случаев жизни: для балов,



танцев, концертов, обедов. Есть и молельная, и биллиардная, и комната, где только в карты играют. И каждое помещение отделано по-разному: то все малиновое, то голубое, то розовое, то под серебро или под орех разделано. В некоторых комнатах стены оклеены обоями, в других — затянуты шелком. А сколько там разных ваз, статуй, мебели понаставлено, картин понавешано! Даже на потолке картины разрисованы и фигуры占 поналеплены. И к чему все это, ума не приложу. Все равно на такую высоту пялиться — шея заболит. Есть вазы выше человеческого роста, голубыми цветами раскрашенные. В каждую из них может войти мер пять овса. А тут они стоят пустые и без всякой пользы. Широкая лестница застлана коврами, а по бокам — на фигурных столбах — горят фонари. И куда ни глянь,— зеркала во всю стену. Когда идешь, то видишь себя и сзади, и спереди, и сбоку, и кажется: не один ты, а целый взвод шагает со всех сторон. Одним словом, столько диковин наворочено, что глаза можно растерять. И все такое хрупкое, что дотронуться страшно,— того и гляди разобьешь. В самом большом зале висит люстра, преогромная, лиловый хрусталь на ней. Цены нет! Сто̀ит, почитай что, дороже всего нашего деревенского стада. В этом зале могут разместиться за столами сразу две роты, и всем места хватит. Не дом, а дворец!

Хоромы огромные, а вся семья графа состоит только из четырех человек: сам граф — Леопольд Генрихович, в чине лейтенанта флота; мать, уже старуха; жена, Луиза; дочь у ней, Тамара, грудной ребенок. А сколько людей их обслуживают! Кроме трех поваров, еще больше двадцати человек наберется: швейцары, лакеи, официанты, горничные, дворники, кучера, камердинер, домашний доктор, кормилица, судомойки. И над всеми есть управляющий домом. Сначала я даже путался среди них и некоторых, по ошибке, за господ считал. Многие одеты нарядно, разве сразу разберешься?

Три дня я жил, графа не видел и ничего не делал. Учили все меня, как я должен стоять, повертываться, с какой стороны и когда заходить, если граф за стол сядет; как ему отвечать, как подавать. Столько упражнений прошел, точно в театр готовился. Давали мне поднос с горкой тарелок и учили, как расставлять их на столе. Мои обязанности в этом доме, как мне объяснили, были маленькие: убрать кабинет и подать завтрак графу.

А кабинет устроен на морской лад, и в него ни одна горничная не имела права входить. Как я понял, граф воображал, что здесь он находится на военном корабле, а потому и не должна сюда заглядывать женщина. Только вестовой может кабинет обслуживать.

Наконец меня допустили к самому графу. Я нарядился во флотский костюм первого срока, на руки натянул белые перчатки. Лакеи меня кругом вертели, осматривали — все ли в порядке. Против дверей, за которыми занимается граф, в стене — углубление, по-господски называется ниша, а в ней — столик. Это мой дежурный пост по утрам. На столике приготовлен серебряный поднос с разными тарелочками и кофейником. На тарелочках — тонко нарезанные ломтики белого хлеба, ветчина, семга, сливочное масло, зернистая икра, сыр бри, яйца всмятку, сардины, сосиски из рябчиков, печенье и ваза с фруктами. Это — завтрак. Я посматриваю на часы. У меня такое состояние, будто меня сейчас будут судить и мне грозит каторга. Я стараюсь себя успокоить, упрекаю себя в трусости, но все равно волнуюсь. Ровно в восемь часов камердинер говорит: «Пора». И открывает передо мной дверь. Я вхожу в просторную комнату. Осторожно разгружаю все с подноса на стол. Куда что поставить, как ножи и вилки положить и все прочее — это мне теперь уже известно.

Мельком я оглядываю комнату. Хоть немного, но мне пришлось поплавать на корабле. Видел я там обстановку. И замечаю, что здесь у графа все украшено по-морскому. На стенах — картины морских боев. Один угол похож на штурманскую рубку. На письменном столе — модель военного корабля с пушками, чернильница с якорем и якорным канатом, барометр. Перед столом на тумбе — штурвал и магнитный компас. И тут же — на стене — разные морские приборы.

Эх, думаю, вот где живет, наверное, настоящий моряк!

В восемь часов десять минут входит в комнату сам граф.

— Здорово, братец,— слышу я его тихий голос.

Я быстро повертываюсь к нему, вытягиваюсь и браво отвечаю:

— Здравия желаю, ваше сиятельство!

— Давно на военной службе?

— Второй год, ваше сиятельство!



— Вольно. Продолжай свое дело.

Граф — высокого роста, статный. Ему лет двадцать пять, а удлиненное лицо у него нежное, как у подростка. Нос прямой, усики завиты так, точно он приклеил к верхней губе два обручальных кольца. Голова правильной формы, светлые волосы аккуратно зачесаны на прямой пробор. Словом, весь он как будто точеный. Красавец! Вот что значит высшая порода! Только одно меня удивило в нем: имеет несметные богатства, из пищи ни в чем себе не отказывает, а все-таки такой бледный, как будто его долго трепала лихоманка.

Граф садится за стол и начинает завтракать. Я наливаю ему стакан душистого кофе, добавляю топленых сливок и становлюсь в стороне, как меня учили. Как только опорожнится стакан, я снова наполняю его, пока не услышу: «Довольно». Полагается, чтобы кофе было и не холодное и не горячее. Избави бог, если граф обожжется. Я наблюдаю за ним,— ест он меньше, чем пятилетний крестьянский мальчик. У меня начинает шевелиться любопытство: какие мысли копошатся в графской голове? Мне он кажется невероятно умным, обходительным и добрым человеком.

Завтрак кончен. Граф переходит к другому столу. Он начинает просматривать какие-то бумаги, и я убираю посуду на поднос и ухожу.

И так вот каждый день. Моя главная обязанность подать завтрак графу, а когда он уйдет, убрать его комнату. Обедает и ужинает он с семьей. А я приставлен к нему только для того, чтобы хоть по утрам он чувствовал себя, как на корабле. Из-за этого держат лишнего человека в доме — матроса.

Как-то я спросил соусника:

— Почему это почти все господа такие красивые?

Прохор Савельич смеется:

— До всего ты хочешь допытаться, моряк. Это хорошо.

И начинает объяснять:

— Если ты хочешь знать, вот в чем тут причина: женщины улучшают породу господ. Клянусь здоровьем! Возьмем для примера какого-нибудь знатного и богатого человека. Лицо у него скуластое и приплюснутое, нос седлом и задрался вверх, точно астрономией интересуется, губы толстые, точно у лошади. Ведь от того, что этот

человек будет кушать шикарные блюда с моими соусами, он только разжиреет. Но лицо у него не вытянется, скулы у него не убавятся, нос не станет с горбинкой и губы не станут тоньше. Противно смотреть! И все же за такого урода охотно выйдет замуж любая красавица из бедных. Клянусь здоровьем! Женщину прельщают деньги, слава и роскошная жизнь. От такой супружеской пары дети будут уже не такими уродами, как их отец. Прими еще в расчет: жена такого мало приятного мужа приищет себе красавца на стороне. Тогда уже насчет улучшения потомства дело обеспечено. Дети подрастут и в свою очередь женятся на красавицах. Таким вот манером и получается особая, господская порода. Понятно?

— Как не понять...

— А теперь возьмем обратное явление. Почему у некоторых господ начинает ухудшаться их порода? Я говорю насчет красоты. Это бывает у прогоревших аристократов. Через женитьбу ему нужно поправить свои дела. Он уже не разбирает, какая у него будет жена. Пусть она дурна собой, лишь бы за ней были большие деньги или через нее можно продвинуться по службе. Вот как это происходит. И тут опять влияют женщины.

...По праздникам все слуги графа в обязательном порядке собираются в молельне. Можно сказать, весь домовый экипаж налицо, и я в том числе. Граф с семьей тоже присутствует. Набожный, видать, человек,— сам усердно молится богу и следит, чтобы и другие так делали. Вообще он человек степенный, с женой живет ладно, не так, как мои бывшие господа Лезвины.

Молельня эта совсем не похожа на другие графские помещения. И церковью ее тоже нельзя назвать. Потолки невысокие и без всяких украшений. Старинные иконы прямо в стены вделаны, перед ними подсвечники стоят. В маленькие окошки проникает мало света.

Я молиться ленив, но тут душа как-то по-иному настраивается. Священник — молодой, краснощекий, в меру сытый. Подаст он возглас, и хор так подхватит, как будто тебя на крыльях уносит в небо. В хору участвует человек двадцать — мужчины и женщины. Голоса на подбор. Особенно на меня влияло подвешенное к потолку, вместо паникадила, светящееся сердце из красного стекла. Горит оно тусклым светом, но кажется живым,— словно кровью облитое. В старину, говорят, царские особы заходили сюда молиться вместе со старым графом — отцом нашего барина.



От графского стола остается очень много пищи. Прислуга пользуется этим и подчищает тарелки и кастрюли. Всем хватает. А пища-то какая! Чего только не придумает старший повар! Я наблюдаю за ним и записываю все себе на память. Возьмет он ломтики швейцарского сыра, обмочит их в сболтанном яйце, положит на греночки, потом накроет ломтиками костного мозга, и все это запекается в духовом шкафу: любимое кушанье графа. Называется оно — крутон моэль. А поглядеть на жаркое из фазана и рябчиков. Картина! Фазан красуется на крустадах, а вокруг него разложены половинки рябчиков на крутонах. К этому блюду полагается зеленый салат и брусника. Иногда графу захочется суп из бычьих хвостов, а на второе — филей из серны. Уж на что, кажется, стерлядь вкусная рыба, но ему готовят ее разварной на шампанском. Прохор Савельич старается насчет разных соусов. Из них к каждому блюду должен быть свой особый сорт. Даже трудно запомнить все названия: голландский, марешаль, сборный, горчичный, татарский, желтый, польский, грибной, королевский, соус из раков, с миндальным молоком, из шарлоток, из лимонного сока и мадеры, из вишни, из трюфелей. Смотрю я на Прохора Савельича: то он жженого сахара подложит в кастрюльку, то подольет какого-нибудь вина — мадеры или хереса. Оказывается, это тонкая специальность — быть соусником. Он говорит мне:

— Я могу приготовить такой соус, что ты с ним съешь котлеты из древесных опилок и только оближешься от удовольствия. Клянусь здоровьем!

А кондитер свое выделывает: слоенки, пирожные, печенья. Иногда он приготовит торт, похожий на крейсер. Словом, все должно быть красивым, вкусным, и каждый день нужно придумать что-нибудь новое.

И вот иногда по вечерам сидим мы с соусником вдвоем и рассуждаем о графской жизни. Прохор Савельич все знает. Он тебе расскажет, где и что добывается и какая этому цена. Сколько людей обслуживает графа дома и сколько работает на него на стороне. Не только в России, но и во всем мире трудятся для него. Ведь есть же у нас хорошие напитки. Нет, дай ему заграничные вина: из Италии — марсалу, из Франции — коньяк и шампанское, из Германии — рейнские вина, из Испа-

нии — малагу и Педро Хименес, из Англии — эль, портер, с острова Мадера — вино мадеру, из Капштадта — капштадтское вино. А если говорить о пище, то придется перечислить еще больше стран. Ему поставляют: Италия — омары, остров Сардиния — сардинки, Португалия — яблоки апорт, Франция — разные сыры, Бельгия — остендские устрицы, Яффа — апельсины, Алжир и Тунис — лангусты, остров Цейлон — ананасы, Турция — виноград и кофе мокко, Азорские острова — бананы и помидоры. Всего не перечислить.

Прохор Савельич подсчитывает, во что обходится графу и его семье только один день жизни. А я слушаю и думаю: боже ты мой, господи! За что, за какие благодеяния ты так милостив и щедр к графу? И почему ты к другим людям так жесток и беспощаден? Ведь попостись граф лишь один день, и деньги, что сбережет на этом, передай нашему селу — какое было бы счастье! У нас не осталось бы ни одного безлошадного и бескоровного двора. А святые отцы по целым неделям постились, и то не умирали. Соусник продолжает подсчитывать и другие расходы: выезды, театры, музыка, гости. А расходы на содержание в столице такого большого дома? Или — гатчинской дачи? Цифры растут... Прохор Савельич спрашивает меня: сколько в нашем селе бедняков? Я сообщаю ему. Он начинает распределять графский дневной расход по беднякам. Получается: один бы день экономии, не осталось бы у нас в селе ни одного захудалого жителя. Все они были бы со скотиной и все оделись бы во все фабричное. А тут эти расходы и труд множества людей идут только на то, чтобы граф и его маленькая семья чувствовали себя хорошо.

Когда соусник говорит о графской жизни, его плоская лысина покрывается, словно росой, мелкими каплями пота. Видать, что в душе у него закипает ненависть к богатым. И меня он своими подсчетами будто крапивой обжигает. Граф кажется мне уже не таким добродушным человеком, как в первый день...

Я спрашиваю:

— А для чего вы, Прохор Савельич, все это рассказываете мне?

— К слову пришлось. А, между прочим, цифры так же очищают мозг от тупости, как очищает гребешок волосы от насекомых. Клянусь здоровьем, это верно.

Я продолжаю любопытствовать:



— У графа кабинет обставлен, как штурманская рубка. Должно быть, он любит корабли, море. Может, это самый умный моряк во всем нашем флоте.

Он метнул на меня жесткий взгляд и говорит:

— Некоторые простачки блажь принимают за ум. Ценность фруктового дерева определяют по его плодам, а человека — по его делам.

К Прохору Савельичу иногда заходит горничная Ксения. Ей лет тридцать пять. Женщина расторопная и разговорчивая. Все у нее в норму, только носик подгулял: половину лица занимает. Метит она соусника в мужья себе и вместе с ним хочет собственный ресторанчик открыть. У нее уже шестьсот рублей денег накоплено. Но у того что-то другое на уме. Она приставлена к старой графине и должна ее одевать и раздевать, мыть. От этой горничной я тоже много знаю о своих господах. Старая графиня совсем дряхлая, сама ходить не может — ее водят под руку. Сидит она по целым дням в креслах и четки перебирает. Есть ей ничего нельзя, кроме манной каши и киселя из свежих фруктов. И все она старину вспоминает,— какая тогда веселая жизнь была, а теперь никуда не годится. Невдомек ей, что в молодости все кажется хорошо. Повидал я и молодую графиню. Где только, думаю, таких жен выбирают? Высокая, статная, лицом — кровь с молоком. Значит, правильно соусник сказал: через женщин улучшается господская порода. Таких, как эта графиня, я только на картинах видал. А родную дочку свою, Тамару, грудью она не кормит. Кормилицу для девочки наняли. Как-то встретился я с девочкой; сидит она в коляске, показывает на меня пальчиком и улыбается. Ей пока все равно, кто и какого происхождения. Ну, до чего же красивая она! Ангелочек! Меня больше всего удивило: мать не кормит свое родное дите! Как это так можно? Будь она чахоточной — другое дело. А то ведь пышет здоровьем. Неразумные животные, и те кормят детенышей своим молоком, а эта не хочет. А почему? Боится истощить себя и потерять красоту.

Присмотрелся я к графу — заносчивый человек! Со мной почти не разговаривает. Я хожу на цыпочках и все делаю молча, словно у меня нет ни языка, ни голоса. Вероятно, он на всех людей смотрит так же, как смотрит хозяин на своих лошадей,— все должны для него работать, чтобы ему хорошо жилось на земле. Это не то, что

мой прежний барин. Тот — простяга, хотя чинами и старше его. А у этого гляди в оба. Однажды я убирал его стол и поставил письменный прибор не на то место, на каком он раньше находился. На каких-нибудь полвершка сдвинул его с прежнего места. Но граф даже такой пустяк заметил. Показывает пальцем на письменный прибор и строго говорит:

— Чтобы этого больше не повторялось.

— Есть, ваше сиятельство!

Стал я привыкать к своим обязанностям. Да и не все ли равно, где служить?

Но муха, когда садится на клейкую бумагу, не знает, что она может влипнуть. Так случилось и со мной. В двенадцать часов граф обычно куда-то уходит из своего кабинета и до следующего утра редко когда возвращается к письменному столу. Без него я и стараюсь везде навести чистоту. И все меня притягивают книжные шкафы. Что за сокровища скрываются за стеклами? Читаю на корешках книг разные названия: «Лоция», «Навигация», «Теория кораблестроения», «Морская практика». Никогда я этих книг не трогал. Но вот попалась мне на глаза «Морская астрономия». Вот о ней-то, вероятно, и говорил мне соусник. И такое любопытство меня охватило, что дрожь по телу пошла. Достал я эту книгу, уселся в кресло за графский стол и с волнением раскрываю ее. И что же? Ничего не могу понять: слова замысловатые и все чертежи какие-то и рисунки, а на них — цифры и нерусские буквы. Как же, думаю, так получается? У соусника я брал книжки по астрономии — там все ясно, а тут я — как баран перед чудотворной иконой. Перелистываю книгу дальше — то же самое. И не заметил я, как вошел в кабинет граф Эверлинг, а когда увидел его,— было уже поздно. Я вскочил и замер на месте. Он подходит ближе и смотрит на меня такими злыми глазами, точно я у него жену отбил, и спрашивает:

— Просвещаться вздумал? Уселся за моим столом и моими книгами интересуешься?

У меня даже во рту стало сухо.

— Виноват, ваше сиятельство.

— Положи книгу на место.

А когда я это исполнил, он приказал мне повернуться кругом и потом в спину тихо скомандовал:

— Чтобы твоего духу не было здесь, вобла паршивая! Шагом марш!



Вскоре управляющий вручил мне запечатанный пакет, который я должен доставить в свой экипаж по начальству. Я рассказал соуснику, что произошло у меня с графом. Он покачал головой и сказал:

— Да, участь твоя незавидная.

К вечеру он пригласил меня к себе в каморку. На столике у него уже были приготовлены разные закуски. Сам он выпил стакан настойки на ржавых гвоздях и мне поднес. Сидим, угощаемся и разговариваем.

Я жалуюсь ему:

— Ведь не украл я у графа эту самую «Морскую астрономию». Неужели, если я — матрос, мне и заглянуть нельзя в книгу? Я только хотел узнать, как это моряки пользуются астрономией. А ведь от этого ничего не сделается книге. Теперь, наверное, накажут меня. За что, спрашивается? Где же правда?

Прохор Савельич внимательно посмотрел на меня и говорит:

— Ты захотел правды? Она есть на земле. Но только кривда пока сильнее ее. Я расскажу тебе сказочку. А ты запомни ее и поразмысли над ней.

Таких людей, как Прохор Савельич, редко встретишь. Говорю — умнейшая голова. Мы расстались друзьями. Конечно, его сказку я никогда не забуду. Вот она.

В столичном городе на улице встретились Кривда и Правда.

Кривда была телом полная, лицом румяная, одета вся в шелка. Золотые перстни и серьги сияли у нее бриллиантами. Шею украшало ожерелье из самых лучших жемчугов. Кривда была уродливая, но все говорили, что она первая красавица. Она могла зайти в любой сад, в любой самый богатый дом и даже во дворец. Всюду для нее были открыты двери, всюду люди уступали ей дорогу. Что бы она ни сказала, ей поддакивали, с ней во всем соглашались. Все перед нею преклонялись и говорили ей одни ласковые слова. Если она ударяла какого-нибудь бедняка по лицу, тот счастливо улыбался и просил еще раз удостоить его такого счастья. Она ударяла его еще раз и говорила, что претерпевший до конца наследует царство небесное. А пока что избитый бедняк получал от нее, как милость, монету на фунт черного хлеба. Кто мог пойти против Кривды? Она заправляла жизнью людей.

Правда была красавица собой, но уж очень много вынесла она горя и страданий. Мало было людей, которые уважали ее. Отовсюду ее гнали: с фабрик, с заводов, из домов, с любой работы. Вместо одежды на ней висели жалкие отрепья. И сама она до того была худа, что едва передвигала ноги. Только глаза у нее горели яростным огнем,— это-то больше всего и пугало людей. Ей нельзя было появиться на главных улицах. Чистая публика шарахалась от нее и начинала ворчать:

— Зачем пускают сюда эту рвань? Чтобы кошельки таскала из наших карманов? Да она и заразить может нас какой-нибудь пакостной болезнью...

Сейчас же городовые хватали ее за шиворот и прогоняли с главной улицы. Если же она сопротивлялась, то сажали ее в клоповник. Но ее ничем нельзя было запугать. Она не боялась людям говорить обличительные слова. За это ее сажали в тюрьму, ссылали на каторгу. А она опять появлялась среди людей. На свете не было таких оков, которые могли бы сломить ее упрямство.

И вот на широкой улице столкнулись лицом к лицу Правда и Кривда. Разговорились. Кривда в этот день была в барышах,— значит, веселая.

— Все бедствуешь? — спросила она Правду и усмехнулась.

— Да, такая уж моя участь. До поры до времени я еще много должна буду перенести всяких мучений.

И в свой черед спросила Правда:

— А ты, как видно, все богатеешь? Все народ обираешь?

Кривда расхохоталась:

— Пока на свете водятся дураки, я, слава тебе господи, живу хорошо. Пойдем со мною — угощу в самом богатом ресторане. Кстати, поучишься от меня, как нужно жить на свете. И тогда начальство будет тебя уважать, а попы благословлять.

Подумала Правда,— одну ее никогда не пустят в богатый ресторан, а не мешает узнать, чем Кривда живет.

И действительно, нашли такой богатый ресторан, где даже лакеи наряжены по-господски. Правду не хотели было пустить в ресторан, но Кривда прикрикнула на служащих:



— Не перечить моему нраву! Эта особа со мной идет. Я хочу наставить ее на путь истинный.

Никто не посмел возразить Кривде.

Уселась она с Правдой за столом и начала заказывать разные яства и вина. Ели и пили часа три. Подали счет на восемьдесят рублей. Пора уходить. Правда думает: как теперь Кривда будет расплачиваться? А та позвала лакея да как закричит на него:

— Ты что же это, негодяй такой, сдачи мне не даешь? Взял с меня сто рублей и думаешь зажилить двадцать рублей?

Лакей испугался и забормотал:

— С чего сдачи? Вы мне еще не платили.

Кривда рассвирепела:

— Значит, я, по-твоему, вру? Выходит, не ты, а я жулик? Позвать хозяина!

Приходит толстый человек. Кривда раскрывает свой бумажник, вытаскивает из него сотенные да пятисотенные бумажки и орет на хозяина:

— Это безобразие! Это не ресторан, а разбойничий дом. Здесь среди бела дня людей обирают! Вашему жулику я дала сто рублей, а он не принес мне сдачи. Да еще хочет второй раз получить с меня по счету. Я буду жаловаться генерал-губернатору. Он закроет ваш жульнический притон навсегда. А тебе, укрывателю мошенников, не миновать тюрьмы.

Хозяин задрожал от страха и побелел, как мельник. Отдал он Кривде двадцать рублей. Потом повернулся к лакею и давай колотить его по морде. Мало того, хозяин стал угрожать ему:

— Сегодня же я из твоего имущества наберу всяких вещей на сто рублей. Ты опозорил мой ресторан перед такой знаменитостью. Чтобы твоя нога не была больше здесь. Вон отсюда сию минуту.

Лакей горько заплакал:

— Господи, где же правда на этом свете?

Правда хотела заступиться за несчастного. Но тут Кривда горчицей залепила ей рот.

Когда вышли на улицу, Кривда спросила Правду:

— Теперь поняла, как нужно жить?

— Да,— ответила Правда.— Я для того и пошла с тобою, чтобы хорошенько узнать твою натуру. Но откровенно скажу: твои годы сочтены.

— Почему ты так думаешь? — спросила Кривда.

— С каждым годом ты дряхлеешь, превращаешься в развалину. А у меня все идет наоборот: я наливаюсь силами, становлюсь все крепче. Придет время, когда я заговорю полным голосом, заговорю о всех твоих мерзких делах. Меня услышат все народы нашей земли, и тогда для тебя, Кривда, и для всех твоих почитателей наступит лютое время. Ты будешь ползать у моих ног, будешь просить помилования, но для тебя не будет пощады. Народ сотрет тебя с лица земли, как поганую нечисть. Прощай!

Правда гордо пошла одна, а Кривда хотела позвать городовых, но у нее от ужаса пропал голос и не поворачивался язык.

## IX

Спустя еще два месяца фельдфебель объявил Псалтыреву, чтобы он немедленно отправился в прежнему своему барину, капитану первого ранга Лезвину. Захар был смел и решителен, но тут он оробел. Приближаясь к знакомой квартире, он не сомневался, что ему предстоит пережить жестокую расправу. Может быть, его отдадут под суд. И у кого он, матрос, найдет себе защиту? Дезертировать? Но где достать документы? Рука его дрогнула, когда он нажал на кнопку звонка. Дверь с черного хода открыла ему кухарка Настасья Алексеевна. Она обрадовалась его приходу, морщинистое лицо ее оживилось. На кухне, сообщая ему новость, она зашептала:

— Запил барин горькую. До женитьбы это тоже с ним случалось, но не так часто. При барыне он сдерживался. А теперь опять сорвался. Сколько я бутылок ему перетаскала! И такой задумчивый стал, что даже боязно у него жить. Того и гляди, руки наложит на себя. За такую, можно сказать, ветреную бабу и так страдает. Слава богу, что ты пришел. Это я надоумила его: лучше, мол, Захара не сыскать вам вестового.

Она хотела еще что-то сказать, но вдруг повернулась к горячей плите и вскрикнула:

— Ах, боже мой! Вот разболталась с тобою, а тут мясо пригорает.

Псалтырев робко вошел в спальню. Лезвин, в одном нижнем белье, лежал на кровати, прикрыв одеялом ноги. У его изголовья стоял маленький круглый столик с недопитым стаканом черного кофе. Сразу же бросилась



в глаза перемена в барине: лицо его осунулось, постарело, под глазами обозначились темные круги, ржавая борода была нечесана. Его можно было принять за больного. Он тихо поздоровался с Псалтыревым, а потом спросил:

— Хочешь, Захар, опять служить у меня вестовым?

Псалтырев, обрадовавшись, резво ответил:

— Рад стараться, ваше высокоблагородие!

— Отлично. Только скажи мне откровенно, Захар, почему ты тогда обманул меня? Почему ты не сообщил о том, что было в моей квартире?

— По правде сказать, ваше высокоблагородие, я хотел обо всем доложить вам, да не решался. Жалко было вас. Вы и без того мучились. Какая была у вас жизнь? Содом и Гоморра.

Лезвин тяжело вздохнул, а приободренный Псалтырев продолжал:

— Из-за женщин всякая беда может быть. Вот у нас был случай в барском имении, по соседству с нашим селом. Жена управляющего спуталась с одним студентом. Управляющий накрыл их. И ничего он не придумал иного, как взял и отравился. Я был на его похоронах. Смотрю на виновницу-жену: стоит она в церкви у гроба и слезы роняет. А как понесли гроб, она разрыдалась на всю церковь. Эх, думаю, как жалко ей покойника. А в дверях она отходит в сторону, вытаскивает из сумочки зеркальце и давай себе волосы приглаживать и лицо пудрить. При настоящем горе разве жена станет думать о прическе и пудре? Перед смертью управляющий, поди, думал — после него она с отчаяния будет головой о стенку биться, а получилась вон какая чепуха. Вот почему я и не хотел вас расстраивать, ваше высокоблагородие.

Капитан потер лоб и протянул:

— Так. Пример поучительный.

Псалтырев осмелел:

— С хорошей женой, ваше высокоблагородие, всякое горе нипочем. Но как найдешь такую? Это все равно, что в орлянку сыграть: повезет — и дурак выиграет, а не повезет — и умный все до копейки просадит. Даже не всякий ученый может выбрать себе хорошую жену. Был в Петербурге один знаменитый профессор-доктор. Он все лечил нервных женщин и еще таких... Как они называются? Вроде... исторички...

— Ты хочешь сказать — истерички? — поправил Лезвин.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Самые вредные женщины. Слава об этом ученом докторе гремела на всю столицу. Женщины к нему валом валили. Мужья не жалели никаких денег — только бы вылечил. Но чтобы попасть к нему, нужно было записываться вперед за два месяца. Он брал за прием двадцать пять целковых, а с больной возился всего лишь каких-нибудь пять — десять минут. Только господские жены могли у него лечиться. Бедным это было не по карману. Да среди крестьянок и болезни-то такой совсем нет. В своем селе я что-то не слыхал о ней. И вот этот знаменитый доктор будто бы здорово помогал чужим женам. А свою жену никак не мог вылечить. Каждый день она точила мужа, точно моль сукно, устраивала ему скандалы и не ставила его ни во что. При таком богатстве жизнь для него стала горче хрена. Вот вам и ученый доктор. Можно сказать, специалист по женской части! А все равно промазал: подходящую жену не мог себе выбрать.

— А ты откуда об этом знаешь?

— Наша кухарка рассказывала мне. Она когда-то жила у него в горничных. Я теперь всю господскую жизнь знаю насквозь. Мне частенько приходится встречаться и с другими кухарками и горничными. Ну, и узнаю от них про все.

— И как же, по-твоему, господа живут?

— Иные подходяще, а иные — очень плохо. Все зависит от того, какая жена попадет. Добрая — веселье, а худая — зелье. Ежели по-крестьянски рассудить, то и ваша жизнь, ваше высокоблагородие, никак не могла наладиться. Вы человек серьезный, а у барыни сквозняк дует в голове. Сам бог, когда создал ее, должно быть, три дня плакал. С такой женой жить — это все равно, что голым на шиповнике спать. Какой интерес? Простите, ваше высокоблагородие, может, я лишнее сказал.

— Нет, ты правильно рассуждаешь. Ты, оказывается, умнее, чем я раньше думал о тебе. Ну вот что, Захар, забудь, что мы с тобой поскандалили, и скорее переселяйся в мою квартиру. А кухарку я сегодня же рассчитаю. Без баб обойдемся. Завтрак ты сумеешь мне приготовить, а обед и ужин будешь приносить из Морского собрания.

Псалтыреву стало жалко Настасью Алексеевну,



но через неделю она уже устроилась кухаркой у других господ. Он успокоился. Снова у него наступила сытная жизнь. Барин относился к нему хорошо. Теперь у Псалтырева оставалось много свободного времени, которое он тратил исключительно на самообразование.

Вскоре капитан 1-го ранга Лезвин был назначен командиром эскадренного броненосца «Святослав» и переведен в другой экипаж. Вместе с ним был зачислен в тот же экипаж и Псалтырев.

Наши встречи с Захаром стали реже. А весной его броненосец в составе эскадры ушел в заграничное плавание.

В последний раз, прощаясь со мною, Псалтырев сообщил мне:

— Только тебе одному скажу новость. Второй месяц пошел, как я женился на Вале. И еще больше мы полюбили друг друга.

— Как же ты добился у начальства разрешения на женитьбу?

— А мы сами себе разрешили. Кончу службу — в церкви обвенчаемся. Я без обмана с Валей... Жалко покидать ее, но зато я все моря увижу.

Я пожелал Псалтыреву попутного ветра и разлучился с ним на целых три года.

## X

В конце улицы, что упирается в Купеческую гавань, бравый матрос пересек мне дорогу. Мне показались знакомыми его уверенная походка и фигура. Он первый окликнул меня. Передо мною, протягивая мне руку и широко улыбаясь, стоял Захар Псалтырев. Что-то новое было в его обветренном лице с лихо закрученными черными усами. Мы обрадовались друг другу и, завернув в Петровский парк, уселись на скамейку.

Была холодная осень. Над головою шумели деревья, роняя последние остатки пожелтевшей листвы. По Финскому заливу разгуливал резкий ветер и, забавляясь, гонял крутые волны. Малый и Большой рейды были пусты. Военные корабли, кончив летнюю кампанию, стянулись на зимовку в гавань, и она продолжала еще шуметь лязгом лебедок и гудками паровых катеров.

Разговаривая с Псалтыревым, я всматривался в его

лицо, обожженное южным солнцем и овеянное ветрами разных широт. Это уже был не тот деревенский парень, какого я знал с новобранства. Заграничное плавание, пребывание в иностранных портах, знакомство с жизнью людей разных стран до неузнаваемости расширили его умственный горизонт. Со мною рядом сидел развитой моряк, разбирающийся в военно-морском деле так хорошо, как будто он кончил Морской кадетский корпус. А между тем он продолжал оставаться вестовым.

Псалтырев весело воскликнул:

— Эх, сколько я должен рассказать тебе! И про наше плавание, и про начальство, и про свою любовь. Я ведь сейчас возвращаюсь от Вали. Ночевал у нее. Но о ней — после. Теперь определилась моя дороженька. В деревню, видно, мне не придется вернуться. Буду моряком на всю жизнь — либо останусь на сверхсрочную службу, либо поступлю на коммерческие корабли. Я так полюбил море, что без него жить не могу. И корабль для меня стал родным домом.

Он показал рукой на левую сторону гавани:

— Вон наш двухтрубный красавец стоит — «Святослав». Завтра спускаем вымпел и флаг. Зиму на берегу поживем, а весной опять отправимся в плавание. Броненосец наш — самый образцовый. Насчет порядка и боевой подготовки ни один корабль во всем флоте не может с ним тягаться. Ну что за судно! Так бы и плавал на нем без конца.

Я спросил, глядя на восторженного вестового:

— Значит, командир старается и во все вникает сам?

— Ничего подобного. Я за него это делаю. Да ты что таращишь на меня глаза? Думаешь, я умом рехнулся? Нет, друг, моя голова работает исправно.

— Ничего не понимаю,— удивился я.

— А вот расскажу тебе все, и ты поймешь.

Псалтырев покрутил большие черные усы и начал рассказывать, а я слушал этого своеобразного человека, как всегда, очень внимательно.

— Никогда, друг, не узнаешь, как повернется твоя судьба. Когда барин мой, капитан первого ранга Лезвин, вызвал меня во второй раз к себе, я думал — пропала



моя головушка. А вышло все наоборот. Человек он умный и добрый. Только пьет много. Должно быть, очень обидно ему, что жена у него такой оказалась. От этого он немного ненормальным стал. А все-таки такого командира не сыскать нигде. Для команды он — благодетель, для офицеров — ад. А я с ним живу, что называется, душа в душу. Одно лишь плохо — заставляет и меня водку пить. На корабле все считают его за трезвенника, и никто, кроме меня, не знает, что на самом деле происходит у нас. С берега я доставляю ему крепкие напитки: ром, коньяк, виски. Этого добра у нас всегда в запасе целые ящики. А из буфета кают-компании ничего не берем. Утром командир выходит к подъему флага, принимает рапорты от старших специалистов и после этого целый день спит. Потом еще раз, вечером, появится на палубе к спуску флага. В редких случаях можно увидеть его на мостике. Но зато ночью он, словно сыч, не спит совсем. Тут подавай ему на стол выпивку и закуски. И только я да стены его каюты знают, как он чайными стаканами хлещет водку. И меня угощает. Но где же мне за ним тянуться? Я квасу не могу столько выпить, сколько он водки. Я отказываюсь от выпивки, а барин смеется надо мною:

— Эх ты! А еще крестьянин! Сирень ты персидская!

И такой вот загул у него происходит каждую ночь. Поэтому сначала распущенность на судне была невероятная. А мне до слез было обидно за свой корабль. Потом мы взялись за дело по-настоящему.

Но сначала расскажу о себе. Я теперь привык спать не больше трех-четырех часов в сутки. Не хватает у меня времени: то корабль изучаешь, то на книги набрасываешься. Грамматику, наконец, я осилил и почти совсем не делаю ошибок. Арифметика мне легче далась. Как-то командир увидел у меня задачник Малинина и Буренина и спросил:

— А ты понимаешь что-нибудь в этой книге?

— Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, любую задачу могу решить.

— А ну, попробуй!

Он ткнул пальцем в раскрытую книгу.

Я быстро решил задачу.

Он прицелился в меня взглядом.

— Кто тебя учил?

— Никто. Сам занимаюсь.

Командир удивился.

— Теперь тебе надо за алгебру приниматься.

— А вы бы помогли мне, ваше высокоблагородие?

— Учебник для тебя достану, а помогать не буду. Раз ты взялся за учебу самостоятельно, то и дальше продолжай так. Честь и хвала тебе будет, если ты без всякого учебного заведения станешь образованным человеком.

И еще стал я увлекаться чтением разных книг. Что может быть лучше чтения? Никто из образованных людей не станет со мною разговаривать,— для офицеров я только вестовой. Лишь один мой барин по доброте своей душевной делает для меня исключение. А тут берешь книгу великого человека и с волнением раскрываешь ее. Этот великий человек не гнушается матросом. Словно другу и товарищу, рассказывает он мне наедине о жизни других людей. Да ведь какими словами говорит и какие картины рисует! Иногда дух захватывает. Из книг я с жадностью черпаю знания и накапливаю их в своей голове, как великие драгоценности.

Но меня интересует не только художественная литература. На барахолке я купил уголовный кодекс и прочитал его от корки до корки. И теперь я знаю, за что людям наказание бывает и по каким статьям их судят. Попался я с этой книгой на глаза командиру. Он смеется:

— Неужели тебе интересно это читать?

— Да как же, ваше высокоблагородие, не интересно? Сами посудите: вот вам небольшая книга, а в ней предусмотрена вся человеческая жизнь. Закон — это линия для людей, как для лошади борозда, когда пашешь. Чуть сверни с нее — получай и в хвост и в гриву. Я все думаю: если кто-нибудь совершит такое преступление, для которого нет статьи в законе, то что тогда будет? Раз нет статьи, то ведь и судить человека нельзя?

Барин на это ответил:

— Оригинал ты у меня.

А потом посоветовал мне:

— Ты бы лучше занялся учебником для строевых унтер-офицеров. Впоследствии я произведу тебя в унтеры.

— Покорнейше благодарю вас, ваше высокоблагородие.



Выучил я этот учебник почти наизусть, но толку от этого было мало. Требовалось строевую часть пройти еще на практике. И тут мне очень помог наш старший боцман Кудинов. О нем надо рассказать подробнее.

Много у нас было на корабле пьяниц из офицеров и матросов, но он по части выпивки всех перекрыл. И все-таки голова у него всегда соображала. Он плавал на коммерческих и пассажирских судах, а больше всего — на военных кораблях. Нет таких морей, на которых не побывал бы боцман. За двадцать пять лет службы во флоте он так освоил судовые порядки, что мог поучить любого офицера. И когда только этот человек спал? Даже в часы отдыха он обходил корабль и заглядывал в такие места, какие не входили в его ведение,— в башни, в бомбовые погреба, в угольные ямы, в кочегарку, в машинное отделение. И знал он на судне каждую заклепку не только сверху, но и за двойными бортами. Если бы он попал в хорошие руки, то для судна такой боцман был бы кладом. Кудинов не боялся ничего на свете — ни моря, ни огня, ни людей, ни бога, ни черта. Начальство прощало ему пьянство и все его причуды.

У боцмана была своя правда, и он по-своему защищал ее. Зря он никого не обижал, но провинившийся матрос лучше не попадайся ему,— изобьет. Ударял и приговаривал, за что он наказывает матроса, а напоследок прибавлял:

— А это тебе за господа бога!

И все же команда любила его. Он никогда не подводил матросов перед начальством. Не жаловался он, когда и ему попадало от них на суше. Словом, выходило так: на корабле он бьет их, а на берегу иногда они его колотят. Широкий и сильный, он умеючи действовал в драке своими длинными, как у гориллы, руками. За двадцать пять лет службы ему выбили все зубы. Переносица у него была перебита, и от этого кончик носа задрался. Стал похож боцман на старого мопса. На лице у него не осталось живого места, все оно было в шрамах. Но больше всего пострадал в драке правый глаз. Перекошенный и вывернутый, он настолько вылез из глазницы, что веки не могут его закрыть. Боцман и спит с открытым правым глазом. Храпит, а сам смотрит, как будто и во сне продолжает следить за судовыми порядками. Но видит он им нормально. Только жутко бывает, когда Кудинов своим поврежденным кровавым оком

уставится на тебя, словно разъяренное сказочное чудовище. В кабаках об его голову столько разбили бутылок, что на ней сплошь образовались бугры и ямы. Постричь машинкой или побрить такую голову для парикмахера было нелегкой задачей. За это они брали с него в два раза дороже, чем с остальных людей.

Боцман очень любил, когда матросы обращались к нему за каким-нибудь советом и называли его по имени и отчеству: Лаврентий Касьянович...

Тогда он ласково улыбался беззубым ртом и становился задушевным человеком. Как только я узнал об этом, то частенько стал бегать к нему с разными вопросами. Он часами поучал меня, как нужно маты плести, как морские узлы завязывать, для чего блоки служат и как нужно ими пользоваться. Через него я узнал, так сказать, душу корабля и всю строевую службу. Боцман так полюбил меня за это, как будто я был его родственником. Когда мы оставались с ним один на один, он ругал офицеров:

— Пустой народ. Для многих из них корабль вроде забавы, как карусель для детей. За что, спрашивается, получают большое жалованье? Если бы у меня была власть, я бы показал им, как нужно служить родине. Небо вспотело бы от жары.

А сам боцман был таким моряком, как будто он и родился в якорном клюзе. Преданность судну у него была необычайная. За всю свою многолетнюю службу он ни разу не остался «нетчиком». Бывало, напьется и выделывает по улице такие зигзаги, какие разве только на адмиральских погонах увидишь, а с курса не сбивается. Случалось, что на четвереньках приползал на пристань. Один только раз опоздал на последнюю ночную шлюпку, да и то не по своей вине. И не растерялся — бросился в воду и давай плыть к своему судну. А оно на рейде стояло. Пожалуй, часа два боцману пришлось плыть. И вот что всех удивило: ночь была темная, на рейде стояли и другие корабли, а все-таки он — в пьяном-то состоянии — разыскал свое судно. Подплыл к борту и кричит вахтенному начальнику:

— Честь имею явиться, ваше благородие.

В это время вахтенный начальник по мостику прохаживался и, может быть, о чем-нибудь мечтал. Ночь была тихая. Шлюпка не могла подойти без шума,— как-никак, всплески весел он услышал бы... И вдруг из-за борта раздается человеческий голос. Вахтенный начальник дернулся, перегнулся через поручни и, должно быть, с испугу заорал:

— Что за чертовщина! Кто там такой? Человек или привидение?

— Да это же я, ваше благородие, боцман Кудинов.

— Что случилось? Почему опоздал?

— Я тут ни при чем. Последняя шлюпка на десять минут раньше указанного времени отвалила от пристани.

За борт выбросили шторм-трап, и боцман поднялся на палубу.

На второй день расследовали это дело: боцман оказался прав. В кают-компании офицеры только посмеялись над ним и никакому наказанию его не подвергли.

Грубый человек был этот старый холостяк Кудинов, а сердце у него было хорошее... Попробуй при нем обидеть женщину, хотя бы уличную,— расшибет! Бывало, отпустят его на берег, он набьет карманы конфетами и наделяет ими ребятишек.

Был с нашим боцманом такой случай. Эскадра наша стояла в Неаполе. Я был отпущен в город. К вечеру небо заволокло тучами. Я с одним машинистом заторопился к пристани. Улица спускалась под уклон. Видим: идет Кудинов, шарахается из стороны в сторону, кренится то на правый борт, то на левый. А тут ударил ливень. Боцман потерял остойчивость и растянулся между мостовой и тротуаром. Ливень все сильней,— прямо уж не ручьи, а река хлещет. Видим мы, что захлебывается боцман грязной водой и никак встать не может. Получается несуразица: все моря и океаны человек обошел, а на берегу может утонуть. Бросились мы к нему и начинаем его поднимать. А он отфыркивается, загребает руками, словно плывет по морю, и кричит нам:

— Женщин и детей спасайте, а я еще могу держаться!

Пока мы его довели до пристани, он малость очухался.

Словом,— это настоящий боцман! Море для него — мать родная, корабль — брат родной. Жаль, начальство использует его не так, как нужно. С таким боцманом можно поставить корабль на зависть всем врагам.

И вот теперь я знаю строевое дело по учебнику, [illegible]

через Кудинова — и на практике. Что командир ни спросит меня, на все я даю ему правильные ответы. Но в унтер-офицеры он все еще не производит меня. Говорит, что ему не хочется расстаться со мною. Ну, что ж, я могу подождать, а живется мне с ним очень хорошо.

## XI

Псалтырев замолчал, увидев приближающегося к нам лейтенанта. Мы оба вскочили и отдали честь. Но офицер, занятый своими думами, прошел мимо, не обратив на нас никакого внимания. Глаза на его окаменевшем лице были неподвижны, как у рыбы, и напряженно устремлены вперед.

— Наш вахтенный начальник Морозов,— сказал Псалтырев, когда мы снова уселись на скамейке,— мрачный человек. Никогда я не видал, чтобы он улыбался. Вот и узнай, чем он ушиблен, о чем думает. Но матросов он не обижает. Образованный человек!

Но тут я попросил Псалтырева рассказывать дальше.

— ...Хотя я прислуживаю только командиру корабля,— продолжал мой друг,— но присматриваюсь и к другим офицерам. Всякие среди них есть: пьяницы и трезвые, хорошие и плохие, умные и глупые, веселые и мрачные. Я настолько изучил их, что могу сразу определить, кто женат, кто беден, кто богат. Женатые и бедные — это офицеры из прогоревших дворян. Жалованья им не хватает, на всем им приходится экономить. Белье они носят «монополь». Манишка, воротничок и манжеты стоят всего лишь пятнадцать копеек. Богатые такую дешевку не будут покупать. Эти и за столом держат особый фасон — салфетки у них всегда заткнуты за воротничок. Их так и называют — салфетники. Непонятно для меня одно: все эти благородные люди ютятся в одной и той же кают-компании, и у всех у них должна быть одинаковая цель — поднять боевой дух корабля. Но почему-то строевые офицеры относятся к нестроевым свысока. А ведь нестроевые, как, например, судовые и трюмные механики и доктора, имеют высшее образование. Но они носят серебряные погоны, поэтому им дана обидная кличка: «березовые офицеры».

Заговорил я о кают-компании, а не сказал самого



главного: знаешь, кого я там встретил? Лейтенанта Мишеля, того самого, который путался с моей барыней и подвел меня. Фамилия его — Сухов. На судне он занимал должность ревизора. И еще один знакомый оказался на нашем корабле — лейтенант граф Эверлинг. К нам его назначили вахтенным начальником. Узнал он меня, но не поздоровался, только губы скривил. Но об этих двух офицерах расскажу после подробнее.

Как говорится, каков поп, таков и приход. Командир мало интересовался своим судном. У него появилось какое-то равнодушие ко всему. Ну, само собой разумеется, и офицеры разленились. А раз начальство такое, то и матросы стали лодырями. Одним словом, военный корабль превратился в пассажирский пароход для прогулок. Пушки, минные аппараты и разные механизмы начали ржаветь.

Взялись мы с командиром вместе за борьбу против распущенности. Ты, наверно, удивляешься? При чем, скажешь, тут вестовой? А я сейчас тебе расскажу, в чем дело. Пойми, друг, ведь мне следить за порядками на корабле сподручнее, чем командиру. Возьмем любого из командиров — как поступает он? Раз в две недели, в какой-нибудь праздник, устраивает смотр своему судну. Все заранее готовятся к этому, во всех отделениях наводят чистоту, даже кочегарку моют с мылом, медяшку надраивают до блеска. Поглядит он на все и доволен, но в сущность дела не вникает. А ведь военный корабль — это тебе не картина, которой можно только любоваться. На нем, может быть, в бой придется идти... Больно мне смотреть на такие порядки. Уж очень я полюбил свой корабль. Все его оборудование интересует меня: и артиллерия, и как башни вращаются, и чем начинены снаряды, и минное дело, и электричество, и машина. Одним словом, мне хочется все узнать. Иду я к комендорам. В одной башне побываешь, в другой, заглянешь в казематы, иногда спустишься в крюйт-камеры или бомбовые погреба. Вот комендоры-то и рассказывают мне обо всем устройстве. Я теперь могу любую пушку разобрать на части, смазать их и опять поставить на место. Знаю, как зарядить ее и как из нее стрелять. И тут же, кстати, выведаю от комендоров, что по артиллерии хорошо налажено и что плохо, понимающие ли у них офицеры и как они относятся к своим обязанностям. И выходит, что за меня смотрит сотня пар

глаз, соображает сотня голов. А разве эти комендоры будут так говорить с командиром, как говорят они со мной? Да теперь я и сам замечаю всякие недочеты на корабле.

Вижу я, что мой барин все больше и больше прислушивается к моим словам. Другой офицер на его месте обиделся бы и выругал бы меня последними словами. А этот нет. Надо, думаю, воспользоваться этим.

И вот однажды ночью, за выпивкой, я докладываю своему барину все, что узнал по артиллерии. Он спокойно выслушал меня и берет книгу приказов. Когда он пьяный, то голова у него лучше работает, острее соображает. Пишет и каждое слово произносит вслух. Приказ начинается так: «Мною замечено...» И давай перечислять все, что я наговорил ему: «Катки, на которых вращается башня, проржавели, башня идет со скрежетом,— пожалуй, когда-нибудь и совсем остановится. При заряжении двенадцатидюймовых орудий нет взаимного смыкания. Заряжают их чересчур медленно, так что между выстрелами проходит три минуты, а полагается не больше двух...» Я тут подсказываю барину:

— Ваше благородие! Когда мы стояли в Тулоне, мне удалось побывать на французском военном корабле. Там заряжают такое же орудие в полторы минуты.

Командир подтверждает: верно,— в артиллерийском деле корабли передовых стран Европы далеко опередили нас. И продолжает гвоздить в приказе дальше: «Повседневной проверки орудий, готовности их механизмов к немедленному действию не производится. Трущиеся части у некоторых орудий закрашены, что влечет за собою затрудненное действие механизмов. Комендоры-наводчики не обучаются наводке днем, а ночью совсем не практикуются. Температура в крюйт-камерах и погребах держится неравномерная: то очень низкая, то очень высокая против установленной нормы. От этого порох разлагается, выделяет особые газы,— они могут самовозгореться. Тогда броненосец со всеми людьми взлетит на воздух. Такие случаи уже бывали с военными кораблями...» Заканчивается приказ строгими выговорами: старшему артиллерийскому офицеру, младшему артиллерийскому офицеру, башенным командирам, кондукторам,— с предупреждением, что если подобная распущенность будет продолжаться, то виновники пойдут под суд за невыполнение распоряжений.



Командир прочитал мне приказ и спросил:

— Ну как, Захар?

— Складно, ваше высокоблагородие, получилось. На корабле нужна строгость. Иначе нельзя. А вдруг война? Тогда пропадай все?

Командир доволен.

— А теперь, сирень персидская, давай выпьем.

На второй день он для близиру заглянул в башни, а потом послал меня с книгой приказов к виновникам:

— Пусть прочтут и распишутся.

Эх, что с ними было, с этими офицерами и кондукторами. Читают приказ, а сами бледнеют, и краснеют, и дергаются, и губы кривят. Я смотрю на них и как будто ничего не знаю. И сейчас же они отправляются к орудиям, лезут в подбашенные отделения, в погреба, всюду заглядывают. День и ночь люди в работе — прямо нарадоваться нельзя.

А я тем временем начал таким же манером изучать минное дело. Сначала мне пришлось прочитать об этом книжонку. По правде сказать, первое время я плохо в ней разбирался. А когда минеры показали мне все на практике, для меня многое стало ясным. Теперь мина Уайтхеда хорошо знакома мне. Какое страшное орудие придумано против человека!

По минной части я сделал командиру подробный доклад,— столько пересчитал недочетов, что пришлось по два раза загибать пальцы на обеих руках. Командир даже испугался. Я сейчас же подал ему книгу, а он давай в ней строчить, и все по пунктам.

Вот что выяснилось насчет хранения мин. Воздухонагнетательные машины работают плохо, воздух накачивается медленно, чем затягивается время приготовления мины к действию. Нет многих ключей для обращения с минами. Болты для присоединения боевых зарядных отделений не подходят к гайкам, резьба у многих сорвана, поэтому зарядное отделение может оторваться от резервуара сжатого воздуха. Машинные регуляторы не ставят на место — пружины нажимают и не отдают, из-за чего они слабеют. Запирающие клапаны травят воздух. Не всегда стопора находятся на гребных винтах, а это может вызвать неожиданную работу гребных винтов и привести к несчастным случаям. Гребные винты проворачивают не ежедневно. Боевые зарядные отделе-

ния, как и запальные стаканы, не смазаны, ржавеют, взрывчатое вещество начинает разлагаться, угрожая взрывом в погребе.

Не лучше обстоит дело и на минных учениях. При снаряжении ударника по халатности забывают поставить капсюль; такая мина не взорвется, хотя бы и хорошо попала в неприятельский корабль. При постановке ударника не пользуются кожаными прокладками, чтобы предупредить проникновение воды в него, и, таким образом, грозное оружие превращается в самодвижущуюся игрушку. При проверке работы машин и других приборов не проверяется вывод рулевого стопора, что может повести к неправильному ходу мины на определенной глубине. Когда откачивают воздух, то не продувают разделителей, поэтому вместе с воздухом попадает масло и вода, что приводит к загрязнению приборов и неправильной их работе.

Много еще пунктов написал командир. Пора, дескать, покончить с этой нетерпимой расхлябанностью. Мы плаваем не ради своего удовольствия, а для того, чтобы приготовить весь личный состав и корабль к будущей войне. Словом, здорово раздраконил старшего и младшего минных офицеров. В заключение распорядился, чтобы они производили минное учение со своими подчиненными каждый день. А старшему офицеру приказал следить за этим.

На следующий день, так же как и в первый раз, командир для вида спустился в минные погреба, а потом заставил минеров зарядить и разрядить минные аппараты. На это у него ушло времени не больше получаса. Минные офицеры спохватились, когда он уже возвращался к себе в каюту. После этого я понес им книгу с приказом. Как раз в это время младший из них находился в каюте старшего минного офицера. Обоих, лейтенанта и мичмана, точно поленом огрел этот приказ: то они в книгу заглянут, то посмотрят друг на друга... Один лупит глаза, как будто ополоумел, другой морщится и моргает, будто заплакать собирается.

— Как говорится, продраили нас обоих с песком,— заговорил, наконец, лейтенант.

— Это жестоко! — пропищал мичман.

— Пришло же старому черту в голову не вовремя проверить минное дело! А потом эта книга приказов



пойдет в Главный морской штаб. Какое мнение там сложится о нас?

— Какой позор! — воскликнул мичман и ухватился за голову.

Оба они настолько были взволнованы, что даже забыли о моем присутствии. Разве можно так разговаривать о командире при нижнем чине?

Не хотелось им расписываться, а все же тому и другому пришлось приложить руку под приказом.

Другие старшие специалисты, как увидели, что дело пошло у нас всерьез, прилежнее стали работать. Но мне казалось, что все еще мало сделано. Я продолжал действовать. Много слабых сторон у нас было в машинах и кочегарках. Судовое расписание не удовлетворяло,— можно его иначе сделать и будет лучше. Командир только приказы пишет: «Мною замечено» и так далее. Некоторые из них читали на шканцах во всеуслышание. А приказы эти были настолько резки, что у многих от них поджилки тряслись. Должно быть, из-за своей мадам командир ненавидел офицеров, как крестьяне — конокрадов.

Но случалось, что командир рассердится на мой доклад и начнет кричать:

— К черту все это! Пропадай он пропадом, весь наш корабль! Чтоб его бурей вдребезги разнесло! Надоел мне и весь наш идиотский флот!..

А когда выпьет водки и остынет, я опять тихонько к нему подъезжаю:

— Приказик-то, ваше высокоблагородие, все-таки следует написать. Раз вы взялись порядки на судне наводить, то нельзя на полпути останавливаться. А то офицеры будут смеяться. Скажут, что не хватило у вас пороху, и вы отступили.

— Э, черт, давай книгу приказов!

А для меня это было большой радостью, потому что корабль наш становился все лучше.

Командир редко появлялся среди команды и непосредственно почти не имел с нею никакого дела. И все же какая-то невидимая близость между ним и матросами все вырастала и крепла. На него они смотрели, как на хорошего человека и честного начальника. Я со своей стороны подогревал эту любовь к нему и всячески поднимал его авторитет. Без этого, думал я, нам трудно управлять кораблем и поднять по-настоящему его бое-

вую мощь. Иногда приходилось мне что-нибудь придумывать [redacted] пользу командира. Для этого я выходил на бак. Ко мне обращались матросы:

— Ну, как поживает наш командир?

— А что ему делается? Живет хорошо.

— Что-то он редко показывается нам.

— А зачем ему показываться? Он и без того все знает, что делается на судне.

— Откуда же он все знает?

— Кое-что докладывают ему старший офицер и старшие специалисты. Случалось, что они хотели надуть командира. Но куда там! У него глаз, как алмаз, насквозь все видит. Этот человек только взглянет издали на пушку и уже знает, в каком состоянии она находится. По слуху он может определить, как работают главные машины. Возьму, например, себя: я только подумаю о чем-нибудь, а он уже мне говорит, какие у меня мысли. По лицу и по глазам узнает мои думы, словно колдун. Вот каков командир! А кто о команде больше всех заботится? Только он один. Сколько раз я слышал, как он жучит офицеров, чтобы они не обижали матросов.

Вот в таком роде я понаговорю о своем барине, а после этого уже сами матросы начинают хвалить его на все лады:

— Ну, с таким командиром плавать можно.

— Во всем флоте не найдешь такого начальника.

— Вот это командир! За него мы [redacted] огонь и [redacted] воду полезем. Только скажи он нам слово.

Но команду одними словами не возьмешь, подавай ей факты. А они были налицо. Взять, например, нашего ревизора, лейтенанта Сухова. Это — тот самый Мишель, который с моей барыней путался. Он и теперь очень увлекается женщинами и в то же время говорит о них всякие гадости. Матросы знали, что он наживается на командных харчах. Помогал ему в этом баталер. Между прочим про офицеров, как я теперь узнал, зря говорят насчет воровства. Кроме своего жалованья, откуда у них могут быть безгрешные доходы? Ни деньгами, ни харчами они не ведают. А пушки, снаряды и мины никуда ведь не продашь. Другое дело — ревизор. В его руках находится вся отчетность. Он оплачивает все счета. Вот еще разные чиновники во флоте,— из них мало честных найдешь. Может и командир судна под-



нажиться, если захочет: на ремонте корабельных частей в иностранном порту, на покупке угля, машинного материала. Но для этого ему нужно сговориться со старшим механиком. А разве мой барин пойдет на такие дела? Во всем флоте это самый честный человек. Беда его была в том, что он ничего не знал о проделках ревизора и во всем доверялся ему. А тот пользовался этим доверием и набивал деньгами свои карманы.

Команда не любила лейтенанта Сухова. Одно время он наладил кормить команду вермишелью. Как известно, в Италии этот продукт и макароны стоят дешево. Любят итальянцы эту пищу. Недаром их называют — макаронники. Ну, [redacted] нам побольше щей давай и каши. Всем надоела вермишель, да притом еще жиденькая, без навара. Заглянешь, бывало, [redacted] котел для девятисот человек, а там плавает всего лишь несколько звездочек жира. И решили матросы отомстить ревизору. Однажды вечером он долго засиделся [redacted] канцелярии, а когда вернулся к себе [redacted] каюту, то вскипел от гнева: на переборках, на столе, на книгах, на отчетности, на одежде, [redacted] карманах, [redacted] шкафу — всюду была вермишель. На это ушло ее, вероятно, не меньше ведра. Ревизор бросился с жалобой к командиру. А кто виновники? Разве их найдешь среди девятисот человек?

В этот вечер командир спросил меня:

— Как ты, Захар, думаешь, за что это так матросы мстят ревизору?

— Зря, ваше высокоблагородие, ничего не делается. Значит, есть у них на это причины.

— Какие?

Через юнгу [redacted] уже знал, как ревизор вместе с баталером обворовывают команду. Я рассказал об этом командиру. Он разгорячился и хотел сейчас же вызвать к себе лейтенанта Сухова.

— Я упеку этого дамского кавалера [redacted] тюрьму!

Я посоветовал барину подождать с этим делом. Получилось у нас как нельзя лучше. Рано утром отпустили для камбуза свежего мяса. Я намекнул командиру:

— Пора, ваше высокоблагородие, проверить дамского сердцегрыза.

Он назначил комиссию из трех человек: строевой офицер, старший механик и врач. Взвесили они мясо, подсчитали число порций — не хватает на триста человек. Взяли за жабры баталера. А тот малый был дурко-

ватый и сильно испугался. Ну, и давай он все выкладывать начистоту и сваливать на ревизора: какие и где взятки брали, как составляли фальшивые счета. Комиссия проверила эти счета. Все показания баталера подтвердились полностью. Можно сказать, поймали воров с поличным. Командир об этом отдал приказ, который прочли на шканцах. Ревизор и баталер пошли под суд.

Команда еще больше уверилась, что командир на их стороне.

Однажды командир спросил меня:

— Откуда ты, хитрец, взялся? Кто родил тебя?

— Родила меня, ваше высокоблагородие, крестьянка. Однажды она пошла в лес за грибами, и тут вздумал я не вовремя появиться на свет. Пришлось ей постелить в кузов травки и вместо грибов принесла меня домой.

Командир насупился и что-то долго соображал.

— Жаль, очень жаль, что твоя мать срок не уловила. Тебе следовало бы родиться либо позднее, либо лет на сто раньше, и не в России, а во Франции. Ты что-нибудь слыхал про Наполеона?

— Это что Москву забирал? Кто про него не слыхал? Самый, говорят, умный император был. Своих царей русский народ не знает, а его во всех деревнях знают.

— Так вот, Захар, если бы ты при нем был, то из тебя вышел бы большой человек. Может быть, я был бы при тебе адъютантом. А у нас, в России, лакеем ты служишь у меня, лакеем и останешься. И даже я могу тебя произвести только в унтер-офицеры. Дальше этого нет тебе ходу.

— Да мне ничего и не надо, ваше высокоблагородие. Я только хочу, чтобы наше судно было лучше всех иностранных кораблей. Нравится мне морское дело.

Ну, действительно подняли мы свой броненосец — теперь хоть куда! Даже в Англии не стыдно появиться. Молодец командир! Хоть и ненормальный немного, но без жены он здорово поумнел.

## XII

К нам подошел, держа под руку девицу, молодой белокурый матрос, сослуживец Псалтырева, и бойко проговорил:



— Захару Петровичу почет и уважение.

— Наше вам нижайшее, Яшенька,— ответил Псалтырев.

— Не приходил наш катер?

— Нет. Но скоро, вероятно, будет. А ты сегодня с подругой по парку лавируешь?

— Да, лучше не собьюсь с курса.

Девица, низкорослая и полногрудая, с накрашенными губами, с рыжими локонами, прищурив хмельные глаза, вызывающе рассмеялась:

— Все порядочные моряки с женщинами гуляют. Только вы, как два бирюка, в такой холод сидите на скамейке. Не прошибло вас цыганским по́том?

— Не всем выпадает такое счастье, как нашему Яшеньке.

Пара немного поболтала с нами и удалилась.

— Тоже вестовой. Обслуживает нашего старшего офицера,— промолвил Псалтырев и снова начал рассказывать о своем плавании.

— Сначала нашей эскадрой командовал контр-адмирал Вислоухов.

На эскадре он прославился своими причудами. Он, например, любил задавать команде разные вопросы. И тут ты можешь врать сколько угодно, но обязательно должен браво ответить,— в молодцы попадешь. А если будешь молчать, то обзовет тебя дрянью, дураком, болваном. А вопросы у него были всякие:

— В каком море был Синопский бой?

— В Балтийском, ваше превосходительство.

— Немножко ошибся, голубчик. Этот бой был в Черном море. Запомни это. А в общем молодец! Хорошо отвечаешь!

А еще с ним так бывает. Пусть матрос на карачках ползает по мостовой и весь в пыли, но только честь адмиралу отдавай — ничего не будет. Даже похвалит такого:

— Вот этот моряк — пьяный, а сознания не теряет.

Другой матрос до того наспиртуется, что валяется на улице, как бревно,— ни рукой, ни ногой не шевельнет. Вислоухов обязательно свернет к нему и начинает рассматривать, куда у него голова направлена: если в сторону пристани, то не будет ему никакого наказания. Адмирал только скажет:

— Бедняга! Ведь верный курс держал — прямо на корабль. Но перегрузил себя и в пути застрял.

И наймет на свой счет извозчика, чтобы доставить пьяного матроса на пристань.

Но если матрос лежит головой в сторону от пристани, то уж без наказания ему не обойтись. Адмирал начнет причитать над ним:

— Ах, подлец! Хотел убежать с корабля. Не удался мерзавцу план — водка помешала.

Сейчас же разыщет патрульных и прикажет им:

— Отволоките этого негодяя на пристань. Пусть дежурный офицер передаст на корабль мое распоряжение — посадить беглеца на пять суток в карцер.

Однажды адмирал Вислоухов приехал к нам на судно, и я видел его. Телосложением старик напоминал богатыря. Сивая борода у него, словно пучок кудели, расстилалась во всю грудь и даже прикрывала ордена. Адмирал задрал голову и прошелся вдоль фронта медленно и с таким видом, как будто хотел доставить нам удовольствие: подольше, мол, полюбуйтесь мною. Офицеры заранее нас предупредили, да и сами мы знали, что он любит строевое учение и маршировку. В это время каждый матрос должен приставить одну ногу к другой как можно громче. По распоряжению адмирала старший офицер скомандовал нам два раза «кругом», а потом:

— Три шага вперед — арш!

Не очень складно у нас вышло, но зато от наших ног вздрогнула палуба броненосца.

Адмирал остался доволен. Нашим броненосцем он не интересовался. Не было сделано ни боевой тревоги, ни пожарной, ни водяной. Фронт распустили, а сам начальник эскадры ушел в кают-компанию, где в честь его приготовили богатый обед с выпивкой. Офицеры пили шампанское, кричали «ура» и всячески прославляли адмирала. Часа через три два мичмана вывели его на верхнюю палубу. Он шел и пошатывался. Командир и остальные офицеры сопровождали его. Вдруг он остановился и приказал:

— Вызвать наверх какую-нибудь роту и построить ее повзводно. Барабанщика с барабаном — ко мне.

В одну минуту распоряжение адмирала было выполнено.

Он обратился к старшему офицеру:



— Пусть рота помарширует по верхней палубе, а вы будете командовать.

Потом повернулся к барабанщику:

— А ты, голубчик, стой здесь и ударь на своем инструменте так, чтобы за сердце хватило.

Раздалась команда, рота зашагала. Барабанщик так старался, что готов был пробить натянутую кожу на своем инструменте. Офицеры едва сдерживали себя от смеха. Командир смотрел на всю эту комедию угрюмо.

Адмирал кивал головою и говорил:

— Так, так... Хорошо, очень хорошо!..

Его водянисто-белесые глаза часто заморгали. По лицу покатились слезы и застряли в сивой бороде. Он поднял руку и сказал:

— Довольно!

А потом, словно отец при прощании со своими сыновьями, он тихо и ласково наставлял наше начальство:

— Нужно, господа офицеры, любить барабан больше, чем всякую другую музыку. Не стыдитесь, если его божественные звуки вызовут у вас слезы. Это значит, что вы настоящие воины.

Адмирал взглянул на командира и почти дружески сказал:

— Вы должны каждый день устраивать такие репетиции.

Лезвин стал возражать:

— Конечно, ваше превосходительство, как военные люди, мы все должны знать повороты направо и налево, а также маршировку, но постольку, поскольку это необходимо. А делать на это упор я нахожу не совсем целесообразным.

— Почему?

— Мы готовим людей не для того, чтобы маршировать на плацу, а хорошо управлять боевым кораблем.

Адмирал рассердился и так дернул себя за бороду, как будто хотел вырвать ее. Глаза его стали сухими. Он задвигал бровями и раскричался:

— Вы, очевидно, примиритесь даже с тем, что матросы на корабле будут ходить, как деревенские бабы за грибами. Нет-с! Этому не бывать! Если я что-нибудь приказываю, то у меня на плечах голова. Что же, по-вашему, я дурак или идиот? Я спрашиваю вас, господин капитан первого ранга Лезвин,— дурак я или идиот? Будьте любезны ответить мне на мой вопрос.

Командир смотрел на адмирала с какой-то брезгливостью и резко отчеканил:

— Никак нет, ваше превосходительство, вы — не дурак и не идиот. Но мне казалось, что лучше было бы...

Вислоухов вдруг смягчился:

— Пусть в следующий раз вам не кажется... Начальник эскадры лучше знает, что хорошо и что плохо. А ваше дело точно исполнять мои приказания.

Адмирал мирно, как будто ничего не произошло, распростился с командиром и другими офицерами и зашагал по палубе. Два мичмана помогли ему спуститься по трапу и сесть на паровой катер. Катер дал свисток и направился к флагманскому кораблю.

Зачем, спрашивается, приезжал к нам адмирал? Он, наверное, думает о себе, что без него наша эскадра развалится, словно плохо увязанные дрова с воза. На самом же деле такой начальник нужен для нее, как лесной клещ для скотины.

Один матрос сказал о нем:

— Ничего у нас адмирал — солидный, но уж очень умом пообносился.

В эту ночь мой барин был угрюм и почти не разговаривал со мною. Он молча наливался алкоголем и раздраженно плевался в ответ каким-то своим мыслям. Я даже стал бояться, как бы что с ним не случилось.

Когда наша эскадра пришла в Тунис, адмирал Вислоухов уехал в Россию. Он до этого хворал недели две, а тут ему стало хуже. И знаешь, кто явился на его место? Контр-адмирал Виктор Григорьевич Железнов. В нашей кают-компании офицеры говорили, что этому начальнику эскадры очки не вотрешь — понимающий моряк. И матросы с флагманского корабля хорошо отзывались о нем:

— Серьезный адмирал и справедливый.

Но никто так не волновался, как я. Неужели и вправду он приходится мне тестем? Может быть, кухарка зря сболтнула, что она с ним прижила Валю? Эти думы не давали мне покоя. Уж очень несуразные неожиданности иногда получаются в жизни. Официально адмирал имеет двух детей — сына и дочь. Он сам догадывается, что они не его крови. И родились они от женщины, которую он ненавидит. Она для него не подруга, а ведьма с Лысой горы, как говорит наша кухарка. И все же он воспитал своих неродных детей по-настоящему, не жалел



для них денег. Дочь его вышла замуж за профессора, сын женился на богатой и знатной баронессе. А вот о родной дочери, которая родилась от любимой женщины, адмирал мало беспокоился. Правда, он помог ей стать на ноги, но это все пустяки в сравнении с тем, что он сделал для официальных своих детей. И пожалуй, его прямо-таки возмутило бы, если бы за меня вышла замуж не Валя, а его другая дочь, хотя она и не родная ему. Получается: может быть, у мужчин нет совсем отцовских чувств, а есть только привычка к детям? Или он боялся мнения людей своего круга?

Итак, тесть — адмирал, а зять — вестовой. Захотелось мне во что бы то ни стало посмотреть на него и самому убедиться, насколько моя Валя похожа на своего отца. Побывал он у нас на «Святославе», но я в это время находился на берегу. Рассказывали мне, что адмирал Железнов нашел кое-какие недостатки и сделал выговор нашим офицерам. Мы тогда еще не успели навести порядки. Потом мы стояли в Алжире. Я нарочно ездил на флагманский корабль, чтобы взглянуть на своего тестя. И опять мне не пришлось встретиться с ним: он не вышел из каюты. Только в Александрии, и то издалека, я увидел, как он садился в катер.

За все время плавания Валя не выходила у меня из головы. Через месяц, как мы разлучились, я получил от нее письмо — сообщила, что беременна. Но она нисколько не раскаивается, что сошлась со мною, и еще пуще прежнего любит меня. Поверишь ли ты, я плакал над ее письмом. Вот до чего она растрогала мое сердце. Из каждого порта я посылал ей письма и в каждом порту получал от нее ответы. Советует мне больше заниматься самообразованием и всячески подбадривает меня. По ее словам, у нее теперь только два друга — мать и я, а потом будет еще тот, кто родится. И верит, что я никогда ее не брошу. Да разве такую подругу бросишь? Я даже стихи о ней начал писать.

Бывало, после полуночи, когда уснет мой барин, выйдешь на верхнюю палубу, устроишься где-нибудь на рострах и долго сидишь один со своими думами. Эскадра в походе. На нашем броненосце, кроме вахтенных, все спят. А он дымит двумя трубами и, словно от радости, вздрагивает в теплом сумраке. За бортом ласково воркуют небольшие волны. Небо блещет яркими звездами. Может быть, и она, моя Валя, сейчас смотрит на небо?

Мысли уносят меня через огромные пространства в знакомую комнату. И тогда я больше не вижу ни моря, ни эскадры, не слышу звона отбиваемых склянок. В воображении она рядом со мною. В моих ушах звенит говор и смех моей возлюбленной. Я ощущаю на своих щеках ее дыхание, на губах — ее поцелуи, вокруг шеи захлестнуты ее руки.

Мне уже удалось прочитать порядочно книг о любви. Что же все-таки это такое — любовь? Каждый писатель решает этот вопрос по-своему. Я не писатель, но Валя пробуждает во мне разные мысли. На все хочется иметь свое определение. Соловей только потому хорошо поет, что где-то в кустах его слушает соловьиха. И каждый из людей по-своему поет для своей соловьихи: один играет на скрипке, другой картины пишет, третий что-нибудь изобретает, четвертый мошенничает и так далее. И мне хочется хоть чем-нибудь удивить и обрадовать мою Валю. Я занимаюсь самообразованием и напрягаю свой мозг, чтобы быть образованным человеком. Вытянусь в ниточку, а своего добьюсь.

Иногда приходит мне в голову такое сравнение. Нужно, скажем, кораблю перейти в другой порт — за три тысячи морских миль. Что для этого делается? Командир отдает распоряжение, куда идти, и корабль снимается с якоря. У штурмана давно уже на морской карте проложен курс к определенному маяку. Какие испытания предстоят этому судну в пути? Девиация компаса и склонения компаса будут сбивать его с намеченного курса. Но хороший и опытный штурман примет все это во внимание и внесет свои поправки. Найдутся и еще помехи для корабля — побочные течения или сильные ветры будут сносить его в ту или другую сторону от намеченного курса. Опять потребуются поправки. На пути могут встретиться подводные рифы. Их придется обойти. Наконец, могут обрушиться на него такие встречные бури, когда черные тучи смешаются с вздыбившимся морем. Кругом даже днем ничего не видно, а ночью и подавно. Случается, что машины работают во всю мочь, чтобы двигать корабль вперед, но буря, словно таранами, бьет в его скулы волнами и отбрасывает назад. И все же, хоть с опозданием, он придет к тому маяку, к какому нужно.

И каждый человек, по моему мнению, должен избрать себе в жизни какой-то маяк и стремиться к нему, как тот корабль, о котором я рассказал: кто хочет стать инженером, кто — учителем, кто — офицером, кто — борцом за правду. Много неприятностей человек будет встречать на своем пути. Но если он не сломается, то не может того быть, чтобы перед ним не засиял радостный луч его маяка.

Долго я тревожился за Валю, много дум передумал о ней. Наконец она известила меня: родила сына и назвала его, в честь моего отца, Петром. Я мысленно кричу ему:

— Ну, сынок, расти и занимай свое место на земле!

В эту ночь я ставлю для барина на стол выпивку и закуски, а сам не могу удержаться от улыбки. Вся кровь играет во мне. Командир заметил мою радость и спрашивает:

— С чего это ты сегодня сияешь так?

Я сочиняю ему:

— Интересный сон видел, ваше высокоблагородие.

— Какой же?

— Полюбила меня одна принцесса. Красоты она необыкновенной. Богатствам счету нет. Женился я на ней. И она родила мне сына. Такого славного мальчика свет еще не видывал. Бегает он по лугам, а я не могу на него налюбоваться. Слышу команду: «Вставай! Койки вязать!» До чего же мне не хотелось расставаться с таким сном, а пришлось вскочить.

Командир смеется:

— Странно. Все у тебя произошло в одну ночь: и принцесса полюбила, и женился на ней, и сын родился, и уже по лугам он начал бегать.

Хоть и сильно я люблю Валю, но вместе с тем продолжаю следить за порядками на корабле. Уж больно мне нравится морское дело. Жаль, что прав у меня нет. Приходится под чужим флагом работать. Да это меня мало беспокоит. Лишь бы наш «Святослав» был на лучшем счету.

В заграничном плавании хоть не отпускай команду на берег,— напивалась она зверски. Каждый раз при возвращении на корабль несколько десятков матросов приходилось поднимать на талях. Сколько было срамоты перед иностранцами.

Возьмем, например, нашу стоянку в Марселе. Ночью вернулись с берега шлюпки. На них сорок человек находились в таком состоянии, что ни рукою, ни но-

гою не могли пошевелить. С помощью талей подняли их на палубу; переписали фамилии. По распоряжению старшего офицера разостлали на баке брезент. На него, как трупы, уложили рядами пьяных. Другим брезентом покрыли, чтобы не простудились за ночь. Утром послышалась дудка, а вслед за нею раздалась команда вахтенного унтер-офицера:

— Все пьяницы на шкафут! Выстроиться во фронт!

Пришел старший офицер. Большие усы у него были закручены вверх и напоминали два серпа. Ему нравились те матросы, которые ухаживали за своими усами. В голове у него, можно сказать, были какие-то странные выверты. Когда он подходил к фронту, то всегда первым делом отдавал приказ:

— Подкрутить усы!

Так он поступил и на этот раз. Все сорок человек, что выстроились в одну шеренгу, взмахнули руками к носу. Сделали это и те молодые матросы, у которых на верхней губе пробивался только пух, как у цыпленка. Через минуту усы были подкручены. Старший офицер скомандовал:

— Смирно!

Он прошелся вдоль фронта, строго посмотрел каждому в лицо и заговорил:

— Надрызгались вчера, да? Меры не знаете, да? Можно с такой швалью управлять кораблем, да?

Накануне, по случаю своих именин, он сам всю ночь пил в кают-компании. Пьяницы молчали. Они хорошо знали, что за этим последует, и не ошиблись. Старший офицер зашел с правого фланга и начал всех подряд награждать пощечинами: то с правой, то с левой руки. Каждый матрос по два удара получил. По-настоящему, хлестко бил. Казалось, что таким манером он свои мускулы развивает. Только один матрос был обойден. Уж очень у него усы были красивые: черные, как вороново крыло, и так лихо расстилались по его курносому лицу, что у начальника рука не поднялась на такого молодца. Остальные матросы все получили свою порцию. Старший офицер выполнил свое дело и распорядился:

— Вахтенный! Передай боцману Кудинову, чтобы он поставил их на работу. Одни пусть медяшку надраивают, другие ржавчину отбивают с якорного каната.

Потом вызвал баталера и приказал ему:

— Выдать им всем по чарке водки за мой счет.



Обидно мне было, что наша команда в иностранных портах так конфузит русский флот. Стал я придумывать меры против этого. Сначала нужно было избавиться от штрафных и всякой швали. Человек пятнадцать у нас было неисправимых. Сами они ничего не делали и других развращали. И в особенности один из них этим отличался — матрос Луконин. Он прослужил двенадцать лет, а ему еще осталось дослуживать пять. Что это значит? Десять лет с перерывами он провел в дисциплинарных батальонах. А это не засчитывается в срок службы. Но Луконин не унывал и посмеивался сам над собою:

— Тяну и тяну военную лямку, а конца все еще не видать. Значит, я вдоль службы попал.

Я рассказал обо всем командиру и стал уговаривать его, что не мешало бы, мол, сократить это пьянство. И подал ему список тех матросов, каких нужно списать с судна. Сначала он заупрямился. На корабле он сам был первым алкоголиком, и ему, очевидно, стыдно было наказывать людей за пьянство. Я некоторое время подождал. А когда барин захмелел, я подсунул ему книгу приказов. Взял он в руки перо и начал строчить. Получилось у него замечательно: не приказ, а проповедь! Все изложил: и как позорно военному человеку напиваться, и как это вредно для здоровья, и как алкоголь иногда ломает человеческую жизнь. Посторонний человек подумает, что такой приказ мог написать только командир, который, кроме причастия, ни капли не употреблял спиртных напитков. Прочитал он свое сочинение, погладил ржавую бороду, как-то криво усмехнулся и сказал:

— А теперь, Захар, давай еще выпьем по стаканчику.

Приказ был отдан. Через несколько дней подвернулся русский коммерческий пароход. Пятнадцать человек пьяниц из команды в сопровождении строевого унтер-офицера были отправлены на нем в Кронштадт. После этого пьянство на корабле стало сокращаться.

## XIII

Захар Псалтырев закурил папиросу.

Из-за облаков выглянуло солнце. Засверкали сияющими бликами взъерошенные воды залива. Налетевший

ветер закачал деревья, срывая с них осенний наряд. В воздухе, падая, закружились пожелтевшие листья. Освещенные лучами, они были похожи на тончайшие пластинки золота.

Я спросил:

— Что же, командир всех офицеров так жучит?

— Больше всего он не любит красивых и дамских кавалеров. Им достается от него. Значит, здорово они жгли ему сердце. А чем непривлекательнее офицер, тем лучше относится к нему мой барин. Я тебе расскажу об одном таком чудаке. Служит он у нас на судне старшим штурманом. Фамилия его какая-то нелепая, не офицерская — Подперечицын.

Этот лейтенант не прожил и тридцати лет, а разбух, как тесто на хороших дрожжах. Ростом — средний, но очень широк телом. Весом — не меньше семи пудов. Говорят, это у него от какой-то болезни — такая ненормальная толщина. Лицо красное и круглое, как надутый шар. А на рыжих усах скромно приютился маленький носик, точно голенький воробьиный птенчик на гнезде. Казалось, у лейтенанта совсем нет костей. Лопни у него кожа, он сразу весь расплескается кровью, и от человека останется вроде пустого мешка.

Штурманское дело он знает неплохо. Насчет курса у него не бывает ошибки. Наше судно вышло из Кронштадта в заграничное плавание на три дня позднее эскадры. Мы должны были с нею встретиться в Шербурге. Не успели мы выйти из Финского залива, как навалился на нас такой густой туман, что ничего вокруг не видно. Он нас сопровождал несколько дней. Так прорезали мы, словно окутанные непроглядным дымом, Балтику, Немецкое море, Ла-Манш и вошли в порт Шербург. Подперечицын во все время пути вел броненосец только по счислению и по прокладке. Где еще такого моряка сыскать? По ходатайству командира его произвели в штурманы первого разряда.

Но если не было опасности, он относился к своим обязанностям спустя рукава, точно исполнял что-то постороннее и ненужное. Бывало, появится в ходовой рубке с таким усталым и сонным видом, как будто не спал несколько ночей. Заглядывает он в свои морские карты, а сам то и дело раскрывает рот и зевает с каким-то усыпляющим завыванием. И удивительно — это действует заразительно и на других. Минут через десять, кто



бы в рубке ни находился,— все начинают зевать. Я и на себе это испытал. Иногда даже боязно было, что люди на вахте могут заснуть.

Команда посмеивалась над старшим штурманом, но любила его. Офицер этот — редкой доброты. На вахте ни одного скверного слова от него не услышишь. С матросами он дружит, держится с ними запросто и пишет за них письма к их родственникам. А своим сигнальщикам и рулевым даже сочиняет любовные письма, и все в стихах.

Но вот что произошло из-за штурмана с сигнальщиком Хлудовым. На судне у нас нет такого здоровенного верзилы, как этот сигнальщик, и силу имеет он непомерную. Но очень внешностью нескладный человек: жилистый и узловатый, как дубовые корни, чернобородое лицо, широкое и рябое, как решето, рот почти до ушей и похож на пасть. Такой же он сонуля, как и Подперечицын. Заражался он зевотой от своего начальника первым. И вот однажды после обеда стоят люди на вахте и, по обыкновению, все зевают. А сигнальщик Хлудов так раскрыл рот, что у него вывихнулись челюсти и нельзя было их сомкнуть. Но это только потом узнали, в чем дело, а сначала никто не мог понять, что случилось с человеком. Рот у него так раскрыт, что можно видеть горло и маленький язычок; кривые зубы оскалены, глаза вывернуты наизнанку. Что-то он машет руками и вместо слов издает рычание. Всем жутко стало. Вдруг он бросился к вахтенному начальнику графу Эверлингу — должно быть, хочет что-то сказать ему и не может. А тот отпрыгнул от него на целую сажень, как от страшного привидения, тоже почему-то замахал руками и завопил, точно испуганный ребенок:

— Вахтенный! Караул наверх! Вахтенный! Связать сумасшедшего!

Сигнальщик рычал, рычал, потом повернулся и побежал по трапам вниз. За ним ударились вахтенные матросы, но поймать его никто не осмелился — бешеный. Может сразу сокрушить человека. На судне начался переполох.

Граф долго не мог прийти в себя, дрожал и наконец обратился к штурману:

— Что же это такое? Надо поймать этого зверя. Он может перекусать людей.

Подперечицын зевнул и ответил спокойно:

— Доктор выяснит.

Оказалось, что сигнальщик и убежал-то к доктору, и тот сразу поставил ему челюсть на место. Вернулся он на мостик какой-то растерянный, с виноватым видом.

— Вобла вяленая,— процедил сквозь зубы граф и отвернулся от него.

С этого дня сигнальщик Хлудов больше всего боялся, как бы опять не повторилось с ним такое несчастье. И в то же время при штурмане никак нельзя было ему удержаться от зевоты. Как тут быть? И приспособился: как только начинает у него раскрываться рот, он мгновенно хватается одной рукой за голову, а другой изо всей силы подпирает нижнюю челюсть.

Командир прощал Подперечицыну все его недостатки и обходился с ним даже ласково. Я, конечно, понимаю,— такой офицер не мог отбить у него жены.

Меня удивлял Подперечицын своей вялостью и равнодушием к судну. Казалось, ничто не могло его взволновать. Возникни пожар в бомбовом погребе или в крюйт-камере,— он все равно не перестанет зевать. Но нет на свете такого человека, который бы ничем не увлекался. И этот лейтенант очень любил пение. Офицеры говорят, что при высочайшем дворе он был регентом и управлял хором. Все у него ладно было, но внешность его портила ему карьеру. Главное, знатным дамам он не понравился. Уволили его и послали в плавание. Как только попал он на наш броненосец, сейчас же начал испытывать голоса матросов. Всю команду перебрал. Целый месяц он с этим делом возился и сколотил хор человек в сорок. Я тоже был зачислен в его хор. Когда он с нами занимается, откуда только у него берется такая бодрость. Заставляет всех изучать ноты, волнуется и готов проводить спевки круглые сутки. И уж тут ни разу не зевнет. Словом, у нас теперь такой хор, какого нет ни на одном корабле всего флота.

В праздник, во время обедни, стоит только Подперечицыну взять камертон в руки, как сразу он весь преображается. Для него важнее хора ничего нет на свете. А как он сам поет! У него высокий и нежный тенор. Слушать его — душа тает. Если не смотреть на эту ожиревшую семипудовую тушу, то можно подумать — это ангел спорхнул с неба на землю и заливается сладчайшим голосом. Запой он так весной в лесу, все птицы, кажется, замолчат и только будут слушать лейтенанта. Очень мне нравится, когда у нас исполняют «Иже херувимы». Басы, баритоны, тенора так дружески и складно переплетаются, как будто одна душа поет. А голос лейтенанта дрожит и выше всех поднимается, словно хочет достигнуть до ушей самого бога.

Раньше, бывало, боцманы и капралы никак не могут загнать матросов в церковь. А теперь, кроме вахтенных, все налицо. Каждому охота послушать хор.

Лейтенант Подперечицын водки в рот не берет, а главное — совсем не признает светских песен. Он пристрастился только к церковному пению. Можно подумать, что это самый религиозный человек и ему только бы монахом быть. А в действительности он, по-видимому, не верит ни в бога, ни в черта. Я был потрясен, когда узнал об этом. Из его хора горе бывает тому человеку, который собьется с тона. Лейтенант все может простить, но если врешь в пении — пощады не проси. Однажды со мною так случилось. Запели мы «Спаси, господи, люди твоя», и я сбился с тона. Смотрю, у лейтенанта заплывшие синие глаза стали вдруг злыми, как у разъяренного хищника. Он схватил меня за ухо и так потянул, что у меня, вероятно, рот набок съехал. А сам лейтенант продолжал заливаться ангельским голосом. Но только слова молитвы заменял самыми похабными словами.

После обедни он призывает меня к себе в каюту и говорит:

— Ты уж прости, что я погорячился, и вот тебе подарок от меня.— И тут же дает мне плитку шоколада.— Только следующий раз не сбивайся в пении. Иначе я не ручаюсь за себя. Ты можешь остаться без уха.

Так он поступает со всеми, кто сбивается с ноты. Сначала накажет, а потом наградит — кого деньгами, кого фруктами, кого запиской на пять чарок водки.

## XIV

Псалтырев, разговаривая со мною, иногда отвлекался от своего рассказа.

Коммерческий пароход, проходя мимо гавани, громко загудел.

— Английский купец в Петербург идет,— отметил Псалтырев, глядя на пароход.

В гавани паровой катер, сделав крутой поворот, с полного хода пристал к трапу какого-то крейсера.

— Ах, как здорово у него вышло! Какой замечательный глазомер у рулевого! Красота!

Серые, с маленькими точками на роговицах глаза моего приятеля радостно сияли. Меня удивляла его беспредельная любовь к кораблям. Казалось, он смотрел на них с таким же восторгом, с каким смотрит наследник на свое будущее богатство.

— Вот теперь я графа Эверлинга узнал как следует. С виду он нисколько не изменился. Как и в Петербурге, каждый день он брился и пудрился, и одет был с иголочки. На черном галстуке сверкал бриллиант, как звезда. Раскроет, бывало, свой золотой портсигар, усыпанный драгоценными камнями, и сейчас же раздается тихая и очень приятная музыка. Очень этому удивлялись: в такой маленькой вещице будто комариный оркестр играет. Графа побаивались даже офицеры. А матросам не дай бог с ним вместе служить. Он не то, что другие начальники,— не шумел, не ругался и не дрался; и все же такого пакостного человека не сыскать. Офицеров и то презирал и почти не разговаривал с ними. А здоровался он со всеми небрежно, подавал одни только пальцы и никогда не пожимал руки. И пальцы у него всегда были холодные. Я, конечно, не щупал их, но знаю об этом из разговоров в кают-компании. Офицеры прозвали его: граф «Пять холодных сосисок». Эта кличка перекинулась в команду, и все стали его так называть. Если уж к офицерам он относился пренебрежительно, то нечего и говорить о матросах. Они вызывали у него какое-то гадливое чувство. Для каждого из них при обращении к ним у него было лишь одно название «вобла». Для гребцов хуже всего было, когда приходилось куда-нибудь отвозить его на шлюпке. Никак не угодишь ему. Наказывал матросов он всех скопом. Сначала командует:

— Суши весла!

А потом прикажет правому загребному:

— Ну-ка ты, вобла вяленая, дай по морде следующему гребцу, а тот пусть передает дальше, чтобы кругом пошло!

И матросы начинают лупцевать друг друга. Последним получает удар тот, кто начал,— правый загребной бьет левого загребного. Пока матросы занимаются избиением один другого, граф «Пять холодных сосисок» строго наблюдает за ними. Если ему покажется, что они слабо это делают, приказывает еще раз повторить. Каждый из них возвращается потом на судно с красной и припухшей левой щекой. Таков был этот начальник из знатного рода. Когда вахта у него, он ходит себе по мостику и покрикивает:

— Фалы подтянуть!

А их уже двадцать раз подтягивали. Прав был соусник: человека узнают по его делам. Очевидно, в морском деле граф понимает немного лучше, чем акула в алгебре. Но все он что-то строит из себя и всем хочет показать, что он особенный человек. И даже в кают-компании сидит за столом и ни на кого не смотрит. А во время чая всегда одна и та же комедия происходит. Какой бы чай ему ни подал вестовой — жидкий или крепкий,— он недоволен и приказывает:

— Отлить и долить!

Однажды вестовой ответил ему:

— Отлито и долито, ваше сиятельство.

Граф рассердился:

— В карцер на трое суток!

Но на одного из вестовых он нарвался. Прежний его вестовой заболел, и к нему назначили нового. Этот парень мог хоть кого огорошить. Явился он к графу, а тот посмотрел на него и, должно быть, чем-то остался недоволен. Он ядовито заговорил:

— Послушай, вобла, откуда ты такой дурак взялся?

Матрос был парень развитой и ошарашил своего барина ответом:

— Умных вестовых, ваше сиятельство, назначили к умным офицерам, а меня почему-то к вам приставили.

Граф даже побледнел от злости и сейчас же накатал рапорт на этого матроса.

Один из наших офицеров нарисовал карикатуру. Стоит граф с протянутой рукой, а на ней вместо пальцев — пять сосисок. Внизу подпись: «Граф «Пять холодных сосисок». Эту карикатуру послали ему по почте. Эх, и взбеленился он, когда распечатал конверт. Сейчас же к командиру с жалобой. При мне это было, я в спальне находился, кровать своего барина убирал. Граф всегда говорил тихо, а на этот раз раскричался:

— Я не позволю, чтобы надо мною так издевались!

Наша графская фамилия — старинного рода, четыреста лет существует. Я требую отдать под суд виновника.

Командир осадил его:

— Напрасно, граф, вы кричите так громко. Мой слуховой аппарат в полной исправности. Я хорошо услышу вас, если вы будете разговаривать со мною тихо и спокойно. Это — во-первых. А во-вторых, кого же я должен отдать под суд? Кто автор этой карикатуры?

Граф сразу осекся и стал говорить умереннее:

— Это сделал какой-нибудь негодяй из команды. Я раньше слышал, как при моем появлении на палубе матросы повторяли фразу «Пять холодных сосисок». И только теперь стало понятно, в чем дело.

— Так вот что, граф, я должен вам сказать. От этой клички вы никогда не избавитесь. На какое бы вас судно ни перевели, она будет преследовать вас наравне с вашей настоящей фамилией. Почему? Да потому, что нашим матросам никто не запретит встречаться с командой того судна, на каком вы будете плавать. Вот они-то все и расскажут о вас.

Так граф «Пять холодных сосисок» и ушел от командира ни с чем.

Кроме меня, никто не знал, кто нарисовал такую карикатуру. А узнал я это случайно. Дня за три до того, как граф получил ее, командир послал меня позвать лейтенанта Подперечицына. Я — бегом в его каюту. Стучу в дверь, слышу в ответ:

— Войдите.

Открываю дверь. Лейтенант сидит за столом и смотрит на меня, немного растерянный. Я с порога докладываю ему приказ командира. Он сразу заторопился и начинает собирать со стола какие-то бумаги. Одна из них вылетела из его рук в мою сторону и упала на коврик. Смотрю — боже ты мой! На бумажке нарисован наш граф. Изуродован невероятно, а похож, и всякий может сразу узнать его. Словом, это была та самая карикатура, какую он показывал командиру. Я говорю лейтенанту Подперечицыну:

— Крепко, ваше благородие, вы изобразили здесь его сиятельство. Если эту штуку показать ему, позеленеет, как от морской болезни.

Лейтенант строго спрашивает меня:

— Ты можешь держать язык за зубами?

— Когда нужно, я бываю немой, как осетр.



— Значит, никому ни звука об этом.

— Есть, ваше благородие!

Это событие произошло в итальянском порту Генуя. Русская эскадра еще накануне ушла в Палермо, а наш броненосец «Святослав» на несколько дней остался здесь, чтобы закончить ремонт машин. С двенадцати часов дня граф вступил на вахту. На небе ни облачка, сентябрьское солнце с морем играет, а он ходит по мостику злой, как будто у него печень распухла. Флотскую фуражку с белым чехлом на лоб надвинул и ни на кого не хочет смотреть. Какие мысли в это время копошились в графской голове? К удивлению всех, он ни разу не выкрикнул своей обычной команды, чтобы фалы подтянули. Только через час выяснилось, чем была занята его голова. Он приказал вахтенному отделению выстроиться во фронт на шкафуте. Граф спустился с мостика, обвел глазами вытянувшихся матросов и спросил:

— Кто из вас любит сосиски?

Все в недоумении молчали. Тогда он отобрал из фронта шесть матросов, какие ему лицом не понравились, и приказал им сесть на шестивесельную шлюпку. С корабля им подали буксирный трос, закрепленный за кнехт. Когда все было приготовлено, граф с мостика крикнул, держа перед губами мегафон:

— На шестерке! Весла на воду!

И вот шесть человек начали буксировать броненосец водоизмещением почти в пятнадцать тысяч тонн. При полном безветрии пекло солнце. Изгибались гребцы, разноцветно вспыхивали лопасти весел. От бортов шестерки разбегалась сияющая рябь. Что переживали ни за что ни про что наказанные матросы? Они были выставлены на посмешище. Оскорбление их увеличивалось еще тем, что они занимались бессмысленным делом. Это все равно, как если бы заставили шесть комаров тащить за волосы человека. Большинство команды вышло на верхнюю палубу. Всем обидно было за своих товарищей, но никто не мог прекратить издевательство графа. И некоторые офицеры возмущались его поступком. Ведь им тоже было стыдно за свое судно. Генуя — мировой порт. Сотни кораблей стояли под флагами разных наций. Со многих из них смотрели в бинокль на такое нелепое зрелище. Сначала они, вероятно, не понимали, в чем дело. Тысячи таких шлюпок не могли бы сдвинуть с места броненосец, стоящий на якоре. А тут русские

хотят что-то сделать при помощи только одной шестерки. Потом-то, конечно, они догадались, что это своего рода наказание для матросов. Сам граф «Пять холодных сосисок» остался доволен своей затеей: ходит себе по мостику, как жених, и закручивает усы в колечки. По временам он направлял мегафон на шестерку и кричал:

— Эй, вобла! Навались на весла!

Вечером, за выпивкой, я нарочно заговорил с командиром о боевой подготовке команды:

— У нас, ваше высокоблагородие, часто бывает так: судьба случайно сведет матросов с каким-нибудь офицером. И вот они вместе служат, вместе плавают на одном корабле. Для чего? У них одна цель — в случае войны вместе бить врага. Но этот офицер, скажем, чувствует себя временным гостем на судне, со своими подчиненными никак не ладит и вызывает в них только вражду к себе. Можно ли с ним добиться успеха во время сражения? Нет. Если люди ставят на кон свои жизни, то они должны верить своему начальнику. Он для них все — учитель и друг. Никаких сомнений в нем. Иначе — все пропало. Сколько ни вооружай армию или флот, только напрасно будут гибнуть жизни. Не так ли, ваше высокоблагородие?

— Правильно рассуждаешь. Но ты, рязанский мужичок, не зря это мне говоришь. Что-то у тебя на уме другое.

— На уме у меня всегда только одно — наш корабль. Скажу прямо — кто из матросов во время боя может доверить свою жизнь графу Эверлингу?

И я подробно рассказал командиру, как граф издевается над матросами. Это задело командира за живое. Он раздраженно, словно обидели его лично, сказал:

— Давай книгу приказов!

Никогда раньше он не писал так свирепо, как на этот раз. И откуда только такие умные слова у него нашлись. Матросов он возвеличил, назвал их защитниками родины, а графа «Пять холодных сосисок» искромсал и за нарушение правил морского устава приговорил его к трем суткам ареста в каюте с приставлением к нему часового. И вообще этим приказом командир запретил всем офицерам заниматься мордобойством. На следующий день приказ прочли на шканцах во всеуслышание. И я присутствовал при этом. Интересно было наблюдать за графом — стоит он мертвенно-бледный, склонивши голову. Ведь впервые его так огорошили. Он пошел к себе в каюту, ни на кого не глядя.



С этого дня у нас на судне прекратилось безобразие, и начальство перестало заниматься рукоприкладством. Команда еще больше полюбила своего командира и готова была за него пойти на любой риск. Учение шло на судне как нельзя лучше. Всюду наблюдалась образцовая чистота.

Дня через три мы снялись с якоря и ушли из Генуи. Броненосец наш направлялся к берегам Сицилии. Стояла тихая погода. Средиземное море обошлось с нами, как старый друг. С эскадрой наш «Святослав» соединился в Палермо. Город чистый, приятный и, как показалось мне, небольшой, но в нем — сотни церквей. И кто только молится в них! В особенности мне понравился старинный собор. Весь он как будто воздушный и стоит более шестисот лет. Это объяснил мне мой приятель, машинист самостоятельного управления Григорьев. Очень умный парень. Я с ним гулял в городе и в окрестностях Палермо. Мой приятель много рассказывал мне о церквах и здорово высмеивал итальянских попов и монахов. Но выходило так, будто он разделывал православную религию. Ядовитый человек. От него же я узнал, что около Палермо когда-то высадился Гарибальди, знаменитый итальянский патриот. При нем была только одна тысяча волонтеров. Но Гарибальди не побоялся с ними начать войну против австрийского и папского ига. Отряд волонтеров начал обрастать восставшими крестьянами, и Гарибальди победил. Я подумал: может быть, со временем и у нас найдется подобный вождь и установит в России другие порядки. В окрестностях Палермо застыли высоченные горы. В одной из них мы осмотрели пещеру Дионисово ухо. Громадных размеров она. Григорьев мне объяснил, что в ней запирали на ночь рабов. До двадцати тысяч помещалось их там. И вот что удивительно: в этой пещере такое эхо, какого нигде нет. Скажи вслух слово, и вверху точно гром раздается. Даже от шелеста бумаги такой шум поднимается, как от бури в лесу. Эта пещера похожа на раковину уха. Рабов нарочно запирали туда, чтобы они не устроили заговора против своих господ. Наверху были сделаны такие окошечки, через которые можно было услышать все, что делается в пещере,— даже шепот людей. Вот что придумали богачи для бедняков. Но я отвлекся. Вернусь к

своему кораблю. Присоединились мы к своей эскадре рано утром и стали на якорь. После подъема флага в офицерской кают-компании начался завтрак. Подали сосиски с капустой. Офицеры многозначительно переглянулись. Граф заметил это и сейчас же подозвал к себе вестового.

— Ну-ка ты, вобла! Передай повару, чтобы он приготовил для меня два яйца всмятку, а эту дрянь убери,— сказал он и показал на тарелку с сосисками.

Некоторые из офицеров заулыбались, другие громко фыркнули, а один мичман промолвил:

— Да, сегодня мне подали сосиски холодные, как пальцы в мороз. Противно даже дотронуться до таких сосисок.

Мать ты моя родная, что тут случилось с графом! Точно царапнули его по самому сердцу. Он вскочил, обвел всех офицеров помутившимися глазами и громко заявил:

— Это низость! Я не могу больше находиться среди такого общества!

И убежал к себе в каюту. В кают-компании начался переполох. Офицеры сочли себя оскорбленными: все встали и запротестовали против такой выходки графа. Поднялся невообразимый галдеж. Старший офицер, как хозяин кают-компании, начал успокаивать их. Некоторые из них угрожали вызвать графа на дуэль. Кончилось тем, что они написали командиру рапорт: просят его разобрать это дело. Граф, в свою очередь, написал ему рапорт, в котором заявлял, что заболел и просит освободить его от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, от него был послан начальнику эскадры донос. Получился сложный переплет. Все офицеры были настроены против командира за то, что он очень круто начал подтягивать их по службе. Но здесь по крайней мере преследовалась та цель, чтобы подготовить боевую мощь корабля. А «Пять холодных сосисок» ни за что ни про что презирал их, хотя у самого графа, кроме графской спеси, ничего не было за душой. Мало того, он нанес им оскорбление. В конце концов они взяли сторону командира. Они думали, что он придирается к ним во имя долга службы. И каждому было видно, что порядки на корабле несравненно улучшились. Поэтому и авторитет командира стал среди них постепенно подниматься.



Вечером, за выпивкой, барин обратился ко мне:

— Ну, Захар, назревает большой скандал. Граф не оставит этого дела так. Он и в Петербурге начнет нажимать кнопки.

— Неважно, ваше высокоблагородие. Вы честно поступили. А честность должна быть выше всего на свете. Ни одного командира команда не любила так, как вас. А графу нет больше жизни на корабле. Придется ему уволиться на другое судно.

— Да это я к слову сказал. А мне наплевать на этого выродка.

Я разыскал тех матросов, над которыми издевался граф, и рассказал им, что, может быть, к нам приедет начальник эскадры. Они должны будут заявить претензию на своего обидчика. Сам командир будет только рад этому.

На второй день к нам приехал начальник эскадры адмирал Железнов. Офицеры и команда выстроились во фронт на верхней палубе. Командир отрапортовал ему, что на судне обстоит все благополучно: офицеров столько-то, из них один больной, граф такой-то, команды столько-то, из них больных никого нет; потом — сколько у нас имеется запасов угля, машинных материалов, пищи. Адмирал сначала поздоровался с офицерами, а затем — с командой. Мы в ответ отрезали ему:

— Здравия желаем, ваше гитество!

Я смотрел на адмирала с особым интересом: сравнительно с другими он был молодой, имел тонкие и немного изогнутые губы, глаза черные, пронзительные и нос с горбинкой. Он играл густыми бровями и постоянно щупал свою острую бородку, словно хотел убедиться — на месте ли она. Голова у него поворачивалась с такой быстротой, как будто он хотел что-то внезапно увидеть. Чувствовалось, что это деловой адмирал и хорошо соображает. Такие же отзывы я слышал о нем и раньше от офицеров и матросов. Мне он понравился, может быть, потому, что моя Валя похожа на него — вылитая копия. Никаких сомнений не было, что он ей родной отец. Значит, теща говорила мне правду. В моей голове заиграла шальная мысль — выйти из фронта вперед и заявить:

— Ваше превосходительство! Официально вы имеете двух детей. Вы с ними живете, вы заботитесь о них. А знаете ли вы, что они не вашей крови? Но у вас есть

родная дочь. Она родила вам замечательного внука. Вы — мой тесть, а я — ваш зять. Давайте по-хорошему пожмем друг другу руки...

Что было бы с адмиралом, если бы я на самом деле так сказал? Вероятно, он сошел бы от ужаса с ума, а меня сгноили бы в тюрьме. Людям скорее нужна бесстыдная ложь, лишь бы прикрыть ее позолотой. А правда — она колючая, как иглы ежа.

Адмирал приказал приготовить судно к осмотру. Все матросы разбежались по своим местам. Может быть, он думал увидеть грязь, а тут пылинки нигде не найдешь. Все отделения были чисты, как царские палаты, все медные части настолько были начищены, что своим блеском резали глаза. Некоторым из команды адмирал задавал вопросы по их специальности, а те отчеканивали ему, как будто читали молитву царю небесному. Пробили все тревоги: боевую, пожарную и водяную. Каждый человек знал, куда ему бежать, и каждый знал, что ему делать. Вышло как нельзя лучше. Адмирал сказал командиру:

— Попробуйте поставить пластырь. Предположим, что корабль получил пробоину с правого борта, против первой дымовой трубы. Начинайте действовать.

А у нас давно уже начали заниматься практическим учением с постановкой пластыря. Командир отдал распоряжение. Засвистали дудки. Раздалась команда, какая полагается. Матросы во главе с боцманом ринулись к пластырю, в один миг притащили его к указанному борту и развернули. Получилось огромнейшее парусиновое полотнище. Без единой заминки пластырь был опущен за борт и прилажен на место предполагаемой пробоины. Ну, что ни сказал бы адмирал,— все выходило хорошо. Ни к чему не мог придраться. По глазам было видно, что он остался всем доволен. Но не сказал ни слова. А я радовался за свой корабль больше всех. Мне казалось, что в этот день на мою долю выпало самое большое счастье. Адмирал приказал выстроить нас на верхней палубе во фронт. Сначала мы получили от него благодарность за отличное исполнение своих обязанностей. Потом он удалил всех офицеров, а сам пошел вдоль фронта и начал допрашивать:

— Нет ли, братцы, у кого-нибудь претензий?

Посыпались жалобы на графа «Пять холодных сосисок». Человек двадцать заявили претензию. Они рассказали адмиралу, как с ними обращается граф. Не понравилось это начальнику эскадры, но все-таки он приказал своему флаг-офицеру все записать. И наши офицеры подтвердили ему, что действительно было так. После этого он отправился в каюту графа. О чем они толковали — неизвестно. По-настоящему нужно бы отдать графа под суд. А ну-ка, попробуй! У него такие связи при царском дворе. Адмирал понимал это больше других.

В этот день все у нас получилось замечательно. Только я один напоследок подгадил. И до чего же это нелепо произошло! Командир послал меня за старшим боцманом. Настроение у меня было радостное, и я понесся к офицерскому коридору, как молодой жеребенок. А в это время адмирал выходил из графской каюты. Я с разбегу и ударился всем корпусом о дверь, а она так хлопнула по голове адмирала, что у него даже фуражка слетела. Он в испуге вскрикнул:

— Это что такое, черт возьми!

Ну, думаю, кончилась моя служба. Вытянулся я, правую руку к бескозырке подбросил. Наступил такой момент, как будто меня лишили воздуха, и мой голос прозвучал, как у молодого петуха:

— Виноват, ваше превосходительство.

Адмирал рассвирепел:

— Ты что же, негодяй, вздумал начальство бить? Под суд отдам!

А сам все потирает рукой лоб.

Опомнился я и соображаю, что нужно как-нибудь выкручиваться:

— Позвольте доложить, ваше превосходительство. Командир послал меня за старшим боцманом. А я всегда все его приказания исполняю бегом. Вот невзначай и хлопнулся о дверь и вас ушиб. Простите, ваше превосходительство.

Адмирал вызывает командира и сердито спрашивает:

— Что это у вас за матрос такой, который адмиралам наставляет шишки на лоб?

Я, как подсудимый на свидетеля, смотрю на Лезвина,— что он скажет? На его лице никакой растерянности. Он смело, словно разговаривает с равным, отвечает ему:

— Как командир корабля должен вам сказать, ваше превосходительство, это лучший слуга царю и отечеству.

Адмирал сразу смягчился:

— Так. Все же проучить этого матроса не мешает, чтобы следующий раз бегал осторожнее. Посадите его на пять суток в карцер.

Я с благодарностью взглянул на своего тестя: дешево удалось от него отделаться.

Он отбыл на свой корабль.

На второй день граф «Пять холодных сосисок» уехал в Петербург якобы по болезни. Молодец адмирал! Ловко придумал выход.

Вечером у нас па шканцах прочли приказ. Адмирал благодарит в нем командира, господ офицеров и всю команду за образцовый порядок на «Святославе». Дальше говорится, что и в боевом отношении наш броненосец стоит на большой высоте. В заключение адмирал приказывает командирам других судов побывать на «Святославе» и поучиться у капитана первого ранга Лезвина, как управлять кораблем.

Когда читали этот приказ, я в карцере сидел, но мой барин сейчас же освободил меня досрочно.

Начальник эскадры адмирал Железнов прослышал о нашем хоре и в праздник пригласил всех певчих на свой флагманский корабль. Ну, уж тут мы постарались! Адмирал остался доволен. Он отпустил на хор сто рублей, приказал выдать каждому по две чарки и угостил обедом из двух блюд: первое — флотский наваристый суп, второе — жареная свинина. И опять в приказе была объявлена всем нам, и особенно лейтенанту Подперечицыну, благодарность.

## XV

Два пьяных матроса вошли в парк и нескладно запели непристойную песню. Они шли медленно, покачиваясь и поддерживая друг друга. Патруль арестовал их обоих. Пьяные матросы запротестовали, начали ругаться и готовы были полезть в драку. Но на шум подошел офицер, и буянов отвели на гауптвахту.

— Вот горе с этим пьянством! Теряют люди разум и не умеют держать себя. Теперь попадет им обоим,— с досадой промолвил Псалтырев и продолжил прерванный рассказ о своем судне.

— Без графа жизнь у нас наладилась как нельзя лучше. Офицеры под давлением командира перестали



пускать в ход кулаки, с командой стали жить дружнее. Оставалось только радоваться, глядя на корабельные порядки. Но произошло такое темное дело, которое на всех нехорошо повлияло.

Как известно, на каждом корабле найдется матрос — любимец всей команды. Таким у нас был рулевой Панфил Чудаков. Обыкновенно всех матросов на судне называют по фамилии, а этого просто — Панфилка. Унтера, боцмана и даже офицеры окликали его только по имени. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок. И Панфилка уже прослужил на флоте более пяти лет, а все казался подростком. Приятное личико его было моложавым и всегда румянилось, на верхней губе едва пробились русые усики. По своему живому характеру и подвижности он напоминал белку. По части пляски — цыгану не уступит. Ну, и на гармошке сыграет — заслушаешься. На корабле — где Панфилка, там радость и смех. Посади такого человека за тюремную решетку — он все равно не будет унывать. Всюду он свой человек. Начнет вышучивать недостатки своих товарищей, и никто не имеет против него какой-либо обиды. Своей умильной улыбкой он гасит ее, как вода гасит пламя. И перед начальством всегда у него найдутся слова. Однажды его останавливает лейтенант Подперечицын, показывает на верхушку мачты и спрашивает:

— Ты видишь, Панфилка, на самом клотике комар сидит?

Панфилка поднял голову, потом смотрит игриво-веселыми глазами на лейтенанта и отвечает:

— Так точно, выше благородие, вижу. Да он еще на правый глаз кривой. Вероятно, комариха в сердцах изувечила своего мужа.

— Молодец! Зоркость у тебя отличная,— смеется Подперечицын.

Панфилка и перед старшим офицером не стеснялся. Когда мы стояли в Палермо, тот отпускает его на берег и говорит:

— Хороший ты у меня матрос, но усы у тебя паршивенькие.

— От родителей это у меня, ваше высокоблагородие. Будь я вашим сыном, я имел бы усы, похожие на бараньи рога. Одну девушку целовал бы, а семеро падали бы в обморок.

За такой ответ старший офицер другого матроса посадил бы в карцер или наградил бы его зуботычинами, а Панфилке и это сошло с рук. Из начальства ненавидел его только граф «Пять холодных сосисок». Ведь это Панфилка, будучи вестовым у него, брякнул ему насчет умных офицеров. Хорошо, что командир повлиял на суд, а то бы граф упек этого матроса в арестантские роты.

Словом, такие люди, как Панфилка, украшают жизнь, словно цветы.

Совсем другим у нас был кок Жеребцов. Великан! Не руки у него, а медвежьи лапы. Шея толстая, подбородка почти нет. Лицо неподвижное, как маска, кверху оно расширено, и над ним навис огромный лоб, точно каменный балкон. Глаза неопределенного цвета и неживые, как свинцовые. Между бровей большая бородавка, бурая, корявая, похожая на пробку от бутылки. Неряшливый и забывчивый, он все же пищу готовил неплохо — матросы были им довольны. Но такой он был скучный человек, что даже Панфилка не мог его развеселить. Улыбнется только одним уголком рта и молчит. Однако жили они, по-видимому, дружно. Никому кок не давал таких хороших костей поглодать, как Панфилке,— с мясом и мозгом.

Жеребцов прославился у нас одной странностью. Задай ему какой-нибудь вопрос — он обязательно должен сначала дернуть себя за нос, а потом уже ответить. Без этого никак не может обойтись — будет стоять и молчать, как фонарный столб. И с начальством у него так выходило. Ему за это не раз попадало. Получалось, когда он дернет себя за нос, то в его сознании вроде как черная шторка поднимается, и все становится ему ясным.

И вот однажды что случилось. Было тихое утро. На синем небе ни одного облачка. Невысоко над горизонтом висит яркое солнце. На море ни одной морщинки, точно оно помолодело за ночь. Вдыхаешь свежий воздух и чувствуешь во всем теле такую бодрость, как будто солнце вливает в тебя новые силы. Кругом разлита сияющая радость, хочется петь песни. В такое утро кажется, что ты никогда не состаришься, не умрешь и будешь жить вечно молодым.

Команда уже позавтракала. На верхней палубе идет уборка. Около камбуза на дубовом чурбане кок Жеребцов рубит на части бычью тушу. Я стою поблизости и



любуюсь его здоровенной фигурой. На нем все белое — фартук, колпак, куртка. В его руках тяжелый топор с очень широким лезвием. Такие топоры бывают только у мясников. Когда кок резко опускает его на чурбан, то скалит зубы и шумно выдыхает.

— Гха!

Только что кончил он разрубать мясо, как около камбуза появился Панфилка.

— А ну-ка, кухонная чумичка, можешь ты мне с одного взмаха отрубить голову? — пошутил весельчак.

Кок покосился на Панфилку свинцовыми глазами, дернул себя за нос и мрачно ответил:

— Клади голову на чурбан.

Смотрю, Панфилка становится на колени и кладет голову на чурбан. Лицо у него повернуто в сторону моря. Солнце светит ему прямо в глаза. Он щурится и восторженно улыбается, показывая белые, как редька, зубы. Глядя на него, улыбаются и матросы. Кок берет огромный топор и высоко вздымает его над собой, точно перед ним действительно бычья голова. В таком грозном виде он уставился на тонкую шею матроса и как будто замер. Мне показалось, что глаза у него помутнели. Все были уверены, что это только шутка, и все-таки стало так страшно, что у меня остановилось дыхание. Вдруг Жеребцов оскалил зубы, блеснуло в воздухе лезвие топора, и я явственно услышал привычный звук:

— Гха!

И голова Панфилки отлетела прочь, ударилась о палубу и покатилась по ней, как футбольный мяч. Туловище перевернулось раза два и осталось лежать неподвижно около чурбана. Палуба окрасилась кровью.

Крик ужаса вырвался у матросов.

Мне показалось, что я проваливаюсь в бездну. Закачалась палуба под ногами, запрыгали вокруг люди и судовые предметы. Но это было только мгновение. Корабль стоял на якоре. Жарко светило солнце. Суетились лишь матросы и громко галдели. Я взглянул на Жеребцова. Он выронил топор из рук и не сошел с места. Лицо у него окаменело, нижняя челюсть отвалилась, рот раскрылся, помутившиеся глаза удивленно уставились на окровавленный чурбан. В этот момент кок, по-видимому, и сам не понимал, что случилось.

Матросы побежали за начальством. Вскоре всполошился весь корабль. Люди спешили на верхнюю палу-

бу. Я бросился вниз, в каюту своего командира, чтобы доложить ему о событии. Когда он услышал от меня такую страшную новость, у него затряслась ржавая борода, а глаза налились кровью, как у бешеного быка. Мы побежали по трапу на верхнюю палубу. Он так шумно дышал, точно ему не хватало воздуха. А около камбуза собралось пропасть народу — и офицеры и матросы. Перед командиром все расступились. Жеребцов по-прежнему стоял на одном месте, словно его припаяли к палубе. Командир увидел кока и заорал не своим голосом:

— А-а, это ты, убийца! Становись, подлец, на колени! Клади голову на чурбан!

Кок покорно исполнил его приказ. Командир схватил топор и так же, как и Жеребцов, высоко поднял его над собой. Вокруг все затихли, затаили дыхание, как на высочайшем смотру. Еще момент — отлетела бы и другая голова. Меня точно какая-то сила толкнула вперед,— я выхватил у командира топор. Он повернулся ко мне и зарычал:

— Да как ты смеешь! На каторгу упеку!

— Куда угодно упекайте, а топор я вам не отдам,— твердо ответил я.

Вдруг лейтенант Подперечицын загородил меня и заявил командиру:

— Господин капитан первого ранга! Что вы делаете? Опомнитесь!

И командир действительно точно очнулся от бреда. Посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на кока. Тот продолжал держать голову на чурбане.

— Арестовать убийцу! — строго и трезво приказал командир и направился к себе в каюту.

Всех точно прорвало: поднялся невероятный крик. Кока хотели убить и выбросить за борт. Офицеры вызвали наверх караул. Все это чуть не кончилось бунтом. Когда, наконец, повели Жеребцова в карцер, у него в сознании как будто наступило прояснение. Он замотал головой и заревел истошно и надрывно, точно раненый медведь.

Сейчас же о событии сообщили по семафору адмиралу. Немного времени спустя к нам на броненосец со всех кораблей съехались старшие врачи. Им было приказано исследовать кока — сумасшедший он или нет? Лейтенанту Подперечицыну командир поручил вести



следствие по этому делу. Но все они ничего не добились от Жеребцова. Он лишь одно твердил:

— Я сам не знаю, как это вышло.

Доктора допрашивали команду, как он вел себя раньше и не было ли в его поведении каких-нибудь странных случаев. Матросы считали его хорошим коком и вполне нормальным человеком. Водки он не пил, ни с кем не скандалил, в драках не участвовал. Только иногда у него бывали заскоки в голове. Однажды нужно было ему приправить борщ. Он нарезал сало, поджарил его с луком и отставил в сторону, а в котел положил свой фартук. Но тут же младший кок вытащил фартук обратно. В другой раз так вышло. Была команда всем наверх и выстроиться повахтенно. Жеребцов выскочил на палубу в кальсонах и стал во фронт. Кругом столько смеху было, а он стоит и не замечает, что у него нет брюк. Сейчас же его посадили на пять суток в карцер. После отбытия своего наказания он взял свои кальсоны, изрезал их на мелкие лоскуточки и выбросил за борт. Узнали доктора и о том, как он дергает себя за нос.

Ночью командир пил водку больше обычного. Видать было, что это убийство повлияло на него очень сильно. Он часто хватал себя за голову и говорил:

— Психологическая загадка. Доктора объясняют так: при рубке мяса движения рук у кока исполняли работу помимо воли, механически, а задерживающие центры в его мозгу ослаблены. Из таких субъектов выходят самые страшные преступники. Теперь будут исследовать у преступника спинной мозг. Подозревают сифилис. А в общем, ему давно бы нужно быть не на судне, а в доме для умалишенных.

Командир никак не мог успокоиться:

— Я сам чуть не стал убийцей. Какой ужас! Что со мной случилось?

И растерянно разводил руками.

— Ну, спасибо тебе, Захар, что ты вырвал у меня топор. Совершилось бы страшное дело. Давай выпьем за упокой души Панфилки. Хороший был матрос!

Впоследствии кока все-таки судили. Все думали, что его сошлют в Сибирь на каторгу. Но на суде нашли у него какую-то душевную ненормальность и приговорили его только к церковному покаянию. Сорок дней он должен быть на хлебе и воде и класть перед иконами по сто поклонов в день. С корабля он был списан в пси-

хиатрическую больницу для лечения. Он твердо решил: как только вырвется со службы, то уйдет в монахи замаливать свой страшный грех.

Мне больше всего досадно, что командир подорвал свой авторитет. Зачем он схватил топор и хотел отрубить голову Жеребцову? Теперь офицеры нехорошо говорят о моем барине — считают его тоже ненормальным. Ну, ничего — потом все это сгладится...

Псалтырев вдруг вскочил и стал прощаться со мною:

— До свиданья, друг. Наш катер подходит к пристани. Через недельку зайду к тебе в экипаж. Поговорим еще.

Склонив вперед голову, он зашагал по холодной осенней земле так уверенно, словно был ее хозяином. Ветер играл спускавшимися с его фуражки ленточками. Я остался один в размышлении о дальнейшей судьбе этого талантливого и своеобразного человека так не похожего на других матросов.

## XVI

Вместе с своей ротой мне пришлось попасть в манеж, где было устроено для команды развлечение. Здесь же находились матросы и с других кораблей. Я сидел на краю скамейки в одном из передних рядов и смотрел, что делается на сцене. Началось с того, что матросы исполнили русскую пляску, выбивая ногами дробь под звуки двухрядной гармошки. Другие матросы, сменив своих товарищей, пропели хором морскую песню.

На этом самодеятельность и закончилась. Начали выступать артисты. Какой-то молодой франт рассказал анекдот, как один поручик, уходя на занятия, приказал своему денщику зарезать курицу и приготовить из нее обед. Но тот не выполнил поручения. Офицер, вернувшись домой, спросил:

— Почему курица не зарезана?

Денщик ответил:

— Так что, ваше благородие, никак нельзя было это сделать,— за курицей ухаживал петух его превосходительства.

Денщик оказался таким дураком, что его барин остался без обеда.



Франта сменил седобородый артист, высокий, толстый, во фраке, с широким черным бантом вместо галстука. Остановившись, он застыл перед зрительным залом, заложив руки назад и опустив глаза, словно сильно устал. Так продолжалось несколько секунд. Вдруг его пепельная голова горделиво откинулась назад, руки он выбросил вперед, и мы увидели в одной из них балалайку. Все ждали, что он запоет басом, но в бренчащие звуки балалайки влился его надорванный и осипший тенор. Артист, ломаясь, дергался, изгибался, дрыгал для чего-то ногой и напевал юдофобские частушки.

Все это казалось невероятной дешевкой. Для нас ни разу не поставили мало-мальски приличной пьесы, ни разу не пригласили хоть сколько-нибудь сносных артистов. Начальство, очевидно, думало, что мы вполне удовлетворимся этими эстрадными отбросами. Но мы сидели смирно, глазели на убогую сцену и слушали все то, что с нее преподносили нам. Сознательные матросы слушали все это с таким отвращением, как будто бы их заставили жевать гнилую, с тухлым запахом пищу. Лишь немногие из публики смеялись. Впереди развалился на стуле лейтенант, которому было поручено следить в этот вечер за порядком. Ему было скучно — он часто зевал, широко раскрывая рот и лениво посматривая на сцену. Налево, привалившись к деревянной стене манежа, стояли патрульные матросы при палашах.

На мое плечо легла чья-то рука. Я поднял голову и увидел улыбающегося Захара Псалтырева. Он тихо заговорил:

— Слыхал, как нашего брата, вестового, продернул один ферт? Все за дурачков нас считают. Сам он идиот! Воли нет — поддал бы я ему коленом ниже поясницы, чтобы он кувырком полетел со сцены.

Во время короткого антракта, гуляя в манеже, я немного успел поговорить с Псалтыревым. Он с печалью сообщил мне:

— Барина-то моего отставили от командования броненосцем. А ведь как здорово было поставлено дело на «Святославе». Лучший корабль во всем флоте. И благодарность адмирала не помогла. За что, спрашивается, такая напасть на человека? Подвел командира граф «Пять холодных сосисок». Он каким-то родственником приходится великому князю. Наверное, бывают и умные графы, а у этого ничего нет, кроме спеси. И все-таки

отомстил командиру. Мне об этом сам барин рассказывал.

— А как твои науки? — спросил я.

— Барин достал мне алгебру. Зубрю в свободное время. Трудное это дело, но обязательно ее одолею. Он мне дал еще учебники по географии, истории, ботанике, зоологии. Наказывает, чтобы я учился, а сам нисколько не помогает. О нем есть что рассказать. Удивишься ты, если узнаешь, как мы живем.

Я уговорил Псалтырева прогуляться по городу. Ночь была тихая, с легким морозом. Мы прохаживались по глухим и пустынным улицам. Я внимательно слушал своего друга.

— Барин дружит со мною пуще прежнего. Без меня, должно быть, скучно ему и поговорить не с кем. Офицеров он ненавидит, друзей у него никого нет. Кроме как по делам службы, он ни к кому не ходит, и у него никто не бывает. Ну, и приходится ему отводить душу со мною. Днем он по-прежнему спит, а ночью выпивает. Теперь уж трудно ему остановиться.

Новый фокус он придумал: как только я приготовлю выпивку и закуски, сейчас же приказывает мне нарядиться в его мундир, в крахмальную сорочку, в ботинки. Фигуры у нас подходящие, только он телесами полнее меня. Приходится мне что-нибудь подвертывать на живот, чтобы мундир лучше обтягивал мой корпус. И вот в таком виде взглянул я первый раз в зеркало и удивился: чем я не капитан первого ранга? Даже страшно смотреть на самого себя. Хочется руку поднять к козырьку, чтобы честь отдать. Командир наказывает мне больше не величать его «ваше высокоблагородие», а называть Василием Николаевичем. И меня он называет по имени и отчеству — Захар Петрович.

Конечно, мне очень трудно соответствовать своему барину в обращении на благородный манер. Но так случилось, что я уже заранее забил себе голову этой мудреной для нас, сиволапых, штукой, всякой всячиной насчет господского форса. Раз смотрю — рядом с койкой на подоконнике лежит книга. На переплете, вижу, крупными золотыми буквами наискось заглавие: «Хороший тон». А книги — моя страсть. Набросился я и на эту. Читаю. Оказывается, это правила поведения мужчин и



женщин в благородном обществе. Затейная книга! Из нее-то я и узнал, как себя держать на званых обедах, на именинах, на свадьбе, на крестинах, на похоронах и за домашним столом. В ней сказано про все случаи жизни. Вот я и зубрил, как и когда одеваться, каким манером нравиться другим.

Много сказано в книге насчет порядка во время обеда. Нельзя, например, слизывать с ножа или резать рыбу ножом, а только вилкой. Если не будешь знать, как и что едят, то ты — невоспитанный человек, а такому нет места среди господ. Подается, скажем, бифштекс. Наш брат, понятно, сразу располосует его ножом на куски и давай скорей уминать. Нет, благовоспитанный гость должен соблюдать церемонию: отрезать только по кусочку и в рот; съел, тогда еще отрежь. Когда я служил вестовым у графа «Пять холодных сосисок», его повар Прохор Савельич часто угощал меня своими соусами. Иные мне так нравились, что я, бывало, хлебом вытру тарелку досуха. Вот был невежа! А по книге «Хороший тон» это считается таким же безобразием, как если бы я предстал среди гостей в одной исподней рубашонке и кальсонах.

То же самое, избави бог, руками пихать в рот пищу. Благородные люди будут смотреть на тебя, как на дикаря. И только спарже, артишокам и мелкой дичи сделано почему-то снисхождение — их можно брать и руками, без вилки.

По книге выходит так. Какой бы ни был ученый, хоть профессор, а раз ты нарушил обычай за столом, то тебя все равно сочтут за невежу и тогда недостоин ты бывать среди избранных. Благородная публика тебя больше не потерпит и никуда не пригласят. Не подумай, что это пустяк. Обречь себя на изгнание из хороших домов — это господам все равно, что умереть заживо.

Раньше я думал, что хорошие манеры нам не по плечу. Господа очень гордятся этими знаниями хорошего тона. А на самом деле выходит, что это совсем не трудно — читай книгу и запоминай. И стоит-то книга всего-навсего два с полтиной. Дешевая наука. Каждый дурак ее поймет и за образованного сойдет.

Только теперь я догадался, какую штуку сыграл со мной командир. Это он нарочно подсунул мне книгу «Хороший тон». По его приказу я по ночам наряжаюсь

в офицерский мундир. Этого показалось ему мало. Хочет он, чтобы я как равный с ним и по-благородному вел себя за столом. Тогда, ряженый, я буду еще больше походить на настоящего капитана первого ранга. Ведь вот что придумал, какую комедию завел! А наше дело маленькое: не прекословь барину.

И вот мы сидим за столом, как будто оба равный чин имеем, водку пьем, закусываем и разговариваем между собою.

Иногда он приказывает привести к нему женщину. В нашем городе сколько угодно таких заведений, откуда любую женщину можно взять,— только денег не жалей. Разные бывают у нас: блондинки, брюнетки, рыжие. Каждую такую особу он угощает вином и закусками и ухаживает за нею, словно за настоящей барыней. Она смеется, всячески его раззадоривает. А он никак не поддается на соблазны и не позволяет себе не только дотронуться до нее, но и лишнего слова сказать ей. И она, видя такое обращение с нею, в свою очередь начинает изображать собою невинную девушку. Я смотрю на них и удивляюсь: за что, спрашивается, я расплачиваюсь за нее его же деньгами? Десять целковых! Две таких суммы — и в деревне можно бы купить корову. И каждый раз такая игра продолжается до полуночи и дольше, а потом Василий Николаевич начинает извиняться перед женщиной, что у него якобы спешная работа. На прощание он обязательно поцелует у нее руку, как это полагается у господ. Я думаю, что все это он делает в отместку своей жене. По-видимому, она сильно задела его за живое, и никак он не может успокоиться. А мне со стороны смешно и обидно смотреть на всю эту канитель. Другое бы дело было, если бы он при своей жене стал ухаживать за продажной девицей. Получилось бы, что он ставит ее наравне с барыней, и это оскорбило бы ее до слез. Но если она ничего этого не видит и ничего об этом не знает, то зачем же выкидывать такие номера? Только для обмана самого себя. Вот что значит господа — они и мстят как-то по-особому, не так, как крестьяне. Словом, всегда так барин чудит. А послушать его — умный человек!

Когда мы сидим с ним вдвоем, то больше всего говорим о русском флоте. Но к этому переходим не сразу. Начинается с того, что Лезвин берет чайный стакан водки, чокается со мною и говорит:



— Ваше здоровье, милейший Захар Петрович!

Я чуть-чуть склоняю голову и отвечаю ему:

— Будьте уверены, добрейший Василий Николаевич!

Он опрокидывает в себя полный стакан водки. И я для аппетита хвачу немного. Закусываем и говорим о разных пустяках. В окна барабанит косой дождь или снежная крупа. Мы оба недовольны затянувшейся осенью. И тут же с радостью вспоминаем, как плавали под тропиками. Чудесное было время! Оно кажется нам солнечной сказкой. Эх, эти всплески волн и голубые просторы морей! Никогда не забыть о них. Лезвин еще выпивает стакан водки. Потом он жалуется, что в нашем городе нет приличных портных, поэтому заказы на хорошую одежду приходится отдавать в Петербург. Так мы с командиром некоторое время и ходим вокруг да около. И только после трех стаканов он принимается за флот. Он сразу начинает яриться и уже объясняется без дураков.

— Да, Захар Петрович, с такими порядками не создашь боевой морской силы. Мы жалкие подражатели Запада. А своего у нас ничего нет. В верхах, за исключением немногих, сидят одни бумажные волокитчики, лентяи и невежды. Они умеют только грабить казну. На это у них хватает и старания и хитрости. В случае войны нам любая нация наломает ребра.

Я поддакиваю командиру и стараюсь говорить поихнему:

— Правильно, Василий Николаевич, изволите выражаться! Куда наш флот годен? Только для смотров. И воры, большие и малые, присосались к нему, как черви к капусте. Возьмем для примера нашего экипажного казначея, титулярного советника Спирина. Жалованья он получает около ста рублей. А построил себе три каменных дома! Откуда взял такие капиталы? Флот ограбил. А сколько у нас таких разных Спириных развелось? И все они доят наш флот, как гуляющую корову. А за какие заслуги произвели Вислоухова в контр-адмиралы? Командиром современного крейсера и то не мог бы быть. А ему доверили командование целой эскадрой.

При упоминании о Вислоухове мой барин даже дернулся, а потом выпил стакан водки, закусил ветчиной и сердито заговорил:

— Двоюродная сестра у него служит при дворе

фрейлиной. А она его любовница. У нас всегда так бывает: кто-нибудь и кого-нибудь тянет за шиворот в высокие чины. Способности человека не принимаются в расчет. Но самое зло, любезный Захар Петрович, ютится под золотым шпицем — в Главном морском адмиралтействе. Нужно весь этот современный Вавилон разрушить до основания, а все начальство разогнать за пять тысяч верст. Разогнать так, чтобы их духом не пахло. После этого уже взяться за тех, кто пониже, вроде чиновника Спирина и контр-адмирала Вислоухова. Этих сослать за тысячу верст. Вот тогда только можно приняться за создание настоящего боевого флота...

Я видел одиночество барина, и мне было жалко его. Сколько он учился, сколько мыслей у него в голове! А нет никакой пользы от этого. Угасал этот человек на моих глазах. Никакие науки его уже не интересовали. Он даже перестал прикасаться к своим книгам. Я за него пользуюсь ими. А он читает только отрывной календарь, да и то лишь когда ложится в постель.

Однажды мне особенно бросилось в глаза, насколько постарел и поблек Лезвин в сравнении с тем, как впервые я встретил его. Денег он расходует уйму, а удовольствия никакого не имеет. Впустую прожигает остатки своей жизни и обманывает разными причудами самого себя. А ведь в деревне только одним его месячным жалованьем можно было бы поднять любое захудалое хозяйство. Вспомнилась мне родная семья, где каждая копейка на учете, и я задумался. Лезвин заметил это и спросил:

— Вы что, Захар Петрович, голову повесили?

— Размышляю, Василий Николаевич!

— О чем?

— Очень хитро жизнь построена.

— Чем же хитро?

— А вот взять для примера деревню. Крестьянин ухаживает за своей коровой, заботится о ней, а добытое от нее масло он не кушает. За него покушают это в городе те, что совсем коров не имеют. А он будет копить деньги, чтобы купить железные шины на колеса. Или, скажем, вырастит он свинью, а достанутся ему от нее одни потроха. Свинина же вся пойдет в город. Видите ли, ему седелку нужно купить, топор, косу, не считая того, что с него еще подати требуют. Так же и жена его поступает. Разводит она кур, собирает от них яйца. Никто ей не запрещает накормить яйцами своих детей. Очень вкусная и полезная пища. Но этой крестьянке до зарезу необходимо выручить полтинник, чтобы платок на голову купить. Идет она в лес за ягодами. Иная земляничка, выросшая на солнечном припеке, так и рдеет — сама просится в рот. Но баба не съест эту ягодку, а обязательно положит ее в кувшин или в туес. И когда вернется домой, она и своих любимых детей не накормит ягодами. Она лучше снесет ягоды на железнодорожную станцию. Почему? Да потому, что на соль нет денег. А ведь эти яйца, масло, свинина, куры, ягоды и другие вкусные и полезные продукты не охраняются никакими часовыми. Пожалуйста — пусть крестьяне едят этого сколько угодно. Никто им не запрещает. Но будьте спокойны — они заполнят свои желудки квасом и картошкой, а что получше — приберегут для богатых. И добро было бы, если бы богатые, в свою очередь, снабжали их тем, что производится в городе: обувью, одеждой, косилками, плугами, молотилками. Но ведь этого ничего нет. Деревня почти обходится одними своими изделиями. Вот я и думаю, Василий Николаевич,— разве не хитро жизнь построена?

Мой барин нахмурился.

— Не стоит, Захар Петрович, рассуждать об этом. И без того тошно жить на свете.

Так вот я и провожу со своим барином каждую ночь. О чем только мы не разговариваем! Но больше всего нападаем на флотские порядки. Лезвин нет-нет да и хлопнет стакан водки. Под утро сделается черным, как чугун. Приказывает мне:

— Ну, пора кончать всю эту музыку.

Вижу, барин мой дозрел. Я разоблачаюсь и надеваю свою матросскую форму. И таким манером из меня опять получается вестовой. Я веду барина в спальню. Он валится на пружинистую кровать и говорит мне:

— Захар, раздень меня.

Однажды уложил я его в кровать, прикрыл одеялом, а он смотрит на меня помутившимися глазами и бормочет:

— Ты, деревенская язва, понимаешь, что говоришь?

— Я не знаю, что вы имеете в виду.

— Твои рассуждения. По-настоящему я давно бы должен отдать тебя под суд. Я чувствую, что в твоей голове назревают страшные мысли. Придет время, когда

ты начнешь офицеров и адмиралов выбрасывать за борт. И таких, как ты, много развелось во флоте.

Я насторожился, но улыбаюсь и отвечаю:

— Никаких особенных мыслей у меня в голове нет, Василий Николаевич. Думы мои только о деревне. Кончу службу — опять начну пахать землю. Где уж нашему брату чай пить. Нам бы хоть сахарку погрызть, и то слава богу.

— Да, да, сахарку погрызть,— повторяет Лезвин.— Тем более, что зубы у тебя крепкие, как и твоя голова. А потом потянет на какао с пирожным.— И уже дружески добавляет: — Но все равно я никому не дам тебя в обиду. Посмотреть бы, что из тебя получится. Пока, Захар, размышляй. Дай мне отрывной календарь.

На втором листке он обыкновенно засыпает.

Из манежа повалили матросы. Время моей гулянки истекало. Я распрощался с Псалтыревым и спешно зашагал в экипаж, чтобы не остаться «нетчиком».

## XVII

Псалтырев был арестован при странных обстоятельствах. Во всех экипажах среди офицеров и матросов много было разговоров вокруг этого события. Одни уверяли, что он отравил своего барина, чтобы ограбить его, другие отрицали это и выдвигали другое соображение,— он просто с ума сошел. Находились и такие, по мнению которых он будто хотел офицерским кортиком перерезать все экипажное начальство. Некоторые примешивали здесь политику. Словом, произошел какой-то загадочный случай, всколыхнувший моряков. Судьба друга меня очень беспокоила. Но толком я не знал, в чем дело, не знал до тех пор, пока он сам, освобожденный уже из-под ареста, не рассказал мне об этом, сидя у меня на койке.

— Вот, друг, какие дела в жизни бывают. Правильно говорится в народе: «От сумы да от тюрьмы не отказывайся». И я чуть за решетку не угодил. А вышло это так. Вечером, как и раньше это бывало, накрыл я стол, приготовил выпивку и закуски, а потом сам нарядился в мундир своего барина. Уселись мы на стулья друг против друга. У нас обоих на плечах красовались золотые эполеты, как будто мы только что вернулись с парада. Лезвин на этот раз был настроен мрачно, словно он предчувствовал что-то недоброе. Сначала мы выпивали и закусывали молча. Только когда чокались, то приветствовали друг друга хорошими словами. Потом кое-как разговорились. Я заметил, что в трезвом виде у него память слабеет,— иногда обрывает он свою речь на полуфразе. Но стоит только выпить ему стакана два водки, как сразу мозг у него проясняется. Я тогда с удовольствием слушаю его и набираюсь ума-разума. Я, конечно, тоже не молчу. И в этот вечер я рассказал ему, как мне удалось побывать на всеобщей исповеди у Иоанна Кронштадтского и что в это время пришлось видеть и слышать. Лезвин угрюмо промолвил:

— Я встречался с ним несколько раз. Неврастеник! Больше того, сумасшедший поп! Высказывает какой-то бред. А людям больше всего нравится в религии то, что необычно и непонятно. Вот почему всякое его нелепое бормотание они принимают за пророчество. В том его успех.

И добавил как бы про себя:

— Россия — это корабль, плавающий в непроглядном тумане.

Его взгляд пришелся мне по душе. Я решил рассказать ему и о другом случае. В этом, пожалуй, была моя ошибка.

— Забыл сказать вам, Василий Николаевич, что имею самую интересную последнюю новость.

— Какую?

— Недавно в городе открылось новое заведение под названием «Грезы моряка». Очень красивое название. Это заведение должно обслуживать главным образом морских офицеров. Матросу попасть туда трудно. Но все-таки кое-кто из команды побывал там. Это те, кто побогаче, вроде содержателей казенного имущества, или те, что от родных получают большие деньги. Для этого им пришлось наряжаться в штатское платье.

Лезвин спросил:

— Откуда же они могли достать штатское платье?

— Мало ли в городе знакомых. Да и торговцы готовым платьем не откажут дать под залог костюм напрокат. За деньги все можно достать. Эти матросы с восторгом отзывались о заведении «Грезы моряка». Рос-

копь, говорят, там необыкновенная. В коридорах и номерах разостланы ковры. В главном зале, где танцуют, полы паркетные, люстры горят, как в соборе, музыканты играют на скрипках и рояле. Девиц подобрали самых красивых: и высоких, и маленьких, и полных, и худеньких. И все они нарядные, как настоящие мамзели. Любую выбирай — кому какая нравится. Но зато и обдирают посетителей. Переночевать там стоит пятнадцать рублей. Да пятерка уйдет на угощение какой-нибудь особе. Значит, за одну ночь вылетят из кармана две красненьких...

Лезвин перебил меня:

— А для чего это вы, Захар Петрович, сообщаете мне об этом да еще с такими подробностями?

— Подробности, Василий Николаевич, это между прочим. Но я вам главного не сказал. Когда открывали «Грезы моряка», то сначала отслужили молебен с водосвятием. Был приглашен хор певчих. Попа нашли редкой красоты: борода у него ласковая, глаза кроткие, голос небольшой, но очень нежный. Словом, с виду священник похож на святого угодника, что на иконах рисуют. Возгласы он подавал трогательные до слез. А хор так складно пел, что, говорят, душа радовалась. Хозяин с хозяйкой, их маленькие дети, кассирша, все девицы, вышибалы усердно молились богу. Просили, значит, милосердного бога, чтобы он посылал им побольше гостей в это заведение. Потом этот смиренный батюшка обходил все номера, где девицы живут, и каждую кровать благословлял крестом и кропил святой водой. И что же вы думаете, Василий Николаевич? Бог внял их мольбам, и теперь отбоя нет от посетителей.

Лезвин даже сплюнул:

— Тьфу, какая гадость!

Потом спросил меня:

— А откуда, Захар Петрович, вы все знаете об этом?

— Да как же мне не знать, Василий Николаевич? Позавчера у нас была мамзель. Вы изволили величать ее Елизаветой Владимировной. Ведь она из этого заведения. Очень верующая и богомольная особа, точно монашка. Вот от нее-то я и узнал все. Да и в экипажах всем матросам это известно. Теперь у них разговору и смеху хватит на полгода: молебен с водосвятием в таком заведении! Ведь это событие, Василий Николаевич!



Лезвин покачал головою и прохрипел:

— Так вот как мы охраняем чистоту религии.

— Кстати сказать, Василий Николаевич, наш граф «Пять холодных сосисок», что подвел вас, иногда тоже бывает в этом заведении. Но только посидит в зале, а в номера не заходит к девицам.

При этих словах Лезвин ударил кулаком по столу и заорал, как безумный:

— Ну и черт с ним, с этим графом!

Он выпил полный стакан водки и не стал даже закусывать.

Времени было около одиннадцати часов. Барин порядочно захмелел. Глаза у него стали красные, лицо помрачнело. Он особенно разошелся насчет морских воротил и говорил так шумливо, словно его слушали сотни людей:

— Когда меня произвели в офицеры, я ревностно взялся за службу. Для меня ясно было, что такая великая страна, как Россия, не может обойтись без могучего флота. Обширные берега ее омываются водами Балтики, Черного моря, Белого моря, Великого океана, Ледовитого океана. Мне представлялось, как наши корабли бороздят морские просторы под всеми широтами. Все государства боязливо посматривают на наш андреевский флаг. И в этом сильном флоте я играю не последнюю роль. Вот почему я так горел нашим флотом. Сколько мною написано докладных записок в Главный морской штаб! Мне хотелось улучшить санитарные условия матросов. Зря старался. Кто у нас больше всего унижает команду? Иностранцы, вроде графа «Пять холодных сосисок». На каждых пять русских офицеров приходится один иностранец. И об этом я писал — требовал поднять достоинство матроса и в то же время ввести самую строгую дисциплину на кораблях. Никакого результата. Я добивался открытия генерального штаба. И что же? Бей в каменную стену головой — не прошибешь. Я доказывал, что Морской кадетский корпус должен быть доступным для всех сословий. Нужно отбирать в него самых талантливых юношей. Только тогда у нас будут настоящие офицеры. На этот мой доклад высшее начальство даже пригрозило мне, чтобы я поменьше высказывался насчет реформ. Словом, все мои доклады утонули в омуте бюрократических бумаг, как тонет якорь в море. Но якорь можно поднять, а мои записки

навсегда утонули. И что мы теперь видим? Флота у нас нет. Есть большое количество железных гробов для будущей войны.

Такое заключение Лезвина меня обескуражило, и я спросил:

— Почему же это так получается, Василий Николаевич?

Мой вопрос словно пришпорил Лезвина.

— Отчасти я уже указал вам на причины, а дальше, Захар Петрович, присмотритесь сами, что за люди возглавляют наш флот. Вам все станет понятным. Недавно одного лейтенанта произвели в капитаны второго ранга. А все психиатры уже десять лет признают его сумасшедшим. Он неизлечимо больной. Правда, помешательство у него тихое, для людей неопасное. Но все равно — ни на один корабль его не берут. Иногда он приходит в порт, вытаскивает из кармана белых мышей и показывает их рабочим. Он всех уверяет, что это его маленькие дети. Конечно, в глазах рабочих это не офицер, а какое-то посмешище. И этому человеку каждый месяц двадцатого числа казна аккуратно посылает жалованье. Я нарочно взял душевнобольного человека. Мне хочется показать вам, как недалеко ушли от него и так называемые нормальные люди. Возьмем, например, адмирала Бранта. Он целые дни и вечера проводит за вышивкой. Эта работа увлекает его, доставляет ему высшее удовольствие. Гладью и крестиками он вышивает такие замысловатые узоры, что любая женщина позавидует ему. На столах у него скатерти собственного рукоделья. Стоит посмотреть его салфетки на этажерках, дорожку на рояле, украшение вокруг портретов. Какое великолепное сочетание красок, какое тонкое искусство! Но разве не смешно видеть адмирала с черными орлами на плечах за вышивкой?

Лезвин искривил губы в злую усмешку.

Я вставил свое мнение:

— Значит, человек находится не на своем месте! Ему ведать не боевой рубкой, а модной белошвейной мастерской. Из него, может быть, вышел бы незаменимый заведующий.

— Вот именно! — подхватил Лезвин с таким воодушевлением, словно чему-то обрадовался.— А во флоте он лишь даром получает жалованье. Другой адмирал — Веснин — содержит собственных лошадей и отлично наезжает их. Любит это дело по-настоящему. Место ему — на ипподроме. Вероятно, он стал бы выдающимся наездником. Но на флоте он никуда не годный моряк. При этом еще он не прочь руки погреть около казенного сундука. Адмирал Гильд — неплохой парусник, благородный человек. Но современных кораблей он не знает. Этот человек помешался на православном богослужении. Дома у него перед иконами горят неугасимые лампады. Он сам заправляет их, следит за ними днем и ночью. Плавать с ним — одно наказание. Не только команду, но и офицеров он мучает церковными обрядностями и невероятно длинными богослужениями. Кончается обедня, он обязательно еще закажет попу молебен с коленопреклонением. Сам стоит на коленях, и все его подчиненные так же должны поступать. Но на их боевую подготовку он мало обращает внимания. Да он и не понимает ничего в этом деле. Все на бога надеется.

Я сказал:

— В народе говорят: «На бога надейся, а сам не плошай». Вероятно, Василий Николаевич, такой флагманский корабль похож на плавучий монастырь, где роль игумена исполняет адмирал.

Лезвин злорадно усмехнулся:

— Верно! Игумен в мундире и с орлами на плечах. Но есть еще типы похлеще его! Капитан первого ранга Балкин, будущий адмирал,— человек богатырского телосложения, силач и кутила. Сам красный, борода рыжая. Любитель подебоширить. Но главная его страсть — это пожары. Его знают все пожарные. Он ведрами покупает для них водку. А они за это, если где вспыхнет пожар, должны первым делом звонить ему по телефону. Тогда он мчится на рысаке, стоя на пролетке, и держит перед собою, словно икону, огромнейший топор. Большая рыжая борода развевается от ветра во все стороны. В этот момент у него вид древнего витязя. На пожаре он работает впереди пожарных и один выворачивает из здания целые бревна. Рыжий, он сам похож на пламя. Для него огонь — своя стихия, как для рыбы вода. Из него мог бы выйти замечательный брандмайор. Но какое, спрашивается, это имеет отношение к флоту?

— Очень маленькое, Василий Николаевич,— с досадой отвечаю я, словно дело касалось не флота, а моего родного дома.

После того как барин разошелся с женою, я впервые

вижу его таким возбужденным. У него нет ни детей, ни друзей. Он разочаровался в жизни, ни во что не верит. Судьба ограбила его, унизила, превратила в ничто. Только я один дружу с ним, только передо мною он с горечью изливает то, что накипело у него на душе:

— Возьмем адмирала Нелипина. Образованный человек, хорошо знает европейские языки. Любимым занятием у него — не морское дело, а парикмахерское ремесло. Он бреет и стрижет всех своих знакомых. Никто не может сделать такую идеальную прическу, как он. Это не просто парикмахер, а лучший мастер, своего рода художник. Куда бы он ни поехал, при нем всегда находится специальный чемодан с набором парикмахерских принадлежностей: десятка два кисточек, столько же больших и маленьких ножниц, до полсотни бритв лучших заграничных фирм, потом — флаконы с одеколоном, коробочки с пудрой, пакеты с ватой, баночки с вазелином. Он может и компресс наложить и массаж сделать не хуже любого парикмахера. Многим офицерам предлагает сделать прическу по своему вкусу, но не каждый соглашается воспользоваться его услугами. Тогда адмирал начинает ухаживать за таким, как за другом, будет его накачивать водкой и вином и сам пить, но обязательно своего добьется — пострижет и побреет офицера. Что вы скажете на это, Захар Петрович?

Лезвин смотрит на меня выкатившимися глазами и ждет ответа.

Я отвечаю шуткой:

— Если бы в морском сражении можно было действовать не орудиями и минами, а только бритвой и ножницами — ого! Что такой адмирал мог бы натворить!

Барин ядовито подхватывает:

— Да, при таких условиях он стал бы первым флотоводцем в мире.

И вдруг громко расхохотался каким-то болезненным смехом.

— Выпьем за здоровье адмирала-парикмахера!

Он с жадностью осушил стакан водки, заставил и меня полстакана выпить.

— Послушайте дальше, Захар Петрович. У великого князя Алексея Александровича, нашего шефа, вернее, главного растратчика русского флота, служит адъютантом капитан второго ранга Виподельский. Флот ему нужен не больше, как почетное и доходное место.



Зато его интересует другое. Всю жизнь он собирает похабные картины, фотографии, статуэтки и разные вещицы вплоть до трубок. Не раз он ездил за ними за границу и не жалеет для этого никаких денег. Во всей Европе ни в одном публичном доме не найдешь подобной мерзости, какие имеются у него на квартире. Похабщиной он украсил все стены прихожей, столовой, всех комнат и даже уборной...

Я спросил Лезвина:

— Как же это так, Василий Николаевич? У него, наверно, есть жена, дети, родственники, бывают знакомые. Неужели ему не стыдно?

— У таких людей обезьяний стыд. Но не в этом дело. Хозяин этой ужасной квартиры — старый холостяк и знать не хочет ни дам, ни девиц. Живет он монахом и порицает тех мужчин, которые ухаживают за женщинами. Пусть медицина разберется в душе этого человека. А вот вам еще один экземпляр: свиты его величества адмирал Толстопятов. Добродушнейший толстяк. Ему безгранично нравится поварское искусство. Дома он часто снимает с себя сюртук, подвязывает фартук, засучивает рукава и начинает стряпать. Сам Пушкин с меньшим вдохновением писал свои стихи, чем Толстопятов приготовляет пищу. Изготовленные им блюда должны бы кушать только боги, а не люди. Он бывает невероятно счастлив, если знакомые приглашают его состряпать обед или ужин. Некоторые офицеры даже делают себе на этом карьеру. Но из пушек и снарядов никакого вкусного блюда не создашь. Поэтому и отношение этого адмирала к боевым кораблям очень прохладное. Да, Захар Петрович, всех чудаков не перечислить. Нет у нас таких флотоводцев, как Сенявин, Корнилов, Ушаков, Нахимов. Только адмирал Макаров держится на высоте. Но один, как говорится, в поле не воин...

— А Виктор Григорьевич Железнов? — спросил я и жадно впился глазами в барина.

— Этот адмирал тоже на месте, хотя и порядочный карьерист и хитрец. Но ведь таких очень мало. Наберется еще десять человек. А остальные высшие чины служат на флоте по какому-то недоразумению. Призвание у них совсем другое. Многие молодые офицеры честно хотели послужить своей родине. Но чему они могли научиться у этих господ? Проходило время. Молодежь разочаровывалась в своих мечтах. Их также охватывала

зараза разложения. И мне этого не удалось избежать. Я тоже стал каким-то чудаком.

Лезвин замолчал, нахмурился, но от волнения у него продолжали дергаться губы.

Мне было обидно за русский флот, и я сказал:

— Выходит, что морские воротилы служат во флоте только ради жалованья и чинов. И больше ничего. А боевой подготовкой кораблей и личного состава они так же интересуются, как быки молебном.

— Это сказано очень сильно и верно.

У барина лицо набухло, на висках вздулись жилы, брови надвинулись на глаза. Он потер лоб и задумался. Какая задача решалась в его голове? Как бы в ответ мне он заговорил хрипло, с горечью:

— Вот что, Захар Петрович, скажу я вам. Я уже написал на высочайшее имя докладную записку. Завтра же ее пошлю. Это мое последнее обращение. Все наши флотские недочеты, всю мерзость нашей морской службы я изложил на бумаге в самой резкой форме. И добавляю — это не мое только мнение, но и других передовых офицеров. Пусть почитают. А в конце ставлю вопрос: намерено ли правительство оздоровить наш флот? Если нет, то пусть выгонят меня вон со службы или посадят за тюремную решетку. Я соглашусь скорее сдохнуть под забором, как бездомная собака, но не хочу участвовать в позоре будущей войны...

Я встревожился, слушая его, и с болью смотрел на этого благородного, но надломленного человека. Я хотел сказать ему: не надо напрасно рисковать собою. Но он вдруг сжал кулаки и, потрясая ими над головою, закричал грозно, как обвинитель:

— Что за люди стоят у штурвала всероссийского корабля? Куда, в какую пропасть они направляют нашу родину? Ведь это...

Дальше у него как будто не хватило слов — он молча уставился на меня безумными глазами. Мне даже страшно стало и от его выкрика и от его взгляда. А барин, задыхаясь, берет дрожащей рукой стакан водки, чокается со мною и говорит:

— Ну, ладно, Захар Петрович, под столом увидимся.

И нужно же было тут греху случиться. Стакан застучал о его зубы, водка расплескалась. Послышался звон разбитого стекла. Я взглянул на барина: лицо его



посинело, глаза стали стеклянными, на губах появилась пена. Он ухватился за свою грудь и зашептал:

— Сердце... сердце...

Никогда я так не терялся, как в этот вечер. Недолго пришлось мне размышлять. Схватил я капитанскую фуражку и, в чем был одет, пустился бегом в свой экипаж. Матросы, с какими я встречался, отдавали мне честь. Что, думаю, смеются, что ли, они надо мною? Все-таки немного выпивши я был, и с испугу мыслишки путались. Вбегаю прямо в канцелярию и кричу во все горло:

— Доктора! Скорее доктора!

На мой крик вылетает из отдельной комнаты дежурный офицер, какой-то лейтенант, при сабле, с эполетами на плечах. Спросонья он таращит глаза на меня и, видимо, ничего не понимает. Правую руку он держит под козырек и хочет мне рапортовать. А я, как ошалелый, ору:

— Ваше благородие, барин мой умирает. Доктора скорее давайте.

В этот момент он, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Лицо у него помертвело. Он ухватился за саблю, попятился от меня и забормотал:

— Позвольте, вы кто такой?

Я объясняю ему, что служу вестовым у его высокоблагородия капитана первого ранга Лезвина. Дежурный офицер немного опомнился, показывает на мой наряд и спрашивает:

— А это откуда у тебя?

Только после этого я заметил, что на мне офицерский мундир. Вот почему матросы отдавали мне честь! Еще больше охватило меня волнение. Я рассказываю дежурному офицеру, как было дело,— не верит. Сейчас же меня арестовали, приставили ко мне двух часовых с винтовками. А я все на своем настаиваю, что меня, мол, хоть на кол посадите, но только для барина давайте скорее доктора. Уж очень мне было жалко Василия Николаевича. Все же я добился своего: послали доктора к нему на квартиру. Но барина нашли на полу уже мертвым. Дежурный офицер раскричался на меня:

— Разбойник! Ты, наверно, задушил своего барина? Признавайся сейчас же! Все равно тебя расстреляют.

И бил меня кулаком в подбородок. Но мне почему-то не было больно. Я стиснул зубы, чтобы язык не при-

кусить. Только голова при каждом ударе откидывалась назад.

По телефону был вызван экипажный командир, капитан первого ранга Лукин. Через несколько минут он явился в канцелярию. На его седобородом лице было такое выражение, как будто он решил сейчас же меня уничтожить. Он протянул в мою сторону указательный палец и спросил:

— Этот?

Дежурный офицер ответил ему официально:

— Так точно, господин капитан первого ранга.

Экипажный командир стал угрожать мне виселицей. Его особенно возмущало, что я наряжен в офицерский мундир. Я пробовал оправдываться, но он приказывал мне молчать. Я перестал отвечать на вопросы и думал лишь об одном: что будет с моей Валей и с моим сыном, если эти угрозы оправдаются? С меня стащили мундир и брюки. В одном нижнем белье я был отправлен в карцер. Я улегся на голые нары и после пережитых волнений почувствовал невероятную усталость. Бесполезно было думать о дальнейшем: все равно мою участь решит начальство. Через какую-нибудь минуту сон нежно обнял меня, как родная мать, а потом казалось, что я, покачиваясь, плыву на облаках.

На второй день моего барина отвезли в морской госпиталь и там его вскрыли: выяснилось, что он скончался от паралича сердца. Хотя я и не был виноват в его смерти, но меня продолжали держать под арестом. Никто не верил, что я надевал мундир по приказанию Лезвина. Сначала считали меня сумасшедшим, но доктора установили, что я в здравом уме. Началось следствие. Допрашивал меня один лейтенант, человек строгий и придирчивый. По его мнению, выходило так, что я обокрал своего барина, нарочно нарядился в его мундир, чтобы удрать с военной службы, но в последний момент испугался полиции и прибежал в канцелярию. Он хотел запугать меня. Но ведь и моя голова кое-что соображает. Не хотелось мне позорить покойника, а пришлось признаться следователю:

— У меня, ваше благородие, свидетели есть. Они могут подтвердить, что я правду говорю.

— Это какие же у тебя свидетели, откуда? — спрашивает следователь.

Я отвечаю ему, глядя в глаза:



— Феня из «Золотого якоря», Нина из «Попутного ветра», Лиза из нового заведения «Грезы моряка».

Словом, я перечислил ему почти все веселые дома. Следователь от моих слов даже покраснел и не стал ничего записывать. Сейчас же он побежал советоваться с экипажным командиром. Только после этого меня освободили из-под ареста и строго-настрого приказали мне, чтобы я насчет своего барина держал язык на привязи. Иначе я попаду в тюрьму. А зачем я буду болтать? Ведь это я только тебе, как другу, рассказываю. Жаль барина! Хороший был человек для нашего брата. Как-то мне теперь удастся устроиться?

## XVIII

Крейсер, назначенный в длительное плавание, уже стоял на большом рейде, грозно возвышаясь над водой железной громадой. Под безоблачным небом, в лучах весеннего солнца, взбивая пену на гребнях волн, резвился на просторе западный ветер. Судно, повернувшись ему навстречу острым форштевнем, скрежетало якорными канатами в клюзах, словно нетерпеливо порывалось скорее ринуться вперед, в загадочную даль моря. Андреевский флаг на корме, гюйс на носу и длинная, с двумя косицами, лента вымпела на грот-мачте, после того как целую зиму пролежали в глухом подшкиперском помещении, ожили и весело трепетали, обласканные сиянием голубого дня.

На этот раз, несмотря на праздник, никого из команды гулять на берег не отпустили. К борту то и дело приставали баркасы. С них перегружали на судно последние припасы, необходимые в плавании. На верхней палубе раздавались свистки и выкрики капралов, приводя команду в движение.

Неожиданно ко мне на крейсер явился Захар Псалтырев. Он был в новенькой фланельке, в аккуратно выглаженных черных брюках, в блестящих, как отшлифованный черный мрамор, ботинках. На каждом его плече красовалось по два желтых кондрика, означающих звание строевого квартирмейстера. Мужественное загорелое лицо его широко улыбалось, сверкая радостной белизной зубов. Но меня больше всего поразило, что он

дослужился до младшего унтер-офицера. Заметив мое удивление, Захар воскликнул:

— Что ты смотришь на меня, как поп на еретика? Здорово, браток!

— Мое тебе почтение, друг! — крепко пожимая его сильную лапу, возбужденно ответил я.— Откуда, какими ветрами занесло тебя на наш корабль?

— Через товарищей узнал, что вы сегодня снимаетесь с якоря. Я нанял ялик и прикатил проведать друга. Ну, как дышится в море?

— На полную грудь.

Мы обменялись еще несколькими фразами и спустились в мои владения — в ахтерлюк. Я раскупорил банку с консервами, достал хлеба. В гречневой крупе у меня была спрятана бутылка с лимонной водкой. Я сейчас же извлек ее оттуда. Увидев бутылку, Захар заявил:

— После смерти командира с этим злом я покончил. Мешает это держать правильный курс в жизни. И только ради такой радостной встречи сделаю исключение: пропущу два глоточка.

Выпивая и закусывая, мы закидывали друг друга вопросами. Хотелось узнать о судьбе других товарищей. Кратко рассказал он и о своей семье. Дома у него все было благополучно. По-прежнему с юношеским восторгом он отзывался о своей жене и сыне,— она опять работает машинисткой, а малыш растет.

— Но как ты, Захар, из вестового превратился в строевого квартирмейстера? Вот чудо!

— Да, это чудо,— засмеялся Псалтырев.— Невозможное стало возможным. Случайно я поймал за хвост свою давнюю мечту и оседлал ее. И знаешь, кто мне помог в этом деле? Ирландский сеттер.

— Брось морочить мне голову. Я серьезно спрашиваю.

— А я тебе еще более серьезно отвечаю, мне помог ирландский сеттер.

Среди ящиков и бочек ахтерлюка только я один слушал баритональный голос Псалтырева, повествующего о новых ступенях своей жизни.

— Вздумал я однажды прогуляться по городу, подышать свежим воздухом. Хожу, присматриваюсь к народу. Между штатскими людьми и солдатами мелькают синие воротники матросов. У меня возникает вопрос: куда они все идут, о чем думают? А ведь в каждой голове какие-то свои мысли, свои планы, свои желания. Вот бы все эти мысли и желания узнать и на бумаге изложить. Получилась бы книга, какой еще не было на всем свете. Прохожу мимо парка, куда нашему брату, матросу, вход воспрещен. Рядом со мною шагает по тротуару пожилая женщина с четырехлетним мальчиком. Она, видать,— няня, а он — господский сынок. Очень статный ребенок. И так ему подходит морская форма, что я залюбовался им. И вот у самого входа в парк, откуда ни возьмись, появляется ирландский сеттер — громадный, огненной окраски, уши длинные, хвост опущен. Первое, что мне показалось подозрительным,— это слюнявая пасть и мутные глаза. У меня сразу же мелькнула мысль: бешеный пес. И действительно, оказалось так. Как известно, собаки этой породы редко бывают злые. К людям они относятся мирно, даже ласково. Больше всего интересует их охота на птицу. А этот пес ни с того ни с сего вдруг набросился на матроса и схватил его за ногу. Э, думаю, опасность угрожает и другим людям, надо действовать. Я моментально выломал из ограды большой кусок штакетника. Хорошо, что я успел это сделать вовремя. Пес от матроса кинулся к няне. Но в этот момент я находился рядом с ней. Налет бешеного зверя так перепугал ее, что она вскрикнула, замахала руками и беспомощно опустилась на тротуар. Ребенок прижался к ней и заорал истошным голосом. Я преградил ирландцу дорогу. Он хотел меня цапнуть, но я, изловчившись, так удачно ударил его по передним ногам, что он полетел кубарем. Должно быть, я переломал ему обе ноги,— он не мог больше подняться. На всякий случай я нанес ему несколько ударов и по голове. Он перестал двигаться и захрипел перед смертью. Я оставил его и подошел к няне. Бледная и дрожащая, она хотела что-то сказать и не могла. Мальчик продолжал надрываться от плача. Я поднял няню, и только после этого она заговорила:

— Ноги мои не идут. Матросик, проводи меня домой. Барин мой заплатит тебе за это.

Одной рукой я подхватил ребенка, а другой помогал няне. Не прошли мы и нескольких шагов, как подвернулся извозчик. Уселись все трое на повозку, а спустя минут десять мы уже были в богатой квартире.

И началось тут что-то несусветное. Мальчик к этому времени начал было успокаиваться и только всхлипывал. Но барыня, женщина лет тридцати, смуглая, как цыганка, взглянула на него, а потом на испуганную няню и остолбенела.

— Что случилось? — упавшим голосом спросила она.

Я только и успел сказать:

— Бешеная собака...

Дальше она уже ничего не слушала. Завопила, запричитала, что теперь ее Славчик может погибнуть. А он, глядя на мать, тоже разревелся. Слезы застилают ей глаза, и не видит она, что ее сын невредим. То она в отчаянии за голову хватается, то начинает целовать ребенка. Голубой капот у нее распахнулся, видна белая, как снег, шелковая сорочка, полные груди вываливаются наружу. Она не замечает этого. Я все порываюсь сказать ей, что бешеная собака не успела даже дотронуться до ее сына. Все мои слова проходят мимо нее. И уйти мне не позволяет. Вдруг она спохватилась и давай названивать по телефону:

— Витя, приезжай немедленно... Бешеная собака... Ребенок искусан... Ужас... Голова кругом идет...

Потом начинает по телефону доктора вызывать.

Опять выкрики, вопль.

Через несколько минут прибыл капитан второго ранга. Как тут же выяснилось, это и был Витя, ее муж; человек высокий, представительный. Я вытянулся, руки держу по швам и, как полагается на военной службе, пожираю его породистое лицо глазами. Белесые густые усы у него подстрижены коротко и ровно, как щетина на зубочистке. Он быстро окидывает всех нас внимательным взглядом и спокойно спрашивает:

— Какая тут у вас трагедия произошла?

Она с воплями бросается к нему:

— Почему доктор так долго не едет?.. Боже мой!.. Ведь Славчик может с ума сойти...

Он мягко отстраняет ее и вежливо, но в то же время твердо говорит:

— Перестань, Серафима, волноваться. Сейчас разберемся.

Его слова так подействовали на барыню, как будто ее разбудили от кошмарного сна, и она сразу образумилась.



Барин берет своего сына на руки, наскоро оглядывает его и определяет — ничего страшного не произошло. Мальчик при отце моментально замолк. Барин бросает жене вроде выговора:

— Всегда ты, Серафима, поддаешься панике раньше времени. Оказывается, напрасно подняла тревогу.

Он обратился с расспросами ко мне. Я подробно объяснил ему, как все произошло. Няня подтвердила мои слова. Он выслушал и сказал:

— Ну, любезный, спасибо тебе. Я не знаю, как и отблагодарить тебя.

И дает мне две двадцатипятирублевых бумажки.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие. Но только денег мне не надо.

Офицер удивленно приподнял желтоватые брови.

— Как? От денег отказываешься? Может быть, у тебя родители богатые?

Я на момент растерялся. Очень был удобный случай испытать свое счастье, но в то же время соображаю: а вдруг он рассердится и прогонит меня? Кровь обожгла мое лицо. Я заговорил дрожащим голосом:

— Никак нет, ваше высокоблагородие, родители мои бедные. Но все равно — деньги меня мало интересуют. На военной службе поят, кормят, одевают и квартира бесплатная. А если уж вы так добры ко мне, то помогите мне в одном деле.

— В каком?

— Хочу попасть в школу строевых квартирмейстеров.

Тут же я рассказал ему, как я люблю морское дело и как боцман Кудинов обучал меня разным корабельным премудростям.

— Это, любезный, сделать легче всего,— говорит он и улыбается.— Я как раз служу старшим офицером на учебном парусно-паровом крейсере «Герцог Ольденбургский». Пойдешь со мною в плавание на практику.

Деньги он все-таки навязал мне и еще угостил хорошим обедом с выпивкой. И жена его так ласково обращалась со мною, как будто я был ей родным братом. А тут еще Славчик подогрел любовь ко мне у своих родителей. Он так забавно изображал, как я разделался с ирландским сеттером, что они смеялись до слез. Я тоже чувствовал себя вроде именинника.

Через два дня я уже был на учебном крейсере.

Целый год мы пробыли в плавании. На этот раз долго бороздили Атлантический океан. Побывали на острове Мадера, на Азорских островах. Столько нового я в жизни повидал, что не рассказать об этом за целый день.

Когда я плавал на броненосце, мне много удалось усвоить из того, что нужно знать строевым квартирмейстерам. Я на всю жизнь останусь благодарным боцману Кудинову. Через него узнал различные тросы, как и в каких случаях они употребляются и как их нужно хранить. Я умел сплеснивать тросы, накладывать на них трени, бензели и найтовы. Все морские узлы мне тоже были известны: прямой, рифовый, простой штык, полуштык, двойной штык, удавка, удавка со шлагом, выблечный, гаечный, шкотовый, брам-шкотовый, свaечный, стопорный и много других узлов. Знаком я был и с блоками: толстоходный, тонкоходный, комель-блок, гитов-болк, анапуть-блок, лотлинь-блок, канифас-блок. Словом, на броненосце с этими предметами я уже разбирался, как с упряжью у себя на дворе. И это мне пригодилось, когда я попал на учебное рангоутное судно. Но пришлось еще очень усиленно заниматься, чтобы освоить все на новом корабле. Это обилие парусов и разных снастей сначала меня просто подавляло. Попробуй-ка запомнить одни названия: грот-гитовы, брам-гитовы, кливер-ниралы, бом-брамсели, брам-шкоты, марса-фалы, марса-быкгордены, лисель-спирты, лисель-штерты, форбом-брасы, брам-эзельгофты, бугеля, сезни. Таких названий сотни. При этом нужно знать, для чего служит каждая снасть и как ею пользоваться. Взялся я за учебу с настойчивостью муравья и все преодолел, точно через высокую и крутую скалу перелез.

Таким учебным судном должен был бы командовать энергичный и подвижной человек. А нас возглавлял совсем одряхлевший капитан первого ранга. Лицо у командира сморщилось, толстый нос покрылся сизыми прожилками, постоянно слезящиеся глаза помутнели, словно покрылись клейстером. Как только он ими видит? Меня удивляла его привычка: через каждую минуту он дергал сивой головой, как будто хотел вытряхнуть из нее назойливые и неприятные мысли... Ведь он казался мне таким хилым, что напоминал трухлявую березу в лесу, которая держится только на своей коре,— чуть толкни ее, и она развалится. Словом, от него уже пахло землей. А все-таки он храбрился и старался показать себя молодым. И смешно было слушать, как такой человек рассердится на какого-нибудь матроса и начинает ему угрожать:

— Я тебе за это такого тумака дам, что голова слетит с твоих плеч, как рукомойник.

Вообще командир любил выражаться по-народному. Иногда наказывал матросу:

— Ты мне так сделай это дело, чтобы тело не потело и голова не болела.

Однажды, глядя на него, я подумал: хорошо, что старость подходит к людям незаметно, как ночной тать, и похищает их силу понемножку, но зато изо дня в день, из часа в час. А если бы человек в какое-нибудь утро проснулся и увидел в зеркале, что в одну ночь он стал таким ветхим и сморщенным, как наш командир, что было бы с ним? От ужаса он, вероятно, сошел бы с ума.

Впрочем, наш старик оказался неплохим марсофлотцем, но пережитые годы сказывались на нем — силами ослаб, как обветшалый парус, и память стал терять. Поэтому за него всеми делами ворочал старший офицер, Виталий Аркадьевич. Про него можно сказать — морской орел! За время плавания я ни разу не видел его пьяным. Освободится от судовых занятий — сейчас же садится за книги. И провинившегося матроса и отличившегося, наказать ли кого хочет или наградить, каждого называет любезным. Но лично мне он нравится. Не только кто из команды, но и офицер у него не забалуется. Очень требовательный по службе и любит точность. Отдаст какое-нибудь приказание спокойно, но так ясно, словно отрубит слова. И тут уж нельзя не выполнить его распоряжения. А как начнет во время парусного учения командовать — радость охватывает душу. Голос у него звучит, как сирена, и слышен по всему судну, на всех мачтах и реях. Это подхлестывает нашего брата, как бичом. Бегом взбираешься по вантам, а потом на высоте пятиэтажного дома, возбужденный до того, что, кажется, кровь в жилах кипит, работаешь и не думаешь, что можешь сорваться с мачты и превратиться в лепешку. Лишь одно у тебя на уме — скорее и лучше выполнить свои обязанности. Но зато можно было гордиться, что на нашем крейсере все идет так великолепно, как хорошо налаженный оркестр, — ни одной фальшивой ноты.

Ко мне старший офицер относился душевно. Если вздумает на берег отправиться,— я у него всегда загребным на вельботе. Иногда, посмеиваясь, он подбадривал меня:

— Вижу, любезный, что из тебя выйдет лихой капрал.

Ну, и я старался служить на совесть. И только однажды проштрафился. Попалась мне книга Достоевского «Преступление и наказание». Устроился я в плотницком отделении и увлекся чтением. Даже забыл, что нахожусь на военном корабле. А он в это время, немного накренившись, шел по волнам Атлантики. Налетел шквал. Была команда: все наверх рифы брать. По расписанию в таких случаях я должен находиться на грот-бом-брам-рее. Но я ничего не замечал и ничего не слышал. Я настолько был потрясен содержанием романа, как будто по моей голове проехали бороной. Ведь вот до какого состояния довел меня этот писатель. Спасибо дежурному матросу по палубе: он толкнул меня и сказал:

— А для тебя особая команда, что ли, будет?

Я спохватился и, как птица, вылетел на верхнюю палубу. Но старшему офицеру уже стало известно, что я на две минуты опоздал. После того как рифы у парусов были взяты, он призвал меня к себе в каюту.

— Почему ты, любезный, не являешься вовремя по команде?

Я хотел соврать ему, но он посмотрел прямо в мои глаза таким дружественным взглядом, что я сказал всю правду. И сам не знаю, как это у меня с языка сорвалось. Сказал и напугался. Ну, думаю, пропало все. А тут слышу и ушам своим не верю:

— Что ты читаешь Достоевского — это похвально. Но обязанности свои не должен забывать ни при каких обстоятельствах. Если бы даже океан перевернулся вверх дном, ты все равно по команде должен находиться на своем месте. Пойдешь, любезный, в карцер на четверо суток. Я тебе много обязан за спасение моего Славчика, но долг службы и военная дисциплина — это главное. Соверши на судне какой-нибудь проступок мой собственный сын — я бы и его подверг наказанию. Понятно тебе все это?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Можешь идти, любезный!



Вот это, думаю, настоящий начальник. Молодчина! Побольше бы таких офицеров на флоте. Если бы он посадил меня на две недели, я бы нисколько не обиделся на него.

Больше никаких недоразумений у меня не было. На экзамене на все вопросы я отбарабанил без единой запинки. А теперь хожу с двумя лычками на каждом плече.

Слава богу, что ирландский сеттер сбесился. Сам погиб, но мне счастье принес. Иначе я никак не смог бы попасть на учебное судно.

Остается мне дослужиться до звания боцманмата, а может быть, и до боцмана.

Эх, нет у меня возможности проникнуть в Морской кадетский корпус! Либо разум свихнул бы себе, либо превзошел бы все науки. Но туда для нашего брата двери закрыты. Может быть, когда-нибудь откроются.

Мне хотелось еще посидеть и поговорить с Псалтыревым. Каждая встреча с ним была для меня большой радостью. Я люблю таких людей, как он,— они тянутся к знанию, словно растение к солнцу. Их становится все больше и больше, этих будущих творцов жизни, поднимающихся из гущи народной. Как древние воины для овладения крепостью таранами пробивали каменные стены, так они своей кипучей энергией и невероятной настойчивостью преодолевают все преграды на своем пути, чтобы достигнуть намеченной цели. Но, как ни интересно было беседовать с Псалтыревым, неотложные служебные дела вынуждали меня расстаться с ним.

Выходя из ахтерлюка, мы вспомнили о покойном капитане первого ранга Лезвине.

Я спросил:

— А знаешь ли ты, что твой бывший барин произведен в контр-адмиралы?

— Да что ты? Когда? — спохватился Захар.

— Я сам читал высочайший приказ. Он был получен на второй день после смерти Лезвина.

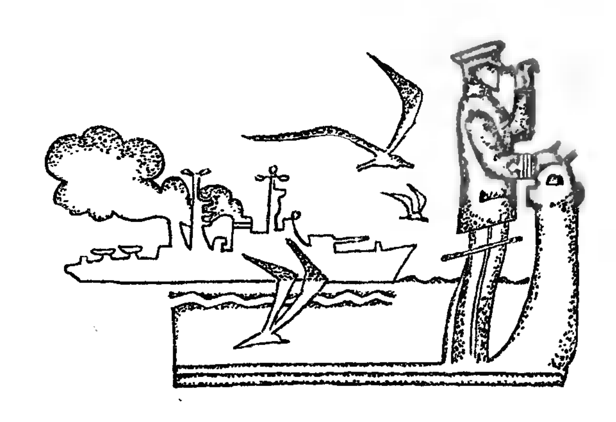
— Это хорошо. Значит, за него замолвил слово бывший начальник эскадры, контр-адмирал Железнов. Тесть-то мой оказался справедливый человек.

Псалтырев так обрадовался, точно он сам был произведен в высший чин.

Мы вышли на верхнюю палубу. С разрешения вахтенного начальника ялик пристал к левому трапу. Я крепко расцеловался с другом. Он быстро спустился по ступенькам трапа и, уловив момент, уверенно прыгнул на качающийся ялик. Волна подхватила отважного моряка и, окропив сверкающими брызгами, понесла его в сторону военной гавани.

Я не знал тогда, что расстаюсь со своим другом на долгие годы. Шли войны и революции. Смерчем проносились события, изменявшие не только людей, но, казалось, и самый облик земли. Как весенние потоки, бурля, несутся к морским просторам, так и народ из городских окраин и глухих деревень, волнуясь, рвался к свободе, к иной жизни, достойной своего духовного величия. В эти годы я не раз вспоминал Псалтырева, расспрашивал о нем у других, но никто не мог дать мне ответа. И все же я не терял надежды, что когда-нибудь мне удастся с ним встретиться.





## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Большой моторный катер, на котором я находился, вышел из гавани и, сделав крутой поворот, направился на запад. Слева в открытые иллюминаторы заглядывало летнее солнце, обдавая теплом. Под ясным небом сладостно нежилось море, сверкая, словно безмерная шаль, вышитая золотыми узорами. Море и воздух казались неподвижными. Только под кормою кипел бурун и тянулся за нами треугольником волн.

Я ехал на линкор «Красный партизан». Со мною в каюте сидело несколько краснофлотцев. Здесь были артиллеристы, торпедисты, электрики, кочегары. Они знали меня и охотно со мною разговаривали.

— Вы бы описали нашего командира судна,— сказал артиллерийский старшина, хитровато улыбаясь тонкими губами.

— Почему именно его? — спросил я небрежно, полагая, что артиллерист сказал это ради шутки.

— Человек интересный. О нем можно целую книгу сочинить.

— А кто у вас командиром?

— Капитан первого ранга Куликов. Он участник гражданской войны. Отважный человек. Недаром правительство наградило его двумя орденами. Надо думать, что и орден Ленина получит.

— Ну, как вы с ним живете?
— Хорошо. Команда очень довольна им.
— Вероятно, уже пожилой?
— Да, годков ему порядочно будет, наверно, вторую полсотню разменял. Только никак не хочет с этим примириться. И все удаль свою показывает. По физкультуре любого молодого замотает. Железный человек. Неделю тому назад он участвовал в состязании по заплыву. Расстояние было тысяча метров. И что же вы думаете? Занял второе место.

Рыжий кочегар, которого товарищи называли Галкиным, добавил:

— Наш командир любит также участвовать в гонках на гребных шлюпках. Это для него самое большое удовольствие. В таких случаях он сдает судно своему старшему помощнику и садится на весла. Ну и сила же у него!

Я слушал эти отзывы и вспоминал прошлое. Мне, бывшему моряку, хорошо были известны порядки в царском флоте. Тогда не только командир, но и ни один мичман не мог сесть на весла наравне с матросами. В таком поступке офицеры увидели бы подрыв дисциплины. А если бы это сделал глава судна, то такого начальника все офицеры сочли бы сумасшедшим или опасным нигилистом и, вероятнее всего, на него полетели бы в Главный морской штаб доносы. Нечего и говорить о том, чтобы командир того или другого корабля решился принять участие в состязаниях по плаванию. На высшую власть того времени это произвело бы ошеломляющее впечатление, равносильное сообщению о мятеже на каком-нибудь судне.

Командир Куликов начал интересовать меня. Хотелось узнать о нем подробнее. Краснофлотцы охотно отвечали на мои расспросы.

Заговорил электрик Сигалов, низкорослый и большеголовый парень:

— С таким командиром можно служить: умный и справедливый человек. И что за голова у него! Ведь сколько людей на судне! А он знает почти каждого в лицо и по фамилии. Он часто обходит корабль. И у него такая привычка: где много людей, он присоединится к ним или даже присядет потолковать с краснофлотцами. Тут с ним можно говорить о чем угодно: о домашних делах, о колхозах, о танцах, о том, кто и чем займется после службы, у кого и где находится невеста. Иногда он обратится к краснофлотцу: «Ну, товарищ Поляков, что вам пишет Маруся?» А тот отвечает ему: «Это было, товарищ капитан первого ранга, в прошлом году».— «Так быстро угасла у вас любовь?» — «Ничего не поделаешь, товарищ капитан первого ранга. Если женское сердце сравнить с замком, то я к нему не мог подобрать ключа». А командир уже спрашивает другого: «Товарищ Дроздов, как ваш сынок Вася поживает? Растет?» Вот память! Уж что он услышал, то никогда не забудет. Бывает, командир сам начнет нам рассказывать что-нибудь такое, что мертвых рассмешит. А как встал и пошел, то опять он начальник. Этому командиру очки не вотрешь. Ты никак не узнаешь, когда ему вздумается облазить корабль: днем, ночью или перед рассветом. Таким образом, и командный состав и краснофлотцы у нас всегда начеку.

Я спросил:

— Командир, видимо, живет с вами в хороших товарищеских отношениях. Но этим не снижает ли он себя в глазах своих подчиненных?

— Нисколько,— поспешил с ответом кочегар.— Он является для нас опытным и разумным начальником, каждое его слово для нас закон. А характером командир такой: сам он не врет и не любит тех, кто вздумает его обмануть. Случается, что человек совершит нечаянно какой-нибудь проступок по службе. Тогда лучше заранее иди к командиру и расскажи ему все по совести, как было дело. Он во всем разберется и может простить тебе. Но если ты соврешь ему, то пощады не жди. Больше тебе не придется с ним служить. У него лозунг такой: экипаж судна — это одна дружная и честная семья, а родина — ее мать.

Один из собеседников посоветовал мне:

— Когда вы познакомитесь с ним поближе, то расспросите его о гражданской войне. Вот порасскажет — заслушаешься. Досталось от него белогвардейцам.

Чем больше я беседовал с краснофлотцами о командире Куликове, тем сильнее он возбуждал к себе мое любопытство. Судя по их восторженным отзывам, он, по-видимому, пользовался среди своих подчиненных большой любовью. И авторитет его, как начальника, стоял чрезвычайно высоко. Насколько я понял, это был испытанный боец, проявивший себя во время граждан-

ской войны как великолепный стратег и тактик. А рассказы о его непомерной храбрости были похожи на легенды.

Через несколько часов наш моторный катер повернул влево. За это время солнце значительно склонилось к западу и теперь заглядывало в каюту справа. По-прежнему узорчато искрилось море и казалось еще более приветливым. Голубели ясные дали и, как всегда, манили душу моряка смутными обещаниями.

Вскоре за мысом, поросшим громадными соснами, показалась эскадра, стоявшая на якоре в просторной губе. Это постоянное ее местопребывание во время летних учений. Все яснее вырисовывались контуры кораблей. Здесь были линкоры, крейсеры, эсминцы, посыльные суда. Ближе к берегу, разбившись на небольшие группы, выстроились рядами подводные лодки. Эти страшные боевые единицы теперь казались игрушечными суденышками, созданными как будто только для забавы человека. Среди них возвышались своими корпусами пароходы — это базы для подводников. Эскадра слегка дымила. Нетрудно было догадаться, что на судах лишь часть котлов находилась под парами, обслуживая вспомогательные механизмы.

Я с жадностью смотрел на корабли, и мысль невольно возвращалась к недавнему прошлому. Что было после гражданской войны? Часть судов была потоплена в сражениях; многие корабли белогвардейцы, изменив своей родине, увели за границу. В разоренной Советской стране остался небольшой флот, плохо обслуживаемый и не имевший даже возможности обеспечить себя топливом. Но теперь он сильно увеличился в своем составе, окреп и продолжает вырастать в могучую и грозную силу, охраняя водные рубежи социалистического отечества.

Катер с полного хода ловко пристал к правому трапу линкора «Красный партизан». Я взошел на верхнюю палубу. Меня встретил капитан 2-го ранга, отрекомендовавшись старшим помощником командира Ложкиным. Он почтительно улыбался, сверкая золотыми коронками на передних зубах. Его высокая фигура на момент заслонила от меня всю палубу. Тут же со мною поздоровался лейтенант — вахтенный командир. Только теперь я заметил, как много людей на верхней палубе. Но еще больше удивило меня то, что из них только вахтенные были одеты по всей форме. А остальные не имели на себе ничего, кроме трусиков или плавок. Капитан 2-го ранга Ложкин, заметив мое изумление, пояснил мне:



— Это перед ужином приготовились купаться.

Оглянувшись, он осторожно взял меня под локоть и подвел к пожилому человеку.

— Познакомьтесь — наш командир, капитан первого ранга Куликов. А это...

Старший помощник назвал мою фамилию.

Командир протянул руку и до боли сжал мои пальцы в своей широкой и сильной, как медвежья лапа, ладони.

— Очень рад с вами познакомиться,— заговорил он басом, вонзаясь в меня пытливым взглядом серых глаз.— Заочно я давно знаю вас по вашим произведениям. Приехали посмотреть, как мы живем?

— Совершенно верно, товарищ Куликов,— ответил я, в свою очередь оглядывая его с головы до ног.

Большая седеющая голова, подстриженная под ершика, уверенно покоилась на толстой шее. Лицо, гладко выбритое, безусое, продубленное солнцем и морскими ветрами, было кирпичного цвета. Он был среднего роста, широкоплеч, грудаст и твердо стоял на упругих ногах, немного расставив их, как привык это делать на мостике во время качки. Ему, вероятно, перевалило за пятьдесят лет, но его тело сохранило гибкость и молодость. Он то сдержанно улыбался, то сразу становился серьезным, выражая нетерпение скорее познать гостя.

— Может быть, и вы за компанию покупаетесь? С дороги это будет особенно полезно.

— Благодарю вас. Этим делом, с вашего разрешения, я займусь завтра.

Со мною здоровались еще какие-то люди, и каждый из них называл свое звание и свою фамилию. Так, помимо командира, со мною перезнакомились корабельный врач, инженер-механик, лейтенанты-артиллеристы, штурманы и политработники.

На палубе стояли во фронте краснофлотцы, разбившись на подразделения, объединенные одной какой-нибудь специальностью. Старшины групп проверяли наличность желающих купаться. Когда все было готово, вахтенный командир, взглянув на часы, приказал горнисту:

— Играть движение вперед.

Раздались звуки горна. Всегда привычные и знакомые, они в этот момент прозвучали по-особенному, взбудоражив жизнь на корабле. Сигнал внес необычное оживление среди людей. Смех и говор заполнили палубу, как будто сразу оборвалась дисциплина. Сотни моряков, блестя на солнце свежестью и здоровьем юношеских тел, устремились на старт купания. Одни спускались по трапам на нижние ступеньки — это были, вероятно, новички водного спорта. Другие, матерые пловцы, становились в шеренгу по борту с солнечной стороны или примащивались на откинутые от бортов выстрелы [1]. Некоторые мастера прыжков в воду взбирались на мостики, высота которых над морем равнялась самым высоким вышкам и трамплинам водных станций. Меня целиком захватила вся эта горячка приготовлений к купанию голых людей в разноцветных плавках и трусиках. Прежде чем войти в воду, многие, стоя у самых краев борта и мостиков, на выстрелах и на ступеньках трапа, проделывали всевозможные вольные гимнастические упражнения. Люди, словно проверяя свои физические силы, вытягивались на носках, трясли ногами, подтягивали животы, расправляли плечи, приседали, поджимали колени, размахивали руками, выбрасывали их вперед, назад, вверх, массировали мышцы груди. Корабль, облепленный обнаженными телами, теперь походил на спортивную водную станцию или школу плавания на Москва-реке. Так же как и там, здесь борт, мостики, выстрелы и трапы служили вышками и трамплинами разной высоты.

От борта линкора отделились шлюпки и направились в разные стороны.

Капитан 2-го ранга пояснил мне:

— Дежурные шлюпки, на случай оказания помощи тонущим. Это у нас всегда на купании. Наш освод.

От движения шлюпок на спокойной воде расходились легкие волны, дробя солнечные блики. На поверхности моря вспыхивали беглые зайчики. От их ослепительных искр жмурились глаза стартующих купальщиков.

Вдруг, покрывая говор, раздались всплески падающих в воду тел.

[1] **Выстрелом** называется рангоутное дерево, которое во время якорной стоянки откидывается от борта и к которому привязываются шлюпки. *(Прим. автора.)*



Я увидел, как с мостика прыгнул головою вперед, поворачиваясь винтом, человек в голубых плавках. Одновременно с ним, согнувшись и поджав колени почти к груди, закувыркался двумя сальтами в воздухе еще один человек в черных трусиках. Оба они щукой нырнули в глубину.

Капитан 2-го ранга не переставал пояснять мне:

— Эти двое — из многих наших мастеров прыжка: в голубых плавках — машинист, в черных трусах — сигнальщик.

Я не успевал следить за множеством простых и сложных прыжков. Началось беспрерывное мелькание бросающихся вниз тел, в разных замысловатых движениях. Меня удивляло, до чего многочисленны и разнообразны могут быть фигурные комбинации из человеческого тела. Конечно, не все моряки проделывали сложные и смелые прыжки. Наблюдались чередования простейших входов в воду без толчка, «спады» вниз головою и «соскоки» ногами. Но все это неудержимое стремление к воде настолько было заразительно, что мне самому хотелось, не раздеваясь, броситься с борта в прохладную влагу.

Залюбовавшись воздушными полетами моряков, я забылся и потерял из виду самого командира.

На заднем мостике стоял инструктор по спорту, одетый в форму младшего командира. В руке он держал записную книжку, отмечая в ней свои наблюдения за купающимися.

Мне опять вспомнился царский флот. За шесть лет, проведенных мною на военных кораблях, я никогда не видел того, что пришлось наблюдать здесь. Лишь на некоторых судах раза два в месяц устраивались общие купания. Но в этом принимало участие не больше одной четвертой части команды. А остальные, не умея плавать, с завистью смотрели на своих товарищей, но продолжали оставаться на палубе боязливыми зрителями, изнывая от жары и пота. Для купающихся, чтобы они не могли утонуть, укрепляли за выстрелы сеть, горизонтально погруженную в море на глубину половины человеческого роста. Таким образом, раздольная ширь сводилась до масштаба деревенской лужи, где можно было только барахтаться, а не свободно плавать. Поэтому прыгать вниз головою с бортов, а тем более с мостиков, совсем никому не разрешалось. Еще хуже

было на кораблях учебно-артиллерийского отряда. Каждый год этот отряд по три месяца проводил на Ревельском рейде. Адмиралу никогда и в голову не приходило разрешить команде купаться. Так же было и на кораблях минного отряда. Матросы могли позволить себе такое удовольствие только в тех случаях, когда их отпускали на берег. Не удивительно, что большинство из команды, прослужив на судах военного флота по семи лет, ни разу не испытали радости морского купания.

Начальство будто не понимало, какую пользу приносит людям купание. Совершенно иначе смотрят на это в советском флоте. Сейчас каждому пионеру известно, что ни один спорт не может так закалить человека, как купание. А все эти упражнения в прыжках развивают в моряке ценнейшие свойства: решимость, самообладание, настойчивость и умение добиться победы.

Я обратился к старшему помощнику Ложкину:

— А есть у вас из команды не умеющие плавать?

— Ни одного! — не без гордости ответил он.— А если из молодых краснофлотцев такие к нам попадут, то их обязательно научат овладеть этим искусством. Моряк не должен бояться воды. Вы видите, с какой охотой все бросаются в море? Это вполне естественно. Молодежь всегда имеет желание помериться своими силами с другими. Добиться успеха в соревновании — вот одна из важных форм ее воспитания.

Вокруг линкора шумные всплески воды смешивались с человеческим гомоном. В косых лучах солнца радужно вспыхивали фонтаны брызг. Одни из моряков просто плавали, пользуясь для этого разными стилями, другие пускались наперегонки, соревнуясь между собою в быстроте и на дальность заплыва. Некоторые из купающихся, разбившись на кучки, сгрудившись, играли в водное поло. Ведя и перебрасывая резиновый шар, игроки действовали руками и головою. Можно сказать, все части тела пускались в бой. И выходило это у них с такой поразительной легкостью и свободой, словно они двигались не в море, а на суше. Поражало их мастерство держаться и двигаться на воде. В стороне от групповых заплывов видно было, как несколько виртуозов то состязались по нырянию вдаль, то показывали фокусы, перевертываясь в воде колесом, то неподвижными пластами застывали на спине, ложась в дрейф. Под безоблачным небом, в лучах дневного светила, море, ослепляя отраженным блеском, как бы кипело от множества барахтавшихся молодых, сытых и загорелых тел. В этом общем порыве возбужденного движения, казалось, принимали участие и чайки, с криком носившиеся над пловцами. Получалось впечатление, что эти люди выросли в самом море, оно стало для них родной стихией, и они, возбужденные, резвились в нем, как дельфины. Я слушал задорные выкрики и безудержный смех сотен моряков, и у меня возникла мысль, что так веселиться не могли даже древние греки — родоначальники культуры водного спорта.

Я обратился к старшему помощнику:

— Часто бывают у вас такие купания?

— Во время стоянки на якоре каждый день перед обедом. Иногда и перед ужином еще раз купаются, как, например, сегодня.

Я посмотрел на другие корабли,— вокруг них так же, как и здесь, купались люди.

По приказу вахтенного горнист проиграл сигнал купающимся. Моряки стали повертывать к линкору. По трапам и шторм-трапам они быстро взбирались на палубу. На них, словно утренняя роса, дрожали, излучаясь солнцем, капли морской влаги. Бодрые, налитые силой молодости, они разбегались по кораблю, торопясь одеться в морскую форму.

## II

Мне дали отдельную небольшую каюту. Я с радостью поселился в ней. Столик, кресло, койка, диван, умывальник, шкаф для белья и одежды, книжные полки были так удобно размещены, что занимали мало места. А чтобы во время качки мебель не могла передвигаться, она была прикреплена к переборкам или к палубе. Мое помещение показалось мне достаточно уютным. Ночью оно освещалось электрической лампой, днем проникал свет через иллюминатор. Этот иллюминатор все время был у меня открыт, и я с наслаждением вдыхал соленый морской воздух.

Находясь в отдельной каюте, я не переставал ощущать биение пульса судовой жизни. Линкор, даже стоя на якоре, не замирал ни на одну минуту. Молчали лишь его главные машины, а вспомогательные механизмы

продолжали работать. При них люди несли свою вахту. По временам до моего слуха доносились выкрики отдаваемых начальством распоряжений или топот ног пробегавшего по коридору человека.

Вчера после купания мне не удалось повидаться с командиром Куликовым. Он был чем-то занят и за весь вечер, запершись у себя в каюте, ни разу не показался на людях. А сегодня утром за мною прибежал вестовой и пригласил меня в салон. Там за круглым столом уже сидел командир. Он был одет в белый китель, и широкие темно-синие брюки. Грудь его украшали два ордена Красного Знамени, на рукавах блестели по одной широкой золотой нашивке, означая звание капитана 1-го ранга. При моем появлении он встал, поздоровался со мною и справился, как я спал и как я вообще чувствую себя на новом месте. На мои положительные ответы его загорелое и лоснящееся лицо слегка улыбнулось. Он пригласил меня за стол:

— Вместе подхарчимся.

Движения его были неторопливо солидные. Но ел он хлеб с маслом, сыр, яйца и пил кофе с такой поспешностью, словно находился в буфете железнодорожной станции и боялся опоздать к поезду. Меня удивляло его молчание. По отзывам краснофлотцев, он представлялся мне не таким. И почему-то он поглядывал на меня подозрительно, словно был недоволен мною. Что случилось? И, только покончив с завтраком, Куликов вытер салфеткой губы и заговорил:

— Вы женаты?

Я растерялся от неожиданности такого вопроса и не сразу ответил, а он, как бы утешая меня, сказал:

— Ничего. Я тоже женат.

Озорной огонек сверкнул в его серых глазах. Мне показалось, что он потешается надо мною. Я хотел заметить ему о нелепости его вопроса. Но он тепло улыбнулся и спросил:

— Как вам нравится наш линкор?

— Ничего не могу сказать, потому что не видел его как следует.

Он встал и вышел из-за стола.

— Мы с вами успеем о многом поговорить. А пока вот что: познакомьтесь с кораблем. Я назначу вам толкового лейтенанта. Походите с ним по разным отделениям.



— Спасибо.

Командир продолжал:

— Современный линкор — это вам не прежние корабли. Ход его до двадцати пяти узлов. Он может поражать противника, еле видимого на горизонте. И вы знаете, какую энергию заключает в себе «Красный партизан»?

Я вопросительно поднял брови.

— Не меньше, чем Волховская гидроэлектрическая станция. Ничего себе, а?

— Да, наглядно.

Извинившись, Куликов удалился по своим делам.

Я остался в салоне один, размышляя о современном флоте. На подобных линкорах и других судах я и раньше бывал, но от этого у меня нисколько не утратился интерес к военному кораблю. А «Красный партизан» особенно занимал меня. Закованный в толстую броню, он сверху не имел никаких лишних надстроек. Башни, передний и задний мостики, две дымовые трубы, подъемные краны — вот все, что возвышалось над верхней палубой. С внешней стороны он напоминал громадный утюг длиной в одну пятую часть километра. Башни и борта линкора грозно ощетинились дальнобойными и противоминными орудиями.

В салон вошел старший лейтенант, худощавый и стремительный человек лет тридцати семи. Скуластое, со впалыми щеками, его лицо приветливо улыбалось, из-под густых бровей, сросшихся над переносицей, бодро смотрели карие глаза. Протягивая мне руку, он браво отрекомендовался:

— Федор Матвеевич Пазухин. Назначен командиром в ваше распоряжение, чтобы познакомить вас с нашим линкором.

Я попросил его присесть и предложил ему папиросу. Пока мы курили, я узнал от него кое-что из его биографии. До службы он занимался со своим отцом рыболовством на Белом море. С малых лет он увлекался водной стихией. Поэтому по первому призыву ЦК комсомола он добровольно пошел во флот. Будучи на действительной службе, Пазухин окончил школу рулевых, а затем три года пробыл на сверхсрочной службе в звании младшего командира. За это время, посещая вечерние курсы по общеобразовательным предметам, он подготовился и поступил в Военно-морское училище. По

окончании его стал штурманом. Но ему хотелось приобрести больше знаний. Этой весной он получил диплом об окончании академии по своей специальности.

Я спросил:

— Что это ваш командир такой необщительный? Никак к нему не подъедешь. Молчит. Всегда он такой?

Лейтенант Пазухин рассмеялся.

— Значит, присматривается к вам. Это будет продолжаться еще два-три дня. А в общем, это замечательный командир: по службе суровый, но в жизни исключительный добряк. Великолепный организатор и боевой человек. Плавать с ним — это значит пройти хорошую морскую школу на практике.

Мы пошли осматривать линкор. Насколько «Красный партизан» казался мне прост с внешней стороны, настолько же все было в нем сложно внутри. Даже мне, побывавшему на многих военных кораблях, трудно было сразу разобраться в его железных лабиринтах. Мой проводник, лейтенант Пазухин, в некоторых помещениях на короткое время задерживался, давая объяснения насчет того или другого механизма, и торопливо шел дальше. Я едва поспевал за ним. Это был осмотр на скорую руку, поверхностный, лишь бы удовлетворить новизной впечатлений нетерпеливую жадность мозга. Немыслимо было охватить все в один раз. Чтобы облазить все палубы, отсеки, кубрики, машинные отделения, кочегарки, трюмы, мостики, штурманские рубки, боевые рубки, трапы, коридоры, бронированные башни, казематы противоминной артиллерии, крюйт-камеры, бомбовые погреба, торпедные погреба, радиорубки, телефонные станции, электрические станции, отделения для сухой и сырой провизии, угольные ямы, канцелярии, каюты, помещения за двойным бортом, канатные ящики, коридоры, где вращаются гребные валы,— словом, чтобы заглянуть во все закоулки, и люки, горловины, вентиляционные отдушины, на это пришлось бы потратить несколько дней. Но еще больше потребовалось бы времени для уяснения работы главных машин и всевозможных вспомогательных механизмов, проводов, переборок, артиллерийских, торпедных, штурманских приборов, беспроволочных телеграфов, электрических станций, всех бесчисленных манометров и других изобретений, необходимых для управления боевым кораблем. Осматривая линкор, мы то поднимались ввысь на



несколько этажей, то опускались в глубь его железных недр. Для этого нам приходилось пользоваться трапами или скобами, прикрепленными к вертикальной переборке, и только в тех случаях, когда нам нужно было попасть на мостик, прибегали к помощи лифта. Беседуя с лейтенантом Пазухиным, я с трудом, до боли в голове, осмысливал всю сложность современного корабля. Понятным становилось, почему для обслуживания его нужны не просто моряки, а люди высоких специальных знаний: инженеры, техники, машинисты, кочегары, артиллеристы, радисты, электрики, турбинисты, минеры, сигнальщики, дальномерщики. Им приходится иметь дело с различного рода механизмами и приборами.

Из радиорубки, проникая во все отделения судна, раздался повелительный голос:

— Внимание! Внимание! Говорит радиоузел линкора «Красный партизан». Прекратите занятия! Проветрите жилые помещения!

На время я расстался со своим проводником.

Командир Куликов на этот раз не присутствовал на купании и не обедал. Его зачем-то вызвали на флагманский корабль. А я с большим удовольствием освежился в море и затем плотно пообедал.

После обеда я с тем же лейтенантом возобновил осмотр судна. Мы порядочно задержались в одной из орудийных башен. Снаряды, приспособления для подачи их, сами орудия, всевозможные приборы для управления огнем,— как все это усложнилось в сравнении с тем, что было раньше во время моей службы! А дальнобойность стрельбы стала такой громадной, что попадание снарядов может быть только при правильном определении расстояния до противника. Вот почему на судне установлены самые усовершенствованные дальномеры. Лейтенант Пазухин пояснил мне:

— Допустим, что противник находится от нас в ста двадцати кабельтовых. Хороший дальномерщик, овладев современным прибором, точно определит расстояние до него. Ошибка может быть допущена в полкабельтовых, не больше.

Мы еще долго ходили по разным закоулкам линкора. От обилия впечатлений у меня трещала голова. И все же этот осмотр был очень беглым. Мы не могли останавливаться на деталях судна, насыщенного от киля и до самого клотика техническими изобретениями.

— Вы уже имеете некоторое представление о современном корабле,— говорил лейтенант Пазухин.— Чтобы вся его материальная часть работала бесперебойно, требуется от личного состава очень много специальных знаний. Не удивительно, что число строевых краснофлотцев с течением времени все уменьшается. На их место становятся люди с техническим образованием.

Он привел меня в библиотеку. Заведующий ею был краснофлотец, развитой и разговорчивый человек. Он охотно и с любовью рассказывал нам о судовой книжной сокровищнице. Я слушал его и невольно вспоминал прошлое.

В царском флоте каждый корабль имел по две библиотеки: одна для начальства, другая для нижних чинов. Считалось хорошо, если в офицерской библиотеке находилось до тысячи томов. Тут были и научные книги и беллетристика на разных европейских языках. При этом русские авторы пользовались меньшим почетом, чем французские. Что же касается матросской библиотеки, то она представляла собою жалкий вид, состоя из сотни брошюр. Здесь были всякого рода сказки, много раз проверенные военной цензурой, чтобы не проскочила в них какая-нибудь вредная идейка; описания жития святых и великомучеников, проповеди Иоанна Кронштадтского, лубочные дешевки, ничего не дающие ни уму, ни сердцу. В такой библиотеке нельзя было найти ни одной серьезной книги. Отсутствовала даже история России, казалось бы, так необходимая, чтобы пробудить у военного читателя любовь к своей родине. Вот почему более развитые матросы покупали книги на свои собственные гроши. Но и это давалось не так легко. С произведениями таких авторов, как Лев Толстой и Максим Горький, или с передовыми журналами люди из команды старались не попадаться на глаза начальства. Мало того, что они рисковали попасть в карцер, их могли еще взять под подозрение, как политических преступников. И все же, несмотря ни на что, матросы читали. Для этого им приходилось забираться либо за двойной борт, либо в подбашенное отделение и в другие такие места, куда не заглядывал офицерский глаз.

Не то стало теперь. На линкоре «Красный партизан», как и на всех судах советского флота, библиотека была общей для всего экипажа. Команда пользовалась ею наравне с начальствующим составом.



Я спросил у библиотекаря:

— Сколько у вас книг?

— Более двадцати тысяч томов.

Названная цифра меня удивила.

Мне было обидно за прошлое и радостно за настоящее. До неузнаваемости изменилась жизнь флота. Теперь не только никто не преследует краснофлотцев за чтение книг, но всячески это поощряется.

Я поблагодарил своего спутника, лейтенанта Пазухина, и, усталый, ушел к себе в каюту отдохнуть.

Вечером я ужинал с командиром Куликовым. Со мною он держался так же, как и утром: был скуп на слова. Тогда я сам стал приставать к нему с расспросами, главным образом по артиллерии. Его лицо приняло выражение настороженности. Он отделался от моего любопытства общими фразами, не сообщив никаких конкретных данных. А когда я поинтересовался, насколько подготовлены комендоры, он как будто не слышал меня и заговорил о другом:

— Странные бывают случаи в жизни.

— А именно?

— Несколько лет назад я побывал в Ленинграде на кладбище. Дело было летом. Только что брызнул мелкий дождь, и сейчас же небо очистилось от облаков, поголубело. В ярких лучах солнца вся зелень деревьев и трав празднично расцвела каплями росы. Воздух был пропитан каким-то особым ароматом и свежестью, приятно щекотал ноздри и наливал тело здоровьем. Словом, кругом было разлито столько сияющей радости, что даже не верилось, что находишься на месте человеческих страданий, горестных вздохов и горьких слез. Но, как и всегда на кладбище, невольно пришли мысли о бренности нашей жизни. Походил я между могил и холмов, поразмышлял, погрустил. Потом со мною встретился кладбищенский сторож. Сели мы на скамеечку, я угостил его папиросой. Разговорились. Старик имел за своими плечами семь десятков лет, но чувствовал себя, по-видимому, еще бодро. Когда-то он был бондарем, но бросил свою профессию. Оказалось, лет тридцать назад он похоронил здесь свою любимую жену и с тех пор здесь же остался сторожем. Живет неважно и все же остался верным своей супруге. Бывают же на свете такие однолюбы! Вспоминал он о ней с такой трогательной сердечностью, с таким глу-

боким чувством, как будто она была самая добрая женщина на всей земле. И я видел, как по его загорелым щекам покатились две крупные слезы. У него осталось одно желание — лечь в могилу рядом с женой. Покуриваем мы со сторожем, мирно беседуем. В это время появляется на кладбище старушка. Проходит она мимо могильных холмиков и памятников, вся сгорбленная, покачивает головою и смотрит по сторонам, точно присквает себе местечко на вечный покой. На ней шляпка с широкими полями, украшенная полинявшими розами и ягодами вишен, и черное шелковое платье старомодного покроя. Все это когда-то дорого стоило, но теперь и шляпку и платье давно бы нужно выбросить в мусорный ящик. Только туфельки на французских каблучках, бальные, отливающие серебром, сохранили изящный вид. Очевидно, они были связаны у нее с какими-то радостными воспоминаниями, и она надевала их только в исключительных случаях. По всему видать, что это бывшая барыня. Она бережно несла в горшочке гвоздику. Судя по ее бедному наряду, надо полагать, что она купила эти цветы за счет экономии на пище. Старушка подошла к могиле, чисто убранной, огороженной чугунной решеткой, за которой возвышался мраморный памятник и стояла зеленая скамеечка. Зайдя за решетку, эта сгорбленная женщина остановилась как бы в недоумении. Я ждал, что сейчас она разрыдается, оплакивая милое и дорогое существо, похороненное в этой могиле. Но она подозрительно оглянулась на нас. В этот момент я увидел ее лицо, желтое и сморщенное, как сухой гриб, и невероятно злое. Губы ее шевелились, она что-то шептала, но только не молитву. В этом я был убежден. Вдруг она повертывается и начинает что-то проворно хватать с могилы. И что же я вижу? Она рвет цветы и разбрасывает их в разные стороны, а баночки из-под них разбивает об ограду. Все это она проделывала с ненавистью. Потом она поставила на могилу свои цветы и уселась на скамеечку. Но от волнения седая голова старухи еще долго дергалась. Пораженный этим случаем, я обратился за разъяснением к сторожу. От него я все узнал. Под мраморным памятником покоится прах знаменитого певца. Было время, когда он шумел на всю страну. В театрах он своим необыкновенным голосом и художественным исполнением покорял зрителей. Все для меня стало понятным. Десять лет прошло, как зарыли знаменитого певца в землю, но бывшие барыни все еще приходят сюда, чтобы поклониться праху своего бывшего кумира. По словам кладбищенского сторожа, все они такие же ветхие, как и эта особа. Но ревность у них все еще не угасла. Почти все они приходят к этой могиле и уничтожают цветы, расставленные на ней другими. Иногда они сталкиваются здесь вместе, и тогда между ними происходит отчаянная ругань. Они готовы выцарапать друг у друга глаза. Очевидно, каждая из них думает, что он, кости которого давно истлели, любил ее одну и только ей одной принадлежал. Над кладбищем, стрекоча пропеллером, низко пролетел самолет. Старушка не обратила на него внимания. Она перестала трясти головою, замерла. В этот момент она была вся в прошлом. Может быть, в ее памяти всплывали те сладостные моменты, какие она переживала тридцать — сорок лет назад. Возможно, что при первой встрече и первых поцелуях с любимым она была именно в этих отливающих серебром туфельках. Время ничего не оставило для нее, кроме ярких, но уже оборванных лепестков воспоминаний.

Куликов замолчал. Я задумался над его рассказом. И вдруг мне стало досадно, почему я не получил ответа на свой вопрос. Мне показалось, что командир относится ко мне недоверчиво. Я сказал:

— Случай, какой вы наблюдали на кладбище, сам по себе интересный, а в вашей передаче особенно. Но какое это имеет отношение к линкору?

— Ах, да, линкор,— спохватился командир, вылезая из-за стола.— Знаете что? На осмотр его вам придется потратить еще немало времени. Скажу о себе. Когда меня назначили на этот линкор командиром, то я по долгу службы решил облазить его весь, побывать во всех отделениях. И каждый день я аккуратно записывал в блокнот, сколько на это у меня тратится времени. Когда такой осмотр был мною закончен, я подытожил свои записи. Получилось, что я потратил на это ровно два месяца. Вот что значит современный линкор.

Он ушел, оставив меня одного в салоне.

Мне начинал он казаться человеком очень интересным и сложным. В его седеющей, подстриженной под ерша голове, как в надежном сейфе, вероятно, много ярких переживаний и всевозможных ценных наблюдений. Но он был осторожен со мной. Я вспомнил слова

лейтенанта Пазухина и решил, вооружась терпением, ждать, когда он заговорит со мной языком простых человеческих отношений.

## III

Меня интересовал вопрос: что это за люди, населяющие линкор «Красный партизан», и откуда они пришли?

В этом мне много помог комиссар линкора Ефим Савельевич Огородников. Высокий, жилистый, лет тридцати, с медлительной походкой, он показался мне при первом знакомстве человеком вялым. Но скоро я изменил о нем свое мнение. Воспитанник специальной академии, он хорошо разбирался в политике, обладал твердой волей и организаторскими способностями. А энергии в нем было заложено хоть отбавляй. Для него не существовало ночи, если предстояло срочное дело. На собраниях, когда он выступал с речью, его удлиненное, густобровое лицо становилось вдохновенным, глаза загорались синим блеском. Своею страстностью он заражал всех слушателей. Команду он знал не меньше, чем командир, и среди нее также пользовался большим уважением.

Это были два главных лица на корабле: один ведал боевой подготовкой своих подчиненных, другой вырабатывал в них политическую и моральную стойкость. Оба, кстати сказать, дружили между собою и в случае надобности могли на время заменить один другого. Командир выполняет свою роль всегда на виду у всех, часто появляясь на мостике. Комиссар же как бы отодвигается на задний план, но он вникает во все подробности судовой жизни и выполняет напряженную большевистскую работу.

Как-то вечером я прохаживался с комиссаром Огородниковым по верхней палубе линкора. Он говорил мне о команде:

— С каждым годом состав команды все улучшается. Да иначе и не может быть. Возьмем для примера только пионерское движение, распространившееся по всей нашей стране. Вы, вероятно, сами видели, с каким энтузиазмом молодые ребята готовятся стать будущими моряками?

— Да, я видел их на Балтике, видел на Черном и Азовском морях,— согласился я.— В возрасте от двенадцати до пятнадцати лет они уже не боятся моря и катаются на шлюпках под парусами и на веслах, как заправские моряки. Они могут семафорить, управлять рулем и держать курс по компасу. А некоторые из них, наиболее развитые, даже разбираются в морских картах и умеют прокладывать по ним курс. Малограмотному и забитому матросу царского времени нужно было прослужить во флоте года два, чтобы сравняться знаниями в морском деле с нынешними пионерами.

— Правильно сказано,— подхватил комиссар, оживляясь.— Откуда у нашей молодежи такое желание попасть в Красную Армию и флот? Стало великой честью быть воином в такой стране, как наша родина. Об этом вы сами хорошо знаете. Вот и стремятся к нам лучшие представители молодежи. Присмотритесь к ним. В связи с развитием школ в государстве и к нам поступают все более и более грамотные люди. У нас на корабле семь человек из команды с высшим образованием. А таких, которые закончили средние учебные заведения или разные техникумы, можно насчитать несколько десятков. Разве было что-либо подобное в царском флоте? Кроме того, сколько славных юношей, прошедших уже общественно-политическую школу, дали нам комсомольские организации. Среди команды вы много найдете и таких, которые до призыва работали на тракторах, на комбайнах и при сложных заводских и фабричных машинах. Словом, к нам приходит много развитых людей. А за время пребывания на корабле они еще больше приобретут специальных знаний и получат хорошую политическую шлифовку.

Комиссар замолчал и посмотрел на запад. Солнце, спускаясь к горизонту, позолотило края облаков. С юга подул легкий ветерок и рассыпался по рейду серебристой рябью. От борта отвалил моторный баркас, увозя краснофлотцев, отпущенных на берег. Огородников снова заговорил:

— Конечно, в семье, да еще в такой большой, как наш экипаж, не без урода. Иногда попадаются человечки неважные: любители выпить и лодыри. Приходится над ними много работать, чтобы выветрить из них эту дурь. В конце концов, под действием дружного коллектива, и они становятся порядочными людьми.

Мы стали разбирать начальствующий состав. В общем командиры происходили либо из рабочих, либо из крестьян. У многих из них родители были малограмот-

ными или даже совсем неграмотными. А их сыновья, пользуясь тем, что просвещение стало доступно для всех, получили хорошее образование, включительно до академии. Они носят блестящую форму лейтенантов и капитанов разных рангов. Это энергичная и цветущая молодежь. Только командир линкора, старший механик и старший артиллерист представляли собою исключение.

— Вы, вероятно, познакомились со старшим механиком Остроумовым? — спросил комиссар.

— Да. Очень степенный и солидный человек. Мне показалось, что он из «породистых» людей.

— Ошибаетесь. При царском режиме он был машинистом самостоятельного управления. Но после революции он кончил институт инженеров. Партийный стаж у него более двадцати лет. Это человек неповоротливый, с ленцой. Впрочем, он великолепно выполняет свои обязанности. Во время похода линкора у нас не бывает перебоев в работе механизмов. Все недочеты в своей области он заранее устраняет.

Разбирая начальствующий состав, мы не могли миновать и старшего артиллериста Судакова. Роста выше среднего, плотный, он находился в расцвете своих сил. На его лице, полном, слегка рябоватом, с коротко подстриженными черными усами, всегда играла безобидная усмешка. Это был балагур и весельчак, любитель поиграть на гармошке. Хотя он имел звание капитана 2-го ранга, я принимал его за легкомысленного человека. Но комиссар разубедил меня в этом:

— У Судакова есть свои недостатки. Он втихомолку выпивает, иногда у него прорывается резкая ругань. С этим мы боремся. Но в то же время он является исключительно талантливым артиллеристом. Любит свое дело. В старом флоте он был только комендором-наводчиком. Дальше этого не пошел. И только советская власть дала ему возможность кончить Военно-морское училище, а затем артиллерийский факультет Военно-морской академии. Пусть кто-либо из его подчиненных попробует втереть ему очки. Ничего из этого не выйдет. Судаков, мне кажется, может в абсолютной темноте разобрать и собрать любую пушку. Если вам удастся побывать на стрельбище, вы увидите, как под его управлением будет действовать наш огонь. Жаль, что Судаков, вероятно, скоро от нас уйдет.

— Куда?



— В Морскую академию. Ему предлагают кафедру по артиллерийской части. Только в нашей стране может так быть: человек от комендора-наводчика поднимается до звания профессора.

Я заговорил о главе судна:

— Ваш командир Куликов, по-видимому, любопытный человек, но уж очень неразговорчивый.

Комиссар рассмеялся:

— Это он-то неразговорчивый? Редкостный рассказчик. Говорит, как по книге читает. Послушать его интереснее, чем читать повести и романы.

К Огородникову подлетел краснофлотец и, вытянувшись, бойко заговорил:

— Разрешите, товарищ комиссар, доложить.

— В чем дело?

— Партактив весь в сборе. Ждут вас.

— Иду.

Комиссар отправился в ленинский уголок, а я к себе в каюту. Около дверей своей каюты я неожиданно встретился с командиром линкора. Я сказал:

— Может быть, ко мне зайдете, товарищ Куликов? Покурим.

— С удовольствием.

В каюте он расположился на диване, я уселся на стуле. Закурили. Я рассказал ему о своей беседе с комиссаром о личном составе. Куликов кое-что добавил от себя для характеристики некоторых командиров, а потом заговорил об Огородникове:

— Бывший подпасок, а здорово умственно развился. Этот человек далеко пойдет. Отец его с трудом научился читать на курсах по ликвидации безграмотности. Дело было в приморском городе, куда он попал в качестве простого землекопа. В деревне у него никого не осталось. Захватил он с собою и сына. Мальчик увидел море и, кажется, влюбился в него на всю жизнь. Комсомолец, он окончил среднюю школу отличником. А теперь, как вы видите, стал моряком.

Я слушал командира и смотрел на его лоснящееся от здоровья лицо с тем любопытством, какое возбуждают необычные люди. А он мне казался именно таким. Между нами сложились странные отношения. Часто бывало так: я заговорю об одном, а он отвечает мне совсем другое; то он насупится и молчит, словно я сделал ему какую-то галость, то старается быть очень предупредитель-

ным. Иногда мне казалось, что он подсмеивается надо мною. Я даже решил про себя: должно быть, он из бывших офицеров, и ему, несмотря на его партийность, тошно говорить с бывшим матросом. А когда он бывал ласков со мною, то во всем его облике было что-то родное и близкое, как будто я давно уже был с ним знаком. Так или иначе, но меня почему-то неудержимо тянуло к нему. На этот раз он был в хорошем настроении. Я спросил:

— А вы не служили в царском флоте?

Куликов в свою очередь спросил меня:

— Разве вы ничего не знаете об этом?

— Нет.

Он внимательно посмотрел на меня и, словно в чем-то убедившись, ласково улыбнулся.

— Года два тому назад я прочитал одну из ваших книг. Она навела меня на верную догадку. Я сейчас же написал вам письмо. В этом письме я все изложил о себе. Но вы не удостоили меня ответом, и я решил про себя: вероятно, человек загордился или зазнался, если не откликается на мое дружеское послание.

Я сразу понял: вот почему Куликов до сих пор относился ко мне холодно и с какой-то недоверчивостью.

— Смею вас уверить, что никакого письма я от вас не получал. Уж кому другому, а моряку я не мог бы не ответить. А зазнайство — это не мой стиль.

Куликов еще больше обрадовался. Из дальнейших разговоров выяснилось, что он знает, в каком экипаже я служил и в какой роте с новобранства обучался, и даже назвал фамилию инструктора. Он напомнил мне при этом о таких подробностях моей службы, о каких даже я стал забывать. Мой взгляд сосредоточился на его лице, смутно улавливая знакомые черты. Несомненно было, что где-то я встречался с этим человеком.

— Откуда все это вам известно, товарищ Куликов? Может быть, и вы в этой же роте обучались одновременно со мною?

— Да, уважаемый приятель! Можно еще кое-что вам напомнить. Я хорошо знал одного вашего ученика. Вы ему помогали по арифметике и русскому языку. Потом он служил вестовым у капитана первого ранга Лезвина. Вы продолжали с ним дружить. Это был мой тезка — Захар Псалтырев. Он благополучно здравствует до сих пор.



Я таращил глаза на командира, а при последних словах его вскрикнул:

— Скажите, что вы знаете о нем? Что с ним стало? Где он? Ведь Псалтырев — это мой задушевный друг.

Я заерзал на стуле, ожидая скорейшего ответа, а командир, словно наслаждаясь моим нетерпением, неторопливо достал из серебряного портсигара папиросу, закурил и спокойно сказал:

— Он много поработал для революции, не раз бывал на волосок от смерти, но и революция не обидела его. Она дала ему то, что ему даже во сне не снилось. В настоящее время он имеет звание капитана первого ранга и командует советским кораблем.

— Каким?

— Линкором «Красный партизан».

Ошеломленный, я несколько секунд сидел молча, все еще не веря в превращение одного человека в другого. В памяти моей замаячил новобранец, который явился на флотскую службу в рваном полушубке, в облезлой заячьей шапке, в лаптях. Потом, приняв присягу, он служил вестовым. Но это не мешало ему до самозабвения любить море и корабли. Парень был талантлив на все руки. С этой стороны у него имелись все данные на то, чтобы теперь, при советской власти, занять высокий пост командира судна. Но тот человек щеголял большими черными усами, носил другую фамилию и только какими-то отдаленными чертами напоминал этого солидного капитана 1-го ранга. Я растерянно забормотал:

— Это вы и есть тот самый Псалтырев?..

— Да, тот самый.

— Который...

— Да, который...

— А почему фамилия теперь другая?

— Когда призвали меня на военную службу, я был записан по уличной кличке. А после революции я восстановил настоящую свою фамилию: стал Куликовым. Зачем же мне носить уличную кличку, да еще церковную? А вы, как видно, все еще сомневаетесь? Неужели я настолько изменился, что вы не узнаете своего друга?

— Захар! — вырвалось у меня.

— Алексей! — оглушил меня басистый голос.

Мы бросились друг к другу в объятия и крепко расцеловались. Это был момент такой искренней радости, словно мы обрели величайшее счастье. Чувство друж-

бы, угасшее было за длительное время нашей разлуки, снова властно вспыхнуло в душе. Вся официальность сразу исчезла, как нелюбимый моряками туман.

— Почему, Захар, ты в первый же день не открылся передо мною? — возбужденно упрекал в Куликова.— Зачем тебе понадобилось морочить мне голову?

Он задушевно смеялся, прищурив сияющие серые глаза.

— Во всяком деле прежде всего нужна выдержка. Кроме того, у меня было основание не сразу открыться перед тобою. Пойми, разве не обидно было, что ты ничего не ответил на мое письмо? Да и присмотреться нужно было к тебе: остался ли ты тем человеком, каким я знал тебя на военной службе, или изменился к худшему.

— Ну, и что же?

— Нашел все в порядке.

Распахнув душу друг перед другом, мы еще долго восторгались нашей неожиданной встречей.

## IV

На следующий день после завтрака командир Куликов пригласил меня в свою каюту. Это было просторное помещение, отделанное красным деревом. Два открытых иллюминатора с раздвинутыми шторками из малинового бархата давали достаточно света. Стены украшены были портретами знаменитых флотоводцев: Ушакова, Сенявина и Нахимова и фотографией семьи командира. На потолке электрические лампочки скрывались под матовыми стеклами. Кроме того, была еще настольная лампа с синим абажуром, прикрепленная к большому письменному столу. В каюте при помощи переговорной трубы командир мог держать связь с мостиком, а по телефону — с любым отделением корабля. Стоит только, сидя в кожаных креслах за письменным столом, поднять голову, как взгляд неизбежно падал на барометр. Мебель еще дополняли несколько стульев, диван и круглый столик с огромной пепельницей из черепахи. К каюте примыкала командирская спальня с широкой пружинистой кроватью, со шкафами для белья, с умывальником.

Покуривая, мы сидели за круглым столиком. Я смотрел на командира и вспоминал, как хорошо он разбирался в жизни, будучи только вестовым, и великолепно обо всем рассказывал. А теперь я еще с бо́льшим волнением слушал его, уже капитана 1-го ранга, окончившего Военно-морскую академию.

— Во время империалистической войны, по распоряжению ЦК партии большевиков, я отправился в портовый город,— начал свой рассказ командир.— У меня был чужой паспорт, и в нем я обозначался демобилизованным, как страдающий припадками. Устроиться на работу было не так легко, не рискуя провалиться. Но на Морском заводе оказался мой хороший знакомый инженер, отчасти тронутый уже революционными идеями. Он и принял меня к себе на работу. Я считался хорошим слесарем, мною дорожили.

На этом заводе уже были свои люди, и они прекрасно вели работу среди рабочих. Мне же, как бывшему матросу, было поручено главным образом заняться флотом. Я легче, чем кто-либо другой, мог разобраться в людях флотских экипажей и судовых команд. Не хвалясь, скажу: за семь лет службы я основательно изучил матросов. Мне достаточно было с кем-нибудь из них побеседовать только раз, чтобы определить,— подходящий это человек для нас или нет. Обыкновенно знакомство начиналось с машинистами, кочегарами, минерами, гальванерами. На корабле люди этих специальностей считались наиболее передовыми. Короче говоря, у меня было большое преимущество перед другими работниками. И все же нужно было действовать очень осторожно. Во время войны тайные агенты особенно следили за нижними чинами. Однако дело у меня пошло успешно. Через несколько месяцев были установлены связи со многими флотскими экипажами и кораблями. Спустя еще некоторое время мы организовали нелегальный комитет, возглавляемый мною. Мы содержали кинотеатр. Это давало нам возможность добывать средства на организационные расходы. Но главная цель здесь заключалась в другом. Хозяином кино считался бывший машинист самостоятельного управления Остроумов. Усатый, сытый, высокий и широкоплечий, он внешностью напоминал офицера в отставке. Разговаривал он медленно, закругляя каждую фразу. Вся полиция находилась с ним в приятельских отношениях. Со стороны никто не мог заподозрить в нем революционера. И все его служащие были свои люди: киномеханик, билетерши, кассирша и да-

же сторож. Вот почему это кино заменяло нам нелегальную штаб-квартиру. Здесь происходили явки, отсюда матросы получали литературу и указания, как вести работу. Наше кино было у власти на хорошем счету.

Нашлись свои люди даже в морском штабе — писаря. Через них мы узнавали все секретные новости. Каждое мероприятие высшего начальства нам заранее было известно. Наша нелегальная литература хранилась в надежных руках. В этом нам очень помогала Катя, служившая горничной у полицмейстера. Она безумно была влюблена в минного квартирмейстера Погудина. Матросы говорили о нем:

— Это такой горячий человек, что если плюнет, то плевок шипит, как на раскаленной плите.

Он и Катю распропагандировал. От природы девушка эта оказалась умной, быстро соображающей и серьезной. После революции Погудин женился на ней. Но еще до этого стала она у нас преданным человеком. Никому из жандармов и в голову не приходило произвести обыск на квартире самого полицмейстера. Мало того, что у Кати хранилась литература,— благодаря этой горничной мы знали в лицо почти всех тайных агентов. А это значительно облегчало осуществление наших планов.

Время работало для нас. Во флоте мы имели крепкие и сильные организации. Можно было надеяться, что если вспыхнет восстание, то 1905 год уже не повторится. Тысячи матросов пошли тогда на каторгу, а многие из них поплатились и своими жизнями.

Наступил семнадцатый год. На фронтах русское командование переживало крах. Солдаты, плохо снабженные продовольствием и не имевшие надлежащего вооружения, теряли веру в победу. А главное во имя чего они вынуждены были голодать, мерзнуть в окопах, кормить своим телом паразитов, жертвовать собою? Но даже и при таких условиях солдаты все еще бились на фронтах и шли в атаку на противника, но делали это уже без подъема, по какой-то инерции, как идут некоторое расстояние корабли с застопоренными машинами. И весь народ был возбужден до крайности. Стоило, бывало, с каким-нибудь человеком заговорить о войне, как он начинал раздражаться, словно внезапно наступал у него приступ невыносимо острой зубной боли. Учитывая такое настроение широких масс, мы рассматривали месяц февраль как предгрозие революции. Это чувствовали и офицеры, как чувствует в море каждый моряк приближение бури. Небо еще чистое, и море спокойное, но барометр неуклонно падает. Моряки тревожно оглядываются и замечают: уже возникают кое-где облака, и несутся они низко и торопливо, и вся водная гладь, словно от судорожной дрожи, покрывается рябью. А через сутки обрушивается такой циклон, от которого у робких стынет кровь. Так было и во флоте, в особенности во второй половине февраля. Матросы не бунтовали, молча исполняли распоряжения начальства, а некоторые из них даже старались служить лучше, чем обычно служили. Но в то же время на их лицах, в их глазах было такое выражение, какое бывает у игрока в карты, обеспеченного козырями: он ждет только момента, чтобы объявить об этом своему партнеру и протянуть руку за выигрышем. Более наблюдательные офицеры хотя и смутно, но догадывались, что приближается гроза. На кораблях все реже раздавались окрики, и они никого уже не пугали. Столетние навыки начальства управлять командой стали ненадежными, как обветшалая и вся изорванная узда на горячей лошади. Эта лошадь, которую хозяин не столько кормил овсом, сколько бил палками и хлестал кнутом, стояла еще смирно, но близко около нее уже страшно было находиться: может подмять под себя и сокрушить кости.

В конце февраля через штабных писарей мы узнали, что в Петрограде началось восстание. Это подтвердили и приехавшие к нам товарищи. В столице рушился старый строй. Слухи об этом и у нас взволновали народные массы. Наши организации еле сдерживали рабочих и матросов, горевших нетерпением сбросить скорее со своих плеч вековую тяжесть рабства.

Наконец наступила памятная ночь.

Хозяева города приготовились к отпору революции. По распоряжению высшего начальства, всюду по улицам расхаживали патрули. Для защиты арсенала, телеграфа, телефонной станции и других важных учреждений усилили охрану. На каменных стенах порта были поставлены пулеметы. Но и революционеры не зевали. Первым делом мы захватили телефонную станцию и телеграф. Охрана не оказала никакого сопротивления и сдала нам эти учреждения так легко, как будто произошла смена часовых. А когда матросы и рабочие начали

вываливать на улицу, то к ним присоединились все патрульные и часовые.

Здесь не обошлось дело без курьезов. Один из флотских экипажей был мало распропагандирован и считался у нас отсталым. Первая его рота, когда узнала о начавшемся восстании, все же заволновалась. Но не было вожака повести ее на улицу. Матросы долго спорили между собою, как действовать дальше. Одни говорили:

— Ночь. Разве в темноте что-нибудь сделаешь? Надо подождать до утра.

Другие возражали:

— А потом придем на готовенькое, да? За это народ не скажет нам спасибо.

И тут же ставился вопрос:

— Фу, черт возьми! Нам бы революционного начальника. Он бы нам все указал.

Так они галдели, пока кто-то крикнул:

— Дневальный! Что же ты губы развесил? Командуй!

Дневальный оказался парнем бойким и, как умел, подал команду. Рота двинулась на улицу. За ней последовали и другие роты. В экипаже остались только новобранцы. Но немного позже и они вышли на двор и остановились. Издалека доносились выстрелы, крики. Они заперли ворота. Через забор к ним перемахнул старый матрос, человек вспыльчивый и решительный. Он замахал перед новобранцами наганом и заорал истошным голосом:

— А вы, истуканы, что стоите здесь? Для вас особая команда, что ли, будет?

Старый матрос рассвирепел, бросился к новобранцам, а потом скомандовал:

— Немедленно открыть ворота! Выстроиться повзводно.

Это было произнесено таким уверенно повелительным тоном, который не допускал никаких возражений. Новобранцы зашевелились и молча исполнили все, что приказал им старый матрос.

— За мной, шагом — марш!

Раздался равномерный топот ног.

Старый матрос и на улице не переставал командовать:

— Раз, два, три! Левой! Левой! Не жалей ног! Отбивай хорошенько шаг! За свободу, товарищи, идем бороться!



Из некоторых экипажей выбегали матросы с криками «ура», с залихватским посвистом.

Ночное небо, задернутое облаками, было темно. Но улицы, освещенные редкими фонарями, становились все оживленнее. К матросам присоединялись солдаты, рабочие. Лишь часть людей была вооружена винтовками, а остальные ничего не имели. Я закричал:

— К арсеналу! Товарищи, к арсеналу!

Этот крик, подхваченный другими, несся по улице дальше. И людской поток, взбудораженный и словно кем-то подхлестываемый, катился к назначенному месту. Матросы разыскали заведующего арсеналом. Жиденькая седая бороденка на испуганном лице придавала ему такой вид, словно он находился при последнем издыхании. Он сам, дрожа от страха, отпер замок арсенала. Народ хлынул внутрь каменного здания. Ручные гранаты, револьверы, японские винтовки «арисака», патроны — все это лихорадочно, как драгоценность, расхватывали повстанцы. Те, кто успел вооружиться, выбегали из арсенала наружу, а на их место подваливали другие люди. Среди военных и рабочих несколько человек было в больничных халатах и туфлях. Это были матросы, которые вырвались из морского госпиталя, не дожидаясь выздоровления. Заведующий арсеналом, оттесненный в сторону, умолял:

— Братцы, что же это вы делаете? Как же я буду отдавать отчет? Пусть ваш начальник расписку мне даст, сколько и чего взято из арсенала.

Кто-то кричал в ответ:

— Революция, папаша, началась! Если хочешь, она тебе пропишет эту расписку!

Старичок не унимался и, боясь за свою отчетность, настаивал на своем. Наконец он заплакал. Это было настолько нелепо, что люди только смеялись над ним, но никто его не тронул.

Огнестрельное оружие было все разобрано. А в арсенал продолжали вливаться новые люди. Эти, не найдя для себя ничего более подходящего, набрасывались на холодное оружие. Все пошло в ход: бердыши, булавы, секиры, копья, пики, мечи. Нашлись чудаки, которые даже щиты захватили с собой.

Вся эта людская масса ринулась к дому, где жил

сам грозный адмирал Витнер — начальник порта, он же начальник тыла, он же военный губернатор.

Этот человек, как и Гришка Распутин, всегда интересовал меня. Один, бывший конокрад из села Покровское, приблизившись к царскому дворцу, распушился там, словно на перегное, махровым цветком разврата и этим подрывал в народе веру в династию. Другой своим бессердечным отношением к матросам разжигал в них ненависть не только к себе, но и ко всему самодержавному строю.

Я не раз видел адмирала Витнера. Это был обрусевший немец, презиравший все наше отечественное. Вот каким запечатлелся он в моей памяти: среднего роста, поджарый, темный шатен с вьющимися волосами, с закрученными усами на жестком и хорошо сохранившемся лице. Какие данные у него были, чтобы так выдвинуться по службе? Я много понаслышался о всех его делах, знаю и о его прошлом. В молодости он ничем не отличался, был хорошим танцором и дирижировал в Морском собрании танцами. Может быть, он так и остался бы обыкновенным офицером, если бы не случилось в его жизни одно обстоятельство. Он был зачислен в свиту великого князя, сына Александра III, наследника престола Георгия. По болезни Георгий вынужден был переселиться на Кавказ, но это его не спасло — он умер. При нем все время находился молодой Витнер. Царица Мария Федоровна после смерти своего сына навсегда осталась покровительницей этого офицера. Отсюда началась его карьера. Надо отдать ему должное: в Порт-Артуре, командуя крейсером, он делал лихие налеты на японцев. Иначе выявил себя этот человек на военном совете флагманов и командиров кораблей. Был поставлен вопрос о дальнейшей судьбе русской эскадры: оставаться ли ей до конца в Артуре, заблокированной с суши и с моря японцами, и помогать в обороне крепости, или же в последний раз дать решительный бой неприятельскому флоту и пробиваться во Владивосток. Витнер первый высказался за то, чтобы разоружить корабли, а морякам превратиться в сухопутные войска. Через две недели после этого военного совета эскадра все же вышла в море. Произошло сражение с противником. Японцы основательно были побиты и начали уже отступать. И если русскому флоту не удалось прорваться во Владивосток, то в этом было виновато бездарное командование.



Короче говоря, под сенью Марии Федоровны и под ее благословляющей десницей Витнер получал чин за чином. Так он поднялся до командира нашего порта и сравнительно молодым дослужился до полного адмирала. В нем осталась прежняя гимнастическая выправка, но во всей его деятельности не было и намека на флотоводца. Постепенно он превратился в сухого бюрократа. Его мало беспокоило, насколько корабли и матросы подготовлены к защите родины. Но он был до помешательства требователен к внешней выправке, к декоративному блеску. Как администратор, он властвовал и над городом. Его внимание простиралось даже на публичные дома. Он издал в виде небольшой брошюры циркуляр с подробными указаниями, какой должен быть в них порядок, в какие сроки и как должны осматривать публичных женщин. Вот до чего дошел адмирал царского флота!

Но больше всего меня удивляло его отношение к матросам. Он никогда не жил с ними дружно. Одно время он служил старшим офицером на учебном парусно-паровом крейсере, на котором подготовлялись строевые квартирмейстеры. Тогда особенно доставалось от него ученикам. Как гимнаст, он сам бегом поднимался по вантам на марс и салинг, если замечал там что-либо неладное, и на страшной высоте, рискуя свалиться, награждал кого-нибудь пощечинами. Это ухарство доставляло ему большое удовольствие. Бывало с ним и так, что, прогуливаясь по мостику, он вдруг видел какой-нибудь непорядок среди матросов. Тогда он не сбегал по трапу, как это обычно делается, а прыгал с мостика прямо на палубу и набрасывался на виновника.

Говорят, что английские доги, по мере того, как они стареют, становятся все злобнее. Так было и с адмиралом Витнером. Занимая пост командира порта, он с каждым годом все беспощаднее относился к матросам. Они для него были ничто — какая-то тварь, лишенная сердца и разума. Казалось, он жил одним только желанием: унижать их и причинять им как можно больше горя. Если кто попадался ему на глаза, то уже не мог обойтись без наказания. Адмирал обязательно к чему-нибудь придирался и сейчас же определял наказание равнодушно холодным голосом, словно речь шла о том, чтобы выкинуть из ведра мусор за борт.

— Не матрос, а животное. На гауптвахту. На тридцать суток.

Вот почему, когда его белая лошадь, запряженная в пролетку, появлялась на улице, матросы рассыпались в разные стороны. Витнер кричал кучеру: — Стой! — и, не дожидаясь, пока кучер задержит бег коня, адмирал легко спрыгивал с пролетки и мчался за тем или другим матросом. Случалось, что он и через забор перемахивал с таким же проворством, как молодой человек. Задержанному им матросу грозила уже не гауптвахта, а тюрьма.

Словом, если бы кто со стороны посмотрел на эту картину, то мог бы подумать, что в город ворвалась какая-то вражеская сила.

Не меньший трепет испытывали матросы, когда им по делам службы приходилось проходить мимо дома, где проживал начальник порта. Окна этого темно-коричневого здания были снабжены особой зеркальной системой наподобие перископа. Она давала возможность свирепому хозяину, находясь у себя в кабинете, видеть все, что делается на улице. В парадном подъезде часто виднелась плотная фигура старого отставного фельдфебеля в военной форме, с двумя рядами медалей на груди. Против дома, среди улицы, посменно дежурили трое здоровенных городовых. Редкий день проходил без того, чтобы кто-нибудь из нижних чинов не был здесь задержан. Обыкновенно это делалось так: адмирал, заметив в зеркале отражение проходящего по улице матроса, нажимал кнопку. В парадном подъезде раздавался звонок условленного сигнала. Старый фельдфебель или городовой знали, что в таких случаях надо делать, и очередная жертва являлась перед глазами грозного адмирала.

Только одному матросу удалось избежать наказания. Может быть, это был только анекдот, выдуманный досужей фантазией. Но всем хотелось признать его за действительный случай, и всегда об этом рассказывали друг другу с какой-то радостью, как о подвиге.

Дело было летом. Задержанный матрос очутился в кабинете адмирала. Тот осмотрел его со всех сторон — ни к чему нельзя было придраться. Тогда адмирал приказал:

— Покажи подошвы сапог.

Матрос высоко поднял одну ногу.



— Не так. Ложись на спину и задери обе ноги вверх.

Матрос выполнил это приказание.

Адмирал процедил:

— Ага, худые подошвы. Не заботишься, каналья, чтобы вовремя починить их. Пойди к городовому и передай ему мое приказание: пусть он отведет тебя на гауптвахту на двадцать суток.

— Есть, ваше высокопревосходительство.

Матрос вскочил, вышел на улицу и, подойдя к городовому, передал ему:

— Ты, господин хороший, неправильно задержал меня. И за это его высокопревосходительство приказал мне отвести тебя на гауптвахту. Посидишь двадцать суток, клопов покормишь.

Это было сказано с такой смелостью и так внушительно, что городовой побледнел. Со страхом он взглянул на страшный дом. А в этот момент адмирал выглянул в распахнутое окно и, махнув рукой, словно подтверждая слова матроса, крикнул:

— На двадцать суток!

Матрос отвел городового на гауптвахту и сдал его под расписку. Прошло несколько суток, прежде чем адмирал заметил, что на посту у его дома стоит новое лицо. Тут только выяснилось, что произошло. Адмирал рассвирепел и сам объехал все экипажи, разыскивая дерзкого матроса, но все его старания оказались бесполезными.

Это случилось несколько лет назад. С той поры адмирал стал относиться к нижним чинам еще более жестоко. Так ли это было или иначе, но верно то, что он не ограничивался только дисциплинарными взысканиями. За малейшие проступки люди шли под суд. Особенно из-за него страдали те, кто был замешан в политике. Сотни матросов томились по тюрьмам, изнывали на каторге, немало было их расстреляно и повешено.

Проходили годы. В людях нарастала затаенная страсть мести. До сих пор они были так покорны перед своим всесильным повелителем, а теперь они же клокочущей массой скопились около его дома. Ни старого фельдфебеля с орденами, ни городового здесь уже не было. У парадного подъезда одиноко горел электрический фонарь. Казалось, что это мрачное здание, молча-

ливое и без огней, давно покинуто жильцами. А снаружи толпа все разрасталась, ширилась. Слышались возбужденные выкрики:

— Ломай двери!

— Выбивай окна!

Но вдруг парадная дверь распахнулась, и адмирал в зимнем пальто нараспашку, в флотской фуражке сам вышел к народу. Это было для всех настолько неожиданно, что сразу оборвались крики. Люди с удивлением смотрели на адмирала, словно не верили в его появление — не другой ли это кто? Но в свете электрического фонаря четко виднелась знакомая фигура среднего роста, с тремя черными орлами на золотом фоне каждого погона, в нахлобученной фуражке. Лицо его, бритое, с закрученными по-немецки вверх усами, сохраняло прежнее величие, точно он принимал парад. Этот человек был недалекий, но самоуверенный и заносчивый. Очевидно, он все еще думал, что стоит ему только появиться перед людьми, как они моментально оцепенеют от страха. Так, по крайней мере, бывало раньше. Он окинул их взглядом и, придавая своему голосу как можно больше твердости, грозно крикнул:

— Это что за толпа здесь собралась? Что за безобразие такое? Расходись!

Люди молчали и как будто колебались, не зная, что делать. На момент мне показалось, что сейчас все повернутся и, охваченные ужасом, помчатся отсюда. Но никто не двинулся с места. И вдруг, нарушая тишину, раздался чей-то грубо-насмешливый бас:

— Он еще думает командовать нами!

Среди людей началось движение. Задние ряды напирали на передние. Адмирал только теперь понял, что произошло. Те, кто находился к нему ближе, слышали, как он завопил:

— Братцы, дайте мне с женой проститься!

Матросы в ярости бросали ему:

— Твои братья в серых шкурах по лесу бегают!

— Ты, лиходей, не давал никому проститься даже с матерью, когда нашего брата отправлял на виселицу!

Адмирал пытался что-то еще сказать, но, по старому обычаю, его потащили на площадь. И уже никакая сила не могла остановить гнев народа.



## V

Главное у нас все было сделано: захвачены корабли, форты, флотские экипажи и разные казенные учреждения. Везде были организованы революционные комитеты, и всюду развевались красные флаги. Можно было сказать, что во флоте царский строй сломался, как старое весло под напором сильного гребца. Некоторые из начальства еще пытались при помощи этих обломков весла выплыть невредимыми из разбушевавшегося моря революции. Но это было так же безнадежно, как безнадежно остановить наступающую весну. Никакие самые сильные заморозки уже не могут долго задержаться под горячими лучами солнца.

Народ, почувствовав свободу, митинговал день и ночь. Революция пробудила у людей новые мысли. Каждому из противников самодержавия хотелось высказаться, говорить о свободе и что-то делать.

В Петрограде организовалась новая власть из буржуев и их социалистических подпевал. Как и полагается такой власти, она стремилась умерить пыл поднявшегося народа и ограничить размах революции.

В первое утро революции город проснулся раньше обычного. С моря дул сырой ветер. Еще солнце не взошло, а уже никому не хотелось сидеть дома. Матросы, солдаты, портовые и заводские рабочие, их жены и дети шумно заполняли собою улицы и площади. Только прежние заправилы отсиживались в своих квартирах, как в траншеях. Для этих людей наступающий день был полон тревоги. Зато народ ликовал.

В испуге заметались его враги. На одной из улиц возбужденная толпа окружила дом, объятый пламенем и дымом. Это горела охранка. Главные защитники монархии думали огнем очиститься от преступлений против народа. Поджигая архив, они заметали свои кровавые следы. Но впоследствии большинство тайных агентов было переловлено. И кто же, ты думаешь, нам помогал в этом? Незаметная Катя — горничная полицмейстера. Она узнавала жандармов и городовых, переодетых в штатское. Они не страдали на фронтах, а отъедались в тылу и учиняли расправу с мирными жителями, неугодными власти. Много против них накипело в сердце народа.

Мне хочется рассказать тебе главным образом о на-

чальствующем составе. В отношении офицеров не со всеми одинаково поступали. Те, что по-человечески относились к команде, только случайно подвергались оскорблениям. А вообще матросы оберегали их.

А мы все это рассматривали как нечто неизбежное: «Лес рубят — щепки летят». Вешние воды не только ломают лед, но и размывают берега, выворачивают с корнями деревья и сносят иногда целые селения. Для нас главное было, чтобы не сбиваться с пути.

## VI

Куликов рассказывал мне о прошлом, а в это время на корабле жизнь шла своим чередом. Она не могла обойтись без участия командира. К нему приходили люди то с каким-нибудь докладом, то с неотложным вопросом.

Явился в каюту неповоротливый толстяк, старший судовой механик Остроумов. Он был в рабочем синем костюме и, по-видимому, только что поднялся из машинного отделения. По его выбритому лицу струились капли пота. Он вытянулся и неторопливо заговорил баритоном:

— Разрешите, товарищ капитан первого ранга, разобрать воздушный насос. В последнем походе он немного пошаливал.

— Сколько на это уйдет времени? — спросил командир.

— Часов десять — двенадцать.

— Такого разрешения я дать не могу. Это выводит нас из назначенной готовности. А вы находите это совершенно необходимым?

— Да.

— Я вынужден запросить разрешения командующего.

Куликов вырвал из блокнота листок, что-то написал на нем и вызвал вахтенного. Моментально явился в каюту младший командир.

— Срочно передать семафором командующему содержание этой записки,— сказал Куликов.

— Есть,— ответил младший командир и точно повторил всю фразу, произнесенную главою судна.

Когда мы с Куликовым остались вдвоем, он снова вернулся к прошлому.



— В первые дни революции я был очень занят. Нужно было укреплять большевистские организации, проводить своих людей в советы, вести борьбу с другими партиями. Иногда со стороны некоторых темных людей проявлялись хулиганские выходки. Более сознательные матросы и солдаты решительно пресекали их с самого начала. В эти дни некоторые, пользуясь сумятицей, начали заниматься грабежами. Но они ошиблись: мы расправлялись с ними беспощадно.

Словом, работы хватало. В то же время я очень хотел встретиться с вице-адмиралом Железновым. У меня было к нему особое дело. Я запросил о нем телеграммой революционный комитет того отряда судов, каким он командовал. Товарищи ответили мне, что за несколько часов до восстания адмирал покинул свой флагманский корабль и неизвестно где находится. Семья его жила в нашем приморском городе. Я давно интересовался ею, имея на это основательные причины. Захватив с собою трех матросов, я отправился к адмиралу на квартиру. В числе матросов был и старший боцман Кудинов.

Только вчера мне удалось узнать, как этот человек очутился в первых рядах революции. Я плавал с ним на броненосце «Святослав». Он был настоящий моряк. Казалось, что без моря и корабля ему так же трудно жить, как водоросли без воды. На броненосце «Святослав» он прослужил старшим боцманом много лет. С командой у него установились своеобразные отношения: с виновниками он расправлялся самолично, но никогда не подводил их под ответ перед начальством.

Однажды при новом командире за какой-то пустяк хотели отдать под суд матроса. Боцман заступился за него. Командир рассвирепел и сместил его в младшие боцманы. С этого момента он почувствовал, как растет в нем ненависть к начальству. А во время империалистической войны он был обижен еще больше: его снизили до боцманмата и списали с броненосца на тральщик «Окунь». Кудинов и проплавал на нем около двух лет. Все шло благополучно. А потом врезался в его жизнь такой день, который никогда им не забудется.

«Окунь» вместе с другими тральщиками вылавливал в море мины заграждения, расставленные немцами. Сентябрьский ветер развел порядочную волну. Было холодно. Кудинов распоряжался работами на верхней па-

лубе. Одет он был в капковую куртку, заменявшую в случае несчастья спасательный круг, а ноги его были босы и покраснели, как сурик. Он решил обуться. По его приказанию матрос принес ему сапоги. Он перешел на бак, уселся на свернутый брезент и начал спешно обуваться. Ему удалось надеть один сапог, а когда он потянулся за вторым, раздался страшный взрыв. Вся носовая часть «Окуня», напоровшегося на подводную мину, была оторвана. В несколько секунд тральщик исчез с поверхности моря. Вместе с тральщиком пошли ко дну вся машинная команда и те строевые матросы, которые находились внутри судна. Часть команды была убита. Только с верхней кормовой палубы несколько человек успели спрыгнуть за борт. Командира и штурмана сбросило газами с мостика. Сейчас же с других тральщиков были спущены шлюпки. Они подошли к месту катастрофы и начали вылавливать в море людей. Спасенных оказалось немного, и среди них не было Кудинова. Вдруг далеко в стороне услышали отчаянный крик. Одна из шлюпок направилась на этот крик. Вскоре гребцы увидели Кудинова. Его выкатившиеся из орбит глаза на искаженном лице как будто не замечали приближавшихся к нему спасителей. Барахтаясь в волнах, он крутился на одном месте и ревел, как сирена. А когда его подняли на шлюпку, он вдруг замолчал и, взглянув на свои ноги, неожиданно спросил:

— А где мой второй сапог?

Выходило так, как будто эта мысль во время взрыва застряла у него в мозгу. С нею Кудинов высоко полетел наискосок в небо. Потом он на какую-то долю секунды остановился и упал в море. Капковая куртка не дала ему опуститься до дна. Он штопором стал всплывать на поверхность моря. И только после того, как его подняли, он смог выразить свою мысль вслух.

После гибели «Окуня» Кудинов был награжден Георгиевским крестом и произведен в боцманы. Вскоре он получил назначение на крейсер первого ранга. А затянувшаяся война расширила и углубила его взгляды на жизнь. Соприкоснувшись с революционными матросами и познакомившись с нелегальной литературой, он превратился в революционера.

Я приблизил его к себе, потому что никого он так не слушался, как меня. Человек он был надежный — не выдаст ни при каких обстоятельствах.



И теперь он шагал с нами к адмиралу. Мои товарищи были в военной форме и вооружены винтовками, а я имел в кармане браунинг и, как рабочий, был одет в штатский костюм. На квартире мы застали лишь жену адмирала, высокую и плоскую, как доска, женщину с рыжими локонами, с белесыми глазами. При виде нас она испуганно отшатнулась. Мы пошли в зал. Старый боцман, заметив на стене портрет царя Николая Второго, уставился на хозяйку и засопел, раздувая щеки. Лицо его с перебитой переносицей приняло еще более свирепое выражение, чем обычно. Вдруг он закричал:

— А, здесь в почете наш главный враг! — и направил штык на портрет.

Мадам Железнова ахнула и упала в обморок. Кудинов, недолго думая, вылил на нее целую кастрюлю холодной воды. Она очнулась. Платье на ней было мокро, рыжие волосы на голове слиплись, и вся она имела жалкий вид. От нее, дрожащей и посиневшей, мы ничего не добились путного.

Мы обошли все комнаты. Адмирала не было. В кабинете на письменном столе мне попалась фотографическая карточка с изображением Железнова, когда он был еще безусым гардемарином. Неожиданная мысль мелькнула в моей голове. Я сунул фотографию в карман. В квартиру вошел швейцар, пожилой человек, в ливрее с золотыми позументами. Кудинов заорал:

— Говори, где адмирал?

Тот, выкатив в испуге глаза, клялся всеми святыми, что ничего о нем знать не знает.

Так мы и ушли ни с чем. Но по дороге нас догнал сынишка швейцара лет восьми, веснушчатый и курносый мальчик. Он таинственно заговорил с нами:

— Дяденьки матросы, а я знаю, где адмирал.

Нам известно было, что для детей революция превратилась в небывалую радость. Они носились по городу с одного конца на другой, указывали матросам, где скрываются жандармы, городовые. Вообще в таких случаях дети являлись первыми помощниками взрослых.

Мы сразу остановились перед сыном швейцара.

— А ты откуда знаешь?

— Тятенька маменьке говорил, а я лежал в кровати и все слышал. Адмирал спрятался у инженера Иванова.

От мальчика мы узнали, на каком корабле служит

Иванов. Это был старший судовой механик, известный нам как передовой человек. Машинисты и кочегары даже выдвигали его кандидатуру в члены корабельного революционного комитета.

Мальчик указал нам адрес инженера и попросил нас:

— Только ничего не говорите обо мне тятеньке. А то достанется мне на орехи. Ох, и сердитый он!

Кудинов дал ему пустой патрон от винтовки. Мальчик запрыгал от восторга и помчался от нас во всю прыть.

Было около полудня, когда мы вошли в квартиру инженера-механика Иванова. Хозяин встретил нас в прихожей и очень растерялся, увидев перед собою вооруженных матросов. Я спросил:

— У вас в квартире никто из посторонних не скрывается?

— Нет,— неуверенно ответил Иванов.

— Соврете — плохо будет всем,— предупредил боцман Кудинов, глядя на него в упор из-под козырька флотской фуражки.

Инженер вздрогнул, провел ладонью по глазам, точно смахивал с них паутину, и залепетал:

— Зачем же, товарищи, я буду врать вам? В гостях у меня сидит один человек. Это мой приятель.

— Кто? — спросил я.

— Виктор Григорьевич Железнов.

Инженер не прибавил к названной фамилии чина.

Меня охватило такое волнение, точно я сделал важное открытие. Мы двинулись вперед. Адмирал Железнов сидел за столом среди членов чужой семьи, одетый в штатский костюм. Он нисколько не смутился, как будто ждал нашего прихода. Я сказал:

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Здравствуйте,— без всякого заискивания и даже с некоторой строгостью ответил адмирал. Это мне понравилось, как понравилось и то, что на его лице с острой посеребренной бородкой я не заметил никакой перемены. Я заговорил:

— Ради чего вы вздумали нарядиться в гражданский костюм?

— Я полагаю, что от этого революция нисколько не пострадает.

— Совершенно верно, ваше превосходительство.



Плохо только то, что это связано с другим делом: вы самовольно покинули свой отряд.

Адмирал и на этот раз нашелся:

— Там мне больше нечего делать. Я откомандовал. Теперь вы покомандуйте.

— Жаль, что вы так смотрите. Лучшие офицеры все-таки остались на своих местах. Вы, как хороший морской специалист, могли бы принести для нашей обновленной родины большую пользу.

Адмирал промолчал.

— Ну, что же? Придется вам, ваше превосходительство, прогуляться с нами.

— Да, по-видимому, придется.

Адмирал решительно встал, поблагодарил хозяйку, распрощался со всеми и вышел в прихожую. Меня удивило, с какой быстротой на нем очутилось штатское зимнее пальто и каракулевая шапка. Получалось так, как будто он торопился по срочным делам службы. Внизу, в подъезде, я отозвал боцмана Кудинова в сторону и наказал ему, какие поручения он должен выполнить вместе с товарищами. Он нахмурился и, показывая глазами на адмирала, недовольно пробурчал:

— А как же с ним-то?

— Я беру его на свою ответственность.

Боцман с товарищами пошли в одну сторону, а мы с адмиралом — в другую. Я жил в рабочем квартале. Квартира у меня была полуподвальная и состояла из двух небольших комнат и кухни. Но все в ней, благодаря моей жене, было аккуратно размещено и чисто убрано. Я извинился перед Железновым:

— Вы уж простите, ваше превосходительство, что приходится вас принимать в такой непривычной для вас квартире. Вы, вероятно, первый раз в жизни попадаете в рабочую семью. Но я думаю, что в данное время здесь вы будете чувствовать себя лучше, чем в роскошных хоромах. По крайней мере вас никто не будет беспокоить.

— Благодарю вас за заботу обо мне, но я не знаю, чем это все вызвано,— отчеканил адмирал.

Я представил ему свою жену:

— Это моя подруга жизни Валя, а это наш адмирал Виктор Григорьевич Железнов.

Моя жена не знала моего замысла и с удивлением взглянула на меня, а потом на гостя. Она никак не мог-

ла понять, зачем я в такое кипучее время привел к себе адмирала. Но она верила в мою честность и приветливо улыбнулась ему. А тот скорее по привычке, чем по долгу вежливости, расшаркался перед нею, как перед барыней, и, подавая руку, проговорил обычную фразу:

— Очень приятно.

Я убедился, что адмирал не узнал своей дочери. Он видел ее всего лишь один раз после того, как она родилась от его горничной. Скорее всего он даже забыл о ее существовании. А Валя, как «незаконнорожденная», вообще не знала, кто у нее отец.

По моему поручению жена побежала в магазин купить закуски. Мы сели у стола. Со мною осталась моя четырехлетняя дочка Надя, сероглазая и на редкость ласковая девочка.

Железнов внешне держался спокойно, но во взгляде его черных глаз просвечивала тревога, как у человека, ожидающего решения своей судьбы. По-видимому, он терялся в догадках, а я старался держаться с ним вежливо и намеренно величал его «ваше превосходительство». Кое-как разговорились. Только теперь адмирал справился о моем имени и отчестве и стал называть меня Захар Петрович. Я напомнил ему, как мы когда-то плавали вместе на эскадре и как он был у нас на корабле «Святослав», чтобы разобрать дело графа «Пять холодных сосисок». Адмирал повеселел, узнав, что я бывший моряк. Но сейчас же настроение его изменилось, когда я рассказал ему об одном случае: в этот же его приезд к нам на судно командирский вестовой невзначай хлопнул его дверьми по лбу и за это был наказан.

— Это я тогда причинил вам такую неприятность.

— Вот неожиданная встреча! — воскликнул он, пытаясь улыбнуться, но его извилистые и тонкие губы неестественно скривились. Может быть, в этот момент он понял меня так, что я привожу причины для расправы с ним.

Пришлось его успокоить:

— Я тогда думал, что вы засадите меня в тюрьму. Другой адмирал на вашем месте так бы и поступил. Но вы дали мне пустяковое наказание — пять суток карцера. Я вам за это до сих пор благодарен.

Адмирал улыбнулся.



— Да, ваше превосходительство, было время, когда моя судьба всецело находилась в ваших руках. Вы могли меня, как и каждого из матросов, посадить в тюрьму, сослать на каторгу. Больше того,— вы могли отдать меня под суд и расстрелять. Вы пользовались почти неограниченными правами. Но все же для того, чтобы стереть меня с лица земли, вам пришлось бы подвести какую-нибудь формальность и начать судебный процесс. А теперь коренным образом все изменилось.

Я спохватился, что напрасно сказал это, но уже было поздно. Адмирал оказался человеком самолюбивым, с достоинством. Его черные брови упрямо надвинулись на глаза. Он встал и заявил:

— Я вижу, что вы меня завели к себе на квартиру, чтобы сначала потешиться надо мною, а потом уничтожить меня. Если вам хочется иметь лишнюю жертву, то пожалуйста — моя жизнь в вашем распоряжении.

Я возразил ему:

— Вовсе я этого не хочу. Наоборот, на квартире у меня вы ограждены от всяких случайностей. И не для того мы делаем революцию, чтобы расстреливать всех офицеров направо и налево. Словом, садитесь или, выражаясь по-морскому, отдайте якорь и чувствуйте себя, как в надежной гавани.

Адмирал грузно опустился на стул. Заметно было, что ему стало неловко за свою горячность. Мы разговорились о покойном капитане первого ранга Лезвине, у которого я служил вестовым. Адмирал высказался о нем как о выдающемся командире, но считает его диким и мрачным человеком.

Я наблюдал за адмиралом. Казалось, он с трудом произносил слова, обращаясь ко мне и называя меня по имени и отчеству. В то же время он как будто и не верил, что в прошлом я был только вестовым. А когда мы коснулись нашего флота, я еще больше стал для него загадкой. Я стал критиковать русскую морскую тактику и для подтверждения своих мыслей привел мнения знаменитых флотоводцев — Ушакова, Сенявина, Нельсона, Сюффрена. Время от времени я вставлял английские фразы. Наконец адмирал не выдержал и спросил:

— Где вы учились?

— Вот за этим столом, за каким вы сидите. Школа для нас была недоступна. А во время флотской службы

я учился за двойным бортом. Ведь вы не разрешили бы нам приобретать знания открыто? Это считалось бы государственным преступлением. Только капитан первого ранга Лезвин знал, что я занимаюсь самообразованием, и даже снабжал меня учебниками. Но таких офицеров во флоте было мало.

Адмирал сконфузился и опустил глаза.

— А где вы усвоили английский язык?

— После военной службы я много плавал на английских коммерческих судах.

Вернулась моя жена, принесла закуски. Я сказал ей, чтобы она накрыла на стол и приготовила нам чай. Когда она вышла на кухню, я обратился к адмиралу:

— Ну, как вам нравится моя вторая половина?

В это время мимо окна проходила демонстрация. До нас доносились песни, выкрики. Где-то раздались выстрелы. В такой момент мой вопрос, вероятно, показался адмиралу диким, но все же он ответил:

— Очень симпатичная у вас жена.

Я как будто не слышал демонстрации и продолжал разговаривать на мирную семейную тему:

— Да, я очень доволен ею. Много горя она перенесла со мною. Я сошелся с нею, когда служил вестовым у капитана первого ранга Лезвина. Вскоре я ушел в длительное плавание, скитался в заграничных водах. Это плавание, как вам известно, закончилось под вашим командованием. Вы тогда прибыли к нам на место уволенного адмирала Вислоухова. Валя без меня родила мне сына. До этого она служила в одной конторе машинисткой. На время она вынуждена была оставить работу. Вот тут-то и свалились на нее мучения. Помочь ей материально, будучи сам только вестовым, я много не мог. Да спасибо моей теще. Добрая старушка все делала, чтобы поддержать свою дочь. Но ничего. Кое-как мы выкрутились из тяжелого положения. Наша любовь не угасла до сих пор. Судьба связала нас морским узлом, и, кроме смерти, никто его не развяжет. Сыну пошел четырнадцатый год. Мечтает стать моряком. А тут еще дочка подрастает.

Пока мы с адмиралом разговаривали, Надя крутилась около нас. Она болтала сама с собою, иногда задавала мне разные вопросы. Ее интересовало, почему это на улице люди так кричат и в кого они стреляют. Трудно было отделаться от ее любознательности. Потом



она неожиданно объявила мне, обсасывая мармеладную конфетку, полученную от матери:

— Папа, я люблю этого дедушку. У него глазки хорошие, как у мамы.

И полезла к нему на колени. Это так обрадовало адмирала, что он обнял ее и прижал к себе. Она потрогала его бороду, поцеловала в лоб. Он спросил:

— Ты любишь конфеты?

— Люблю,— радостно ответила Надя.

— А они тебя любят?

Девочка была озадачена таким вопросом. Она задумалась, отвернувшись от адмирала. И сразу же лицо ее расплылось в торжествующей улыбке. Нашлось решение:

— У них рота нет.

Я расхохотался. Засмеялся и адмирал.

— Пра́вильно, Наденька, ответила ты,— сказал он и ласково погладил ей головку.— Я тебе за это принесу самых вкусных конфет.

В комнату вбежал мой сын Петя. Щеки его разрумянились, глаза блестели. Надя, увидев брата, спрыгнула с колен адмирала, захлопала в ладоши и радостно залепетала:

— Петя, а у нас хороший дедушка сидит. Он обещал мне самых вкусных конфет.

Но Петя не слушал ее. Он только мельком взглянул на гостя и, возбужденный, начал торопливо рассказывать мне звенящим альтом:

— Папа, что́ на улице делается! Городовых уводят под конвоем в тюрьму. И какие митинги происходят! И матросы, и солдаты, и рабочие все говорят и говорят.

Адмирал, широко раскрыв глаза, смотрел на моего сына, как на страшного вестника, а тот продолжал:

— Папа, ведь это так же, как во Франции было. Тогда самому королю голову отрубили. Нашему царю, наверно, тоже достанется.

— Конечно, достанется.

— А в порту, говорят, что делается! Я побегу туда.

Тут вступилась мать и в тревоге закричала на сына:

— Не смей ходить! Хочешь, чтобы и тебя убили? Сиди дома.

— Мама, детей совсем никто не трогает. Ей-богу. Только Гришка, внук клепальщика Быстрова, наподда-

вал кулаком одному мальчику и назвал его буржуем. Но матросы запретили Гришке драться.

Я сказал жене:

— Не удерживай его, Валя. Пусть идет и запоминает все, что увидит и услышит. Революции не часто бывают.

Сын обрадовался и выбежал из комнаты.

Я посмотрел на адмирала. Он помрачнел и закусил нижнюю губу.

И только теперь вырвалось у него слово, скрывавшееся в душе:

— Ужас!

Я поддакнул ему:

— Да, ваше превосходительство, как говорит Беранже, революция — это вам не графиня в перчатках.

И сейчас же я умышленно заговорил о своем сыне:

— Славный у меня мальчик. Правда, очень отчаянный, но зато учится замечательно. Все время по всем предметам идет в школе первым учеником. Кругом — на пятерки.

Чтобы адмирал не подумал, что это только отзыв восторженного отца о своем сыне, я показал ему школьные отметки. Он рассеянно взглянул на них и сказал:

— Прекрасно, прекрасно...

— Кроме того, Петя много читает. Книги он поглощает в невероятном количестве. Вы только взгляните на его книжную полку. Тут найдете и по естественным наукам, и по истории, и классическую литературу. Он любит, чтобы хорошие книги были у него на полке. Я разорился с ним на этом деле.

Адмирал приободрился. По-видимому, его тревожные думы на время оторвались от революции. Он стал внимательнее относиться к моим словам.

— Ваш сын производит приятное впечатление. Живой и развитой мальчик. Для родителей это большая радость.

— У него, ваше превосходительство, дедушка по матери выдающийся человек. Как видно, внук в него пошел. Да он и похож на него. Дедушка должен гордиться таким внуком.

— Кто же у него дедушка?

— Важный пост занимает и получает большое жалованье. Но внучатами своими он совсем не интересуется. Хоть пришел бы и посмотрел на своих отпрысков.



Адмирал решил посочувствовать мне:

— Судя по вашим словам, этот дедушка имеет черствое сердце.

Я возразил:

— Может быть, сам по себе не такой уж он плохой человек, но получается нехорошо. А почему? Вся жизнь у нас так перекручена, что некоторые потеряли всякое понятие о настоящей чести. Вот что скверно.

Валя хлопотала около стола: подала хлеб, ревельские кильки, колбасу, сыр, вареные яйца и поставила бутылку рома.

— Я думаю, что вы сначала закусите, а потом уже будете пить чай,— сказала она и пошла на кухню.

Я направился за нею и наказал ей, чтобы она вместе с девочкой пошла на время к знакомым. Она так и поступила.

Вернувшись к столу, я откупорил бутылку и стал разливать по рюмкам ром.

— Давно приобрел эту благодать с одного иностранного коммерческого судна и все берег для какого-нибудь торжественного дня. Этот день наступил. Для вас, ваше превосходительство, может быть, он и неприемлем. Но я встречаю революцию, как самый величайший праздник.

— Нет, зачем же. Я тоже не против революции, ибо самодержавие привело нашу родину в тупик. Но я никак не предполагал, что изменение государственного строя выльется в такие формы.

Адмирал осушил большую рюмку и похвалил качество рома.

— Не стесняйтесь, ваше превосходительство, закусывайте. Чем богаты, тем и рады.

— Спасибо. Я начинаю понимать, что попал в надежные руки.

— Насчет надежности рук вы не ошиблись.

Мы выпивали и закусывали, как два давних приятеля. Говорили о чем угодно, но только не о революции.

После ухода жены двери в коридор оставались незапертыми. Вдруг показался в них боцман Кудинов. Обращаясь ко мне, он сказал:

— Разрешите, товарищ начальник, войти.

— Войдите.

Кудинов шагнул вперед, вытянулся по-военному и отрапортовал мне:

— Ваше распоряжение, товарищ начальник, мы выполнили в точности.

— Хорошо. Иди в ревком и передай товарищам, что я скоро буду там.

— Есть! — сухо отрезал Кудинов и, покосившись на адмирала, вышел из комнаты.

Адмирал с иронией заметил:

— У вас тоже дисциплина.

— Без этого нельзя выполнить ни одного дела.

Впервые в присутствии адмирала нижний чин посмел обратиться за разрешением не к нему, а ко мне, бывшему вестовому. Сдержанный адмирал больше ничего не сказал. Но я представлял себе, какой горечью это отозвалось в его душе.

Наконец я решил приступить к тому, что больше всего волновало меня:

— Ваше превосходительство, я хочу поговорить с вами об одном деле. Только давайте условимся: будем при этом откровенны, как и подобает мужественным и честным людям.

— Откровенность — это самая благородная черта в людях. Пожалуйста, я вас слушаю,— сказал адмирал и, ожидая что-то необыкновенное, весь напрягся.

— У вас жила горничной одна особа — Настасья Алексеевна Кашинцева. Помните?

— У меня их много жило. Разве всех упомнишь.

Я вытащил из кармана бережно сложенную бумажку и развернул ее.

— Это было давно, ваше превосходительство. Вы тогда были молоды и находились в чине капитана второго ранга. В этой вот бумажке вы дали Настасье Алексеевне чрезвычайно лестную рекомендацию. По вашим словам, ваша горничная отличалась исключительной честностью и трудолюбием. Взгляните — это вы писали?

Железнов внимательно посмотрел на строки, написанные его рукой. Чернила на бумаге успели полинять. Он что-то вспомнил, вдруг заволновался и тихо промолвил:

— Да, это моя рука. А дальше что?

— Ничего особенного. Кашинцева — моя родственница. Это была действительно самая добросовестная женщина, каких редко можно встретить.



— Была, а теперь?

Адмирал пытливо посмотрел мне в лицо. Я выдержал его взгляд и не сразу ответил:

— В прошлом году с нею случилось несчастье: в Петербурге на нее налетел автомобиль. На второй день она умерла. Я похоронил ее на столичном кладбище.

— Печально,— едва слышно промолвил адмирал и уныло облокотился на стол.

— Через Настасью Алексеевну я знаю всю вашу жизнь. Ваша жена родом из аристократической среды. Хотя родители ее давно прогорели, но это не мешало ей держаться гордо и всеми повелевать. Она родила вам сына и дочь. Ваши дети получили прекрасное воспитание. Мне известно, что вы человек небогатый, живете только на одно жалованье, но для них вы не скупились: нанимали гувернеров и гувернанток. Ваша дочь вышла замуж за профессора. А сын, капитан второго ранга, служил до переворота старшим офицером на крейсере. Не так ли?

— Верно,— согласился адмирал нехотя, как будто речь шла о чем-то ему неприятном.— Но я не понимаю, к чему ведете вы этот разговор?

— Сейчас поймете. Ваш сын при перевороте на судне убил из револьвера матроса и ранил двоих. Конечно, его тоже не пощадили. Известно ли это вам?

Адмирал поморщился, отвернулся в сторону и сквозь зубы процедил:

— Нет, об этом я впервые слышу.

Нетрудно было заметить, что мое сообщение не произвело на него особого впечатления. Даже обладая сильным характером, он, как отец, узнавший о потере сына, должен был воспринять эту страшную новость как-то иначе. Значит, то, что говорила о его детях моя покойная теща, было верно — они только официально считались его детьми. И сам он в этом, по-видимому, не сомневался.

Я продолжал:

— Простите, ваше превосходительство, что я огорчил вас мрачной новостью. Но она здесь между прочим. Главное заключается в другом.

— После того как я узнал о трагической гибели своего сына, есть еще что-то главное?

— Да, да, ваше превосходительство. И это главное может превратиться в вашу радость. Все зависит от

того, как вы воспринимаете жизнь. Мы с вами условились быть откровенными. Забудьте на время, что вы адмирал, а я — бывший вестовой. Оба мы взрослые люди и поэтому не будем дрейфить перед правдой, хотя бы она была самой жестокой и острой.

Адмирал повернулся ко мне, тревожно поднял брови, словно в ожидании удара.

— А теперь разрешите сказать вам одной русской пословицей: ваши дети вышли ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца. Они не вашей крови. Настоящие их отцы где-то гуляют и, как говорится, в ус себе не дуют. Всю заботу о воспитании своих детей они предоставили вам, а сами иногда, вероятно, посмеивались и посмеиваются над вашей простотой. Об этом вы знаете лучше меня. Но признать открыто этот факт вам будет очень тяжело.

По самолюбию мужчины был нанесен удар с такой силой, что тонкие губы адмирала задергались, на лбу вздулись вены. Задыхаясь, он сидел на стуле неподвижно, словно пригвожденный к нему, и сверлил меня черными глазами. Вероятно, я показался ему самым наглым человеком, позволяющим вторгаться в его частную жизнь... Если бы в этот момент вернули ему прежнюю власть, то он без всякой жалости раздавил бы меня, как мокрицу. Казалось, прошло несколько минут, прежде чем я услышал в тишине комнаты хриплый голос:

— Вы можете поступить со мною, как вам угодно, но я прошу вас не касаться интимной стороны моей жизни. Зачем вам нужно оскорблять честь моего дома? Разве это имеет какое-либо отношение лично к вам или к революции?

Сердце у меня закипело, и я сказал резко:

— Да, ваше превосходительство, косвенно имеет. Я вам докажу это. Но предварительно разрешите показать вам маленький фокус.

Не дожидаясь его согласия, я вышел в другую комнату. Там на стене висела небольшая фотография моей жены. Я взял эту фотографию и достал из кармана фотографию Железнова. Минутным делом было для меня приготовить ножницами два куска белой бумаги, размером той и другой карточки. На каждом листочке бумаги я вырезал отверстие только для лица. Вернувшись к столу, я положил на него фотографию безусого гардемарина Железнова, прикрытую бумагой, и спросил:



— Узнаете, ваше превосходительство?

Адмирал все еще не пришел в себя, однако взглянул на свое изображение и, не задумавшись, ответил:

— Это я.

То же самое я проделал и с другой фотографией.

— А это кто?

— Это тоже я.

— Вот когда вы ошиблись, ваше превосходительство. Это не вы, а продолжение вашего я.

С последними словами я снял бумажки с обеих фотографий. Адмирал очумело смотрел то на свое изображение, то на изображение моей жены. Его удивлению не было границ, словно он увидел чудо.

— Признайтесь, ваше превосходительство, что фокус мне удался. Вы узнали свою дочь, которую родила вам люби́мая ваша горничная Настасья Алексеевна. Надеюсь, что теперь для вас все стало ясно: вы — мой тесть, а я — зять. Мои дети, которые вам так понравились,— это отпрыски от вашего корня.

Адмирал был ошеломлен. Я думаю, если бы матросы поставили его перед жерлом заряженной пушки, то и в таком положении он не был бы так потрясен, как теперь. К смерти он был подготовлен, и я уверен, что он как гордый человек принял бы ее храбро, не прося помилования. Не то было здесь. Здесь вывернули ему душу и вскрыли в ней самое сокровенное, что с болезненным самолюбием он столько лет таил от людей, здесь объявилась его дочь, народившая ему великолепных внучат. До сих пор он жил в чужой семье, заботился о ней, исполняя роль отца. И у него не хватало мужества покончить с такой фальшью. А в это время его родная семья, о которой он никогда не думал, ютилась по сырым подвалам. Может быть, адмирал переживал не то, что я ему приписываю. Но он производил впечатление человека, внезапно сшибленного налетевшей на него подводой. Смятый, он сразу лишился твердости духа, глаза у него затуманились, лицо приняло бессмысленное выражение. Он потер лоб и тихо простонал:

— Что это — явь или сон?

— Это суровая действительность, ваше превосходительство.

Адмирал вдруг оживился и почти приказал мне:

— Налейте мне рому!

Руки его дрожали, когда он поднял рюмку. Он опрокинул ее в рот и, не закусывая, заговорил:

— Логично все подстроено. Вам только бы следователем быть. Выходит, что у меня черствое сердце. Ну, что же, может быть, это и верно.

— Не вы, а весь наш социальный строй пропитан черствостью и подлостью. А теперь разрешите поставить перед вами еще один вопрос, и разговоры наши будут закончены.

— Еще один вопрос? — испугался адмирал.— На сегодня не слишком ли это будет много?

— Скажите, ваше превосходительство, откровенно: с кем вы пойдете — с нами или с теми, где вас всю жизнь обманывали? Решайте. Вы — свободный человек. Можете хоть сейчас пойти куда вам угодно. Для команды вы были неплохой начальник. Тем легче мне обеспечить вас от всяких неприятностей. Вас никто не тронет, пока вы не пойдете против восставшего народа.

— Вопрос задали вы серьезный. Надо будет подумать.

— На всякий случай советую вам остаться здесь, пока не установится революционный порядок.

Я ушел по делам и вернулся домой поздно. Дети мои уже спали. Адмирал и моя жена сидели за столом и пили чай. По их лицам я догадался, что между ними произошло объяснение. После Валя рассказывала мне, как он плакал и вымаливал у нее прощение. Отец давал клятву дочери, что с этого дня для него начнется новая жизнь. И Валя не только простила его, но и обрадовалась, что у нее теперь есть отец. Очевидно, она в душе мучилась отсутствием его, хотя и ни разу не заикнулась мне об этом.

На второй день, в сопровождении назначенной мною охраны, адмирал ходил к себе на квартиру. Пробыл он там недолго и, вернувшись, заявил мне:

— Все кончено. Жена услышала от меня такие слова о себе, какие ей никто еще не говорил до сих пор. Сегодня же она уезжает в Петроград.

И, глядя мне прямо в глаза, он твердо добавил:

— В моей душе, как и в государстве, тоже произошел переворот. Я буду служить народу. Передайте, Захар Петрович, кому нужно, что моя жизнь — в его распоряжении.

Адмирал Железнов крепко пожал мне руку.



## VII

Командир встал, приблизился к борту и выглянул в иллюминатор, как будто его заинтересовала погода. Но тут же он вернулся к столу и что-то записал в блокнот. В это время, постучав предварительно в дверь, вошел в каюту старший артиллерист Судаков. Рябоватое лицо его было чем-то озабочено.

— Разрешите, товарищ капитан первого ранга, доложить.

— Я слушаю вас,— ответил командир, устремив свой взгляд на старшего артиллериста.

— От порта отходит баржа с практическими боеприпасами для нас. Прошу разрешения произвести погрузку в соответствующие погреба.

— Хорошо, грузите. Не забудьте о случае на «Полтаве».

— Есть. Все необходимые меры предосторожности будут соблюдены.

Судаков вышел, и командир снова повернулся ко мне.

— Хотя я уверен в нашем артиллеристе, но не мешает лишний раз напомнить о мерах предосторожности. Очень серьезное это дело — погрузка боеприпасов.

Я спросил о случае на «Полтаве».

— Там во время погрузки упал в погреб полузаряд и воспламенился. А в нем, как ты, наверно, помнишь, четыре пуда бездымного пороха. Кораблю и его экипажу угрожала гибель. И только благодаря исключительной отваге смельчаков пожар удалось погасить. Все же три человека сгорели. Бывает же так, когда о несчастье можно сказать: счастливо отделались.

Мне неоднократно приходилось присутствовать при погрузке боеприпасов. Не выходя из каюты, я знал, что делается сейчас наверху. Прежде всего проверяется прочность стропов и стальных сеток, с помощью которых будут подниматься на судно снаряды и полузаряды для тяжелой артиллерии, а также патроны для малокалиберных пушек. Противопожарные средства должны быть в полной готовности к действию: разносятся шланги, становятся на клапанах затопления и орошения погребов трюмные машинисты. Около загрузочных люков расстилаются брезенты и маты, чтобы смягчить удар случайно упавшего снаряда. Во время такой операции

всей верхней палубой распоряжается старший артиллерист, и все подчиняются ему.

Я вспомнил рассказы Куликова о некоторых его соплавателях и попросил командира рассказать мне о дальнейшей их судьбе. Он посмотрел на часы и на минуту задумался.

— Не о моих соплавателях, и о гражданской войне нужно было бы рассказать тебе, но сегодня я не успею этого сделать. А годы гражданской войны были самыми напряженными и самыми яркими в моей жизни. Да, о них есть что порассказать!.. Этим мы займемся на днях, а сейчас послушай об одной моей встрече с человеком, хорошо знакомым тебе по прежним моим рассказам.

— Сказано: гора с горой не сойдется, а человек с человеком может сойтись. Так случилось и у меня. Я давно решил остаться моряком навсегда. А гражданская война еще больше укрепила меня в этом решении. Море и корабли вросли в мою душу, как деревья в землю. Но мне нужно было хорошенько подковать себя в военно-морском деле, чтобы потом никакая гололедица не пугала меня. Подал я заявление в Военно-морское училище с просьбой зачислить меня слушателем. Сначала преподаватели отнеслись ко мне недоверчиво. А потом, во время экзамена, убедились, что по общеобразовательным предметам я уже не так плохо понимаю.

Учение мне давалось легко. До революции я много скитался по морям и океанам под разными широтами. Плавая на коммерческих судах, в каких только портах я не побывал! Входы в них, как и все маяки, я знаю почти наизусть. По части военных кораблей я много усвоил от боцмана Кудинова и от покойного командира нашего броненосца капитана первого ранга Лезвина. Я всегда с благодарностью вспоминаю о них. Да и гражданская война не прошла для меня даром. По тактике и стратегии я практически приобрел знания. Кроме того, гражданская война научила меня, как командира, познавать душу своих подчиненных и поднимать в них доблесть. Словом, ко времени поступления в Военно-морское училище жизнь настолько подготовила меня, что я покатился вперед, к намеченной цели, словно на велосипеде по ровному асфальту.

Я поселился на Васильевском острове, чтобы было ближе ходить в училище. Квартира когда-то была богатая. В десяти комнатах жила одна семья какого-то морского офицера, но она сбежала от революции. После нее в этой квартире поселилось семь семейств: рабочие, военные и служащие. Из прежней обстановки осталось лишь кое-что: у кого — славянский шкаф, у кого — трюмо, у кого — стол из красного дерева. Я со своими домочадцами поселился в двух комнатах. К этому моменту моему сыну было девятнадцать лет. Он был хорошим комсомольцем и работал на судостроительном заводе. Кстати сказать, он потом тоже поступил в Военно-морское училище и успешно его закончил. Теперь я не без гордости смотрю на своего сына: он служит на другом военном корабле в звании капитана второго ранга. Но вернусь назад.

Время было тяжелое. После мировой войны, а затем — гражданской в наследство советской власти досталась разоренная страна. Все обитатели нашей квартиры кормились пайками, жили впроголодь и в холоде. Некоторые малодушные люди отчаивались и думали, что они уже никогда больше не увидят белых булок.

В первый же день, как только я вселился в новую квартиру, до моего слуха донесся из соседней комнаты сердитый окрик:

— Я не потерплю этого! Я буду жаловаться его императорскому величеству!..

Меня передернуло от этих слов. Царь давно расстрелян, белогвардейцев вместе с интервентами словно ветром сдуло с лица русской земли, а тут вдруг я слышу такой возглас! Я немедленно обратился за разъяснением к первому подвернувшемуся в коридоре человеку. Это была курьерша какого-то учреждения, пожилая и бойкая женщина. Она сообщила мне:

— Слепой адмирал у нас тут бушует. Поживете здесь — не то еще услышите.

То, что я узнал от других, а потом и сам увидел, было похоже на бред. Моим соседом оказался граф Эверлинг, с которым я когда-то вместе плавал на броненосце «Святослав». Все во мне всколыхнулось при воспоминании об этом человеке. Поэтому, когда я узнал, кто мой сосед, меня особенно заинтересовало, что стало с ним теперь.

Но только на второй день я увидел его. От того графа, холеного красавца, какого я знал на своем судне, ни-

чего не осталось. Это был длинный скелет, обтянутый серой сморщенной кожей. На нем, как на колу, висел замызганный военный сюртук. Судя по одежде, очевидно, до революции он был очень полнотелым. У него до неузнаваемости было изувечено лицо: одна ноздря разорвана, щеки и подбородок в шрамах, вместо бороды — клочья седой шерсти, вместо глаз — красные язвы. При нем жила его дочь Тамара Леопольдовна. Живя у графа вестовым, я видел ее лишь один раз. Она была тогда грудным ребенком. Теперь она выросла и оформилась в довольно стройную блондинку с голубыми страдальческими глазами. Может быть, революция так повлияла на нее, но в ней не было никакой надменности. Она подкупала всех нас своей простотой. Когда я познакомился с ней ближе, она рассказала мне все подробности о своем отце.

Во время войны граф «Пять холодных сосисок» был произведен в контр-адмиралы. Незадолго до революции тот корабль, на котором он плавал, подвергся обстрелу немецких судов. Один из неприятельских снарядов разорвался около боевой рубки. Корабль мало пострадал, но находившийся в этот момент на мостике граф был тяжело ранен. Осколками ему выбило оба глаза, искоыряло лицо, изувечило пальцы на руках. Кроме того, он абсолютно лишился слуха. Графа лечили лучшие специалисты. Раны его зажили, но он при полном здравом уме остался на всю жизнь калекой: слепым, глухим и с плохой осязаемостью пальцев.

Февральская революция застала его в таком состоянии. Пришли к нему в особняк вооруженные солдаты. Графиня назвала их хамами. Они арестовали ее и увели с собой. Граф и его дочь были оставлены. Он не знал об отсутствии жены, как не знал и о совершившейся в стране революции. Ни рассказать ему об этом, ни дать прочесть было нельзя.

Пока граф не был ранен, он прочно обретался на земле и никогда не думал об изменчивости судьбы. И вдруг все это пошло прахом. Богатство, почет и слава исчезли. Жизнь, многокрасочная и многозвучная, кудато провалилась. Он познавал ее лишь частично через вкус и обоняние. После февральской революции граф продолжал жить в собственном особняке и не замечал особой перемены в своем быту. Он спал на чистых простынях, употреблял пищу, приготовленную лучшими



поварами. С ним неразлучно находилась дочь, до болезненности преданная своему отцу. По каким-то признакам он узнавал ее,— может быть, по тому, что она была ростом ниже матери. Случалось, что он вспоминал о жене:

— Луиза, куда ты исчезла? Вероятно, я стал противен тебе?

К нему подходила дочь. Ее слезы приводили его к диким догадкам:

— Если бы Луиза умерла, то я присутствовал бы при ее погребении. Мой нос не мог бы не почувствовать ладана. Просто эта женщина сбежала от меня...— И, повысив голос, он резко выкрикивал: — Лишить ее наследства! Тамара, слышишь? Из моих капиталов не давать ей ни копейки.

Тамара вырывалась из объятий отца и зажимала уши, чтобы не слышать его страшных слов. Они вонзались в ее мозг, как шипы, и причиняли нестерпимую боль. Но ни она и никто другой не могли объяснить графу, что произошло в его семье, а также и во всем государстве. И дочь в отчаянии металась из одной комнаты в другую, не находя себе нигде покоя. Судя по ее рассказам, трудно было решить, кто из них переживал более тяжелую трагедию.

После Октябрьской революции графский особняк был взят под какое-то учреждение. Дочь увезла отца на Васильевский остров и поселилась с ним в одной комнате. Он принюхался к воздуху и сморщил нос.

— Смрадом пахнет. Что это значит? Мы попали в какую-то конюшню. Я не могу здесь жить.

Дочь только всплескивала руками.

В этот же день она сама сварила на примусе похлебку. В обед кушанье было подано на стол. Дочь всунула отцу в одну руку ложку, а в другую — кусок полусырого хлеба. Граф попробовал хлеб — выплюнул, попробовал похлебку — тарелка полетела со стола на пол и разбилась. Он рассвирепел:

— Мне дают такую гадость! Это — издевательство! Для меня приготовили такое мерзкое кушанье, какое не будет есть ни один мужик!

Дочь в испуге смотрела на отца, а он ударил кулаком по столу и тоном властелина распорядился:

— Тамара! Сейчас же скажи управляющему, чтобы он немедленно рассчитал главного повара. Это обнаг-

левший жулик. Он, вероятно, думает, что если я ослеп, то мне можно подсунуть всякую дрянь. Нанять нового повара!

Граф немного подумал и заговорил более спокойно:

— А пока пусть сам управляющий быстро съездит на машине в ресторан Кюба за обедом. Я не знаю, как ты, но я хотел бы из холодных закусок — зернистой икры и страсбургского паштета. А что бы из горячих блюд нам придумать? Я давно не ел стерлядь паровую. Если ее случайно не окажется, то можно заменить форелью гатчинской, соус риш. Ты, наверно, не будешь возражать, если заказать эскалоп дикой козы, соус кумберлан. Из сладких блюд в этом ресторане хорошо готовят парфе маркиз, пти буше. Такое кушанье и тебе понравится. Оно делается из сбитых сливок с ликерами, прибавляются сюда ломтики апельсина и свежая малина.

Дальше дочь не могла слушать отца и, ломая руки, выбежала из комнаты. Для нее тарелка пшенной похлебки была теперь дороже всех этих блюд. А он, ничего не понимая, что происходит кругом, никак не мог отказаться от прежних привычек. Но как, какими средствами объяснить ему, что он теперь уже не граф и не адмирал и что от громадных капиталов у них остались жалкие крохи?

С этого дня положение графа резко стало ухудшаться. Тамара измучилась с ним, извелась. Наступили холода. Соседи научили ее поставить в комнате маленькую железную печку — «буржуйку». Такая печка потребует мало дров. Правда, тепла она немного даст и готовить на ней пищу неудобно, но жить можно — не замерзнешь. Тамара так и поступила. Она запаслась на зиму дровами и, подражая соседям, сложила их у себя в комнате, потому что все обитатели дорожили ими не меньше, чем сахаром. Она бегала на рынок за продуктами. Пока у нее были деньги, она легко справлялась с маленьким хозяйством. Но они скоро вышли, и наступили тяжелые дни. Сначала нужно было что-нибудь продать из своего добра: серебряные ложки, вилки, подстаканники, золотые вещицы, платья, чулки, туфельки. А потом уже на вырученные деньги она приобретала продукты. Иногда Тамара занималась товарообменом, но ее, непрактичную в жизни, часто обманывали: за дорогую вещь она приносила домой полпуда мороженого картофеля.



Временами не было для графа даже простой пшенной каши. Его кормили каким-нибудь жиденьким перловым супом без навара или щами из кислой капусты. По утрам уже не подавали ему кофе мокко с душистыми томлеными сливками, не подавали сливочного масла и нежных слоенок. Все это теперь заменялось морковным чаем с сахарином и неочищенным картофелем. Наголодавшись, он выпивал и съедал все, что попадалось под руки, но не переставал протестовать.

— Я все-таки не могу понять, что случилось? Почему меня держат в холоде и голоде? Тамара! Сейчас же соедини меня по телефону с премьер-министром. Нет, ты лучше сама поговори с ним. Передай ему от моего имени, чтобы он немедленно распорядился расследовать все мои дела. Виновники пойдут под суд.

Граф сидел на диване и ждал, когда его распоряжения будут выполнены. Никто к нему не подходил. Он терял терпение и начинал проклинать всех на свете. Так продолжалось и после гражданской войны.

Мне жалко было его дочь, своими душевными качествами совершенно непохожую на отца. Страдая из-за него, она постепенно увядала, как надломленная ветка. Из прежних ценностей все у нее было продано, все проедено. Оставалась лишь одна золотая брошка с бриллиантом. Тамара берегла ее как память о своей матери. Но затем и с этой брошкой пришлось расстаться.

Чтобы облегчить тяжелую участь Тамары, я задался целью как-нибудь сообщить графу, что в России произошла революция. Пусть он поймет хоть одно это слово. И я изо всей силы произносил его то в одно ухо графу, то в другое. Напрасны были мои старания. Он только откидывал в сторону голову и заявлял:

— Тамара, зачем ты щекочешь в моих ушах?

И вот однажды осенила меня блестящая мысль. Я вспомнил, что граф хорошо знал азбуку Морзе и преподавал ее на броненосце «Святослав» всем сигнальщикам. Это было его единственное достоинство. Если только он не забыл эту азбуку, то при помощи ее можно передать ему что угодно. Я радовался своей догадке, обрадовалась и Тамара, когда узнала об этом от меня. Я разыскал знакомого радиста. Дочь усадила отца на диван и сама села рядом с ним.

— Тамара,— сурово заговорил граф, ощупав ее голову.— Я без тебя все время думал: очевидно, все люди

превратились в сплошных подлецов. Почему не исполняются мои приказания?

В это время радист постучал пальцем по голове графа.

— Как, азбука Морзе? — воскликнул он.— Как же это до сих пор никто не догадался применить ее для разговора со мною? Наконец-то передо мною вскроется вся правда. Я слушаю.

Радист начал выстукивать фразы. Граф приоткрыл рот и запрокинул голову. Его безглазое лицо приняло выражение напряженного ожидания. Я и Тамара с волнением следили за ним, а он медленно, словно по складам, произносил слова:

«В России про-изо-шла ре-во-лю-ция».

Он дернулся и задрожал.

— Революция? Не может этого быть! Или я не понял?

И опять произносил слова, выстукиваемые радистом:

«Да, да, ре-во-лю-ция. А те-перь в России уста-новлена со-вет-ская власть. Иму-ще-ства всех ка-пи-та-листов кон-фи-ско-ва-ны».

Граф закрутил головой.

— Позвольте, позвольте! Что за чепуха такая! Какая это может быть советская власть? Да такой власти нигде и в мире нет! И кто ей дал право распоряжаться моими капиталами?

Радист выстукивал, и граф, покрываясь холодной испариной, повторял его слова:

«Со-вет-ской вла-сти это пра-во дал народ, тру-да-ми ко-то-ро-го соз-даны все ка-пи-та-лы».

Граф завизжал, точно ужаленный:

— А где же император?

И сам себе, повторяя передаваемые слова радиста, ответил:

«Им-пе-ра-тор Ни-ко-лай Вто-рой каз-нен».

Граф сжал кулаки и ринулся вперед, словно в атаку. Он закружился по комнате, налетел на стол и, опрокинув его, с грохотом упал на пол. Зазвенели осколки разбившейся посуды. Граф быстро вскочил и остановился среди комнаты. Его безглазое лицо судорожно задергалось. Он вытянул вперед руки, скрючил пальцы, словно намеревался кого-то схватить, и, задыхаясь, кричал:

— Император казнен! Мои капиталы конфискованы!

Его дочь в испуге забилась в угол. Я и радист отошли



к двери. Граф бесновался и, словно трагик на сцене, повышал голос. Больше нам нечего было делать здесь. Я сказал его дочери:

— До свидания, Тамара Леопольдовна. Теперь ваш папа узнал все.

В этот день в комнате до вечера был слышен шум. Неожиданной новостью граф настолько был ошарашен, что выкрикивал какие-то несуразные слова, бесновался и кому-то угрожал. К полуночи он замолчал — по-видимому, его уложили спать.

Я сидел у себя в комнате за столом и зубрил уроки. Вся наша многолюдная квартира погрузилась в сон. Часа в два за стеной послышалась возня, потом что-то грохнулось, и два голоса, мужской и женский, смешались в смертельной тревоге.

Все обитатели нашей квартиры поднялись на ноги.

Я первый бросился к соседней комнате. Дверь была заперта. Ударом плеча я вышиб ее и включил электричество. То, что я увидел, обожгло мое сердце. Отец и дочь были в одном белье, и между ними на полу происходила борьба. Обезумевший, он, по-видимому, принял ее за другого человека. Одной рукой он держал Тамару за волосы, а другой — наносил ей удары. Она яростно отбивалась от него. На мгновение я оцепенел от этой отвратительной сцены, но тут же бросился к графу и отшвырнул его в сторону.

При помощи других мужчин я связал графу полотенцами руки и ноги и уложил его на кровать. Пока я это делал, он бормотал, как в бреду:

— Где же высшая справедливость? Дайте мне бога! Я вырву у него седую бороду...

Потом мы еще долго обсуждали, что делать с графом дальше. Для дочери он стал опасным, а нам он всем надоел. На следующий день я принял решительные меры к тому, чтобы отправить его в психиатрическую больницу.

Время, как говорится, излечивает самые глубокие раны. Так случилось и с Тамарой: она оправилась от пережитых ею потрясений и стала хорошей преподавательницей иностранных языков. Жизнь свое берет и выкидывает иногда удивительные неожиданности. Кто мог бы заранее сказать, что Тамара выйдет замуж за того радиста, который при помощи азбуки Морзе разговари-

вал с ее отцом? Теперь она имеет двух детей, изредка бывает у нас и никогда больше не вспоминает о своем родителе.

## VIII

— Следует рассказать тебе еще об одном человеке, с которым я плавал на «Святославе». Это наш судовой священник. Из монахов он, как и на других кораблях. Звали его отец Пахом. С виду — ростом средний, но широкий и какой-то весь сухожильный, все лицо в густой бороде мышиного цвета. Голубые глаза смотрят на всех то грустно, то умилительно-ласково. Голос у него низкий, утробный, но во время церковной службы он подает возгласы почти дискантом. Вероятно, он думает: так проникновеннее у него выйдет и скорее тронет матросские сердца. Но получается смешно: если не смотреть на него, то кажется, что это женщина справляет службу.

Насчет грамоты отец Пахом был слабоват. На это мало внимания обращают в монастырях. Лишь бы молитвы знал и кое-как в священном писании разбирался. Но по части отзывчивости не скоро найдешь другого такого священника. Вестовой нашего старшего офицера Яков получил с родины письмо, и загрустил парень. Ходит сам не свой, как потерянный. Выяснилось, что на родине у него сгорел дом и погибла лошадь. Об этом дознался отец Пахом. Попросил у вестового письмо, прочитал его внимательно. И что же ты думаешь? Отвалил ему сорок рублей и наказал, чтобы он немедленно перевел их погорельцам — своим родителям. А ведь у судового священника, кроме жалования, никаких иных доходов нет. Помогал он и другим матросам. Вообще это был настоящий бессребреник.

В кают-компании он питался вместе с офицерами. Но по средам и пятницам заказывал себе отдельное кушанье — постное. Водки не пил совсем, употреблял только кагор, и то очень умеренно.

Как-то днем заглянул я в кают-компанию. Из офицеров никого там не было: кто на занятиях, кто на вахте. Лишь один отец Пахом сидел за столом и скучал. Увидел он меня и подозвал к себе.

— Откуда, чадо, ты родом? — спросил он.

— Из косопузых происхожу,— шуткой ответил я.



— Так, значит, Рязанской губернии. Земляк мой. Очень приятно.

Он заулыбался и начал допрашивать, какого я уезда, какой волости. А когда я назвал свое село, он даже вскочил.

— Чадо ты мое! Да мы с тобой из одних мест! Моя деревня Перепелкино. Две версты от вашего села. Вот радость какая! Ах, боже мой! Да и встретились-то где? В чужих государствах...

Отец Пахом жал мне руку, хлопал по плечу и не знал, как выразить свой восторг.

— Ведь моя покойница жена была из вашего села. Дочка Якова шерстобита, Дарья. Может, слыхал?

— Знаю. Через пять дворов от нас шерстобит этот.

— Дай бог ей царство небесное. А ты не сын будешь Петра Псалтырева?

— Да.

— Знавал я твоего отца. На всю волость прославился — псалтырь хорошо читал над покойниками.

Отец Пахом обрадовался еще больше, точно встретился с родным сыном. Тут же он пригласил меня в свою каюту, угостил кагором и сам выпил. Начались разговоры о знакомых, о деревенской жизни, об урожаях в наших местах. Монашеская ряса не заглушила в нем душу крестьянина, мыслями он тянулся к земле, как жаждущий к ручью.

С этого дня и началась у меня с ним дружба.

Однажды отец Пахом рассказал мне, как и почему он променял крестьянскую жизнь на монастырскую. В миру, до пострижения в монахи, он носил другое имя — Григорий. Был у него закадычный друг — сосед Василий. Оба они увлекались рыбной ловлей. В полую воду захватили они с собой сети и отправились верст за восемь. А там река хоть и небольшая, но заболочена и кругом много озер. Весной она разливается местами версты на две. Всегда оба приятеля промышляли там рыбной ловлей. И своя лодка у них там была,— неважная, можно сказать, душегубка. На этот раз переплыли они на другой берег и очень удачно перехватили там сетями протоку, которая соединяла озеро с рекой. Рыба, как шальная, лезла в сети. Словом, к вечеру второго дня у них добычи было пудов пять. И начался у них тут спор. Василий доказывал, что ночью опасно плыть через реку на такой плохой лодчонке. А тут еще небо заволок-

ло облаками, подул северный ветер, в воздухе запорхали снежинки. Долго ли до беды — дети останутся сиротами. Лучше было бы переночевать у костра, а утром, с рассветом, отправиться в путь. Григорий настаивал на своем; немедленно нужно домой, иначе может рыба испортиться. Поплыли. Ветер все усиливался, тьма густела. Григорий, сидя на корме, управлял лодкой. Через ее борта захлестывали волны. Василий еле успевал вычерпывать воду. Оставалось преодолеть еще какую-нибудь четвертую часть пути, но тут-то и случилась беда. Лодка обо что-то ударилась и опрокинулась. Григорий успел одной рукой ухватиться за днище, а в другой даже удержал весло. Василий что-то крикнул и сразу исчез в темноте. Больше он не издал ни одного звука, как будто и не было человека. Григорий уселся верхом на днище лодки и веслом стал направлять ее к берегу. Это продолжалось невероятно долго. Без шапки, весь мокрый, с опущенными в ледяную воду ногами, он дрожал, как в лихорадке. Одежда на нем и волосы стали мерзнуть. Но он не обращал на это внимания. Он кричал своему другу, звал его — никакого ответа. Сам он спасся, а Василия нашли через несколько дней далеко от этого места — к берегу труп прибило.

Это происшествие перевернуло всю мужицкую жизнь Григория. Начались мучения. Днем и ночью все ему слышался упрек Василия:

— Говорил я тебе — не послушал. Погубил меня. Осиротил моих деток...

И в народе пошел слух, будто Григорий убил своего друга и бросил в реку. Было следствие. На трупе не нашли никаких следов насилия, а нехороший разговор в деревне не унимался. А тут еще жена умерла от родов первого ребенка. Это совсем доконало Григория. Работа валилась из рук. Совесть жгла его душу, и не стало ему житья от черной тоски.

На этом месте рассказа у батюшки задрожал голос, из глаз, словно сверкающие бусины, покатились слезы. Он вынул из кармана платок, утерся им и продолжал свое повествование:

— Бросил я свою деревню и пошел бродить по монастырям. Много пришлось мне земли измерить, пока я в одном из монастырей не застрял навсегда. Настоятелем был у нас архимандрит Иосиф. Он сам происходил из мужиков и любил, когда крестьяне поступали в послушники. По его совету я и постригся и стал носить имя Пахом. При Иосифе нам жилось хорошо. А когда он умер, к нам прислали из другого монастыря викарного епископа Авдея. Ну, он и показал себя. Монахи так и прозвали его Авдей-Злодей. Келейником он выбрал себе сплетника и ябедника. Через него он все знал про монахов: кто что делает, кто что любит и кто чего боится. Стал он привлекать в монастырь купцов и горожан. Уговорил одного образованного человека постричься в казначеи. А сам Авдей-Злодей, сытый, холеный, ходит в шелковой рясе, руки душит, волосы завивает. При нем доходы монастыря увеличились. Нравился он купчихам и разным барыням, и они стали здорово жертвовать. Но для монахов жизнь ухудшилась.

Слушал я тогда отца Пахома и удивлялся. Оказывается, и в монастыре не очень свято проходит жизнь. Так же как и на воле, она переплетается и с доносами, и с щегольством, и с разными интригами, и с ненавистью к своему духовному начальству.

— Наш монастырь на берегу озера стоит и обнесен высокой и толстой каменной стеной,— продолжал рассказывать отец Пахом.— На ней устроено много башен, и в каждой башне имеются комнаты. Вот туда-то Авдей-Злодей и начал сажать провинившихся монахов. Покажется ему, что монах в церкви зевнул, ну, значит, иди на целую неделю в башню. Что только не придумывал наш архимандрит! Если иной из нашей братии слабоват насчет спиртного, то он прикажет не давать ему три дня пить, а на четвертые сутки вместо воды пошлет ему бутылку водки. Много разных номеров он выкидывал. Из-за Авдея-Злодея, прости господи душу мою грешную, я и попал на корабль. Про меня он узнал, что я покойников боюсь. Нехорошо это для монаха, а поделать с собой ничего не мог. Страшно мне на них глядеть. Кажется, что мертвец подмигивает мне и дышит. Вот и стал Авдей-Злодей посылать меня по покойникам читать. Умер у нас один монах. Гроб вынесли в летнюю церковь, а мне приказали псалтырь читать всю ночь. Взял я с собой палку и приставил ее к аналою. Оружие не оружие, а все-таки не так боязно. Дверь церкви я распахнул, чтобы меньше мертвецкий запах чувствовался, а летняя ночь прохладой дышит. Почитаю и замолчу, задумаюсь о бренности нашей жизни, потом опять читаю и опять замолчу, на покойника посмотрю. Лицо его при-

крыто парчой, по-нашему «воздух» называется. И все мне кажется, что парча шевелится. Вдруг сзади голос раздается: «Проснись, негодяй!» Я от страха даже подпрыгнул, как мяч, и рассудок мой помутился, словно от затмения. Но все-таки палку я схватил, обернулся и трахнул ею по темной фигуре. Фигура сначала упала, потом вскочила и бегом через дверь скрылась. Оказалось, что это приходил Авдей-Злодей посмотреть, хорошо ли я читаю и не ушел ли из церкви. Утром он позвал меня к себе. Не хотелось ему срамить себя, и боялся он, что я расскажу про это событие монахам. Нужно было ему от меня отделаться. Начал он такими словами: «Посылаю я тебя, согласно запросу нашего архиепископа Ярославского, для обуздания страха твоего, недостойного монаха, в плавание на корабли царского флота. Иди и свято выполняй свой долг. Учи матросов вере святой, как отец духовный и пастырь чад христианских». И я поехал в далекие края. Ведь, кроме Ростова Великого, я ничего не видел. А тут я побывал и в Москве белокаменной, и в столичном городе Петербурге, и в крепости Кронштадт, и повстречался с знаменитым отцом Иоанном Кронштадтским. Теперь не страшен мне Авдей-Злодей, потому что я подчиняюсь протопресвитеру военного и морского духовенства. Я очень доволен своей судьбой.

Пахом замолчал.

Для него путешествие было большой радостью. Он увидел свет, жизнь больших городов, корабли, моря, иностранные порты.

Мы довольно часто беседовали с отцом Пахомом. Меня интересовала монастырская жизнь и хотелось досконально познать моего друга: какие мысли у него, чем его душа занята. Я спрашиваю:

— Ну, как, батюшка, женщины для монахов — большой соблазн?

— Ох, силен дьявол, силен! И многие из нашей братии не выдерживают борьбы с ним и впадают в грех. На себе я это испытал. Стоишь иной раз в церкви, а тут какая-нибудь молодуха так взглянет на тебя, точно пламенем всего охватит. В голову горячая кровь ударит,— и все мысли перемешаются. Забудешь все молитвы. А потом ночью ляжешь спать на койку, и тут начинает



бес работать. Он тебе разных особ представляет и все в разных видах. И крутишься, переворачиваешься ты, точно не на койке, а на раскаленной плите находишься. Случалось, вцепишься в свою бороду руками и стонешь, как перед смертью. И все-таки ни разу я не поддался дьяволу.

Однажды батюшка совсем разоткровенничался со мною:

— Одно у меня плохо, Захар,— иногда сомнения мучают насчет, скажем, чудес. Как это можно мертвых воскрешать? И почему раньше это могли делать, а теперь нет? Или вот еще взять пророка Елисея. Мальчики стали называть его лысым. Что же тут особенного? Он и был лысым. А он рассердился, проклял их, напустил на них медведицу, и она растерзала сорок детей. К чему же такая жестокость? А как Христос относился к детям? Он сказал взрослым: «Если вы не будете, как дети, то вы не наследуете царство небесное». Значит, пророк Елисей неправильно поступил, а за неправильные дела что бывает, а?

Я согласился с ним и в свою очередь сказал:

— Не в этом только дело, батюшка. А беда в том, что вся религия наша построена на барышах, на процентах.

— То есть как это понимать тебя? — вскинул брови отец Пахом.

— Очень просто. Купец продает товар и старается как можно больше нажить процентов. А мы для чего угождаем богу, всячески преклоняемся перед ним? Тоже для того, чтобы нажить проценты. Но какие проценты? Мы сорок — пятьдесят лет промучаемся на земле, зато на том свете вечно будем блаженствовать. Барыш явный. Не так ли?

Отец Пахом рассердился на меня:

— Ты это брось. Такие еретические мысли я не хочу даже слушать. Вредные они.

— Но вы тоже высказали свои сомнения.

— Верно. Не отрекаюсь. Но, может быть, через сомнения я приду к настоящей вере, непоколебимой и крепкой, как гранит. Такие случаи бывали.

Он подпер голову руками, задумался. Молчал и я. Но вдруг он заговорил с тоской:

— Да, Захар, часто я думаю о себе. Может быть, зря я променял свою долю мужицкую на монастырскую.

Почему бы мне не жениться второй раз? Были бы у меня дети, ворочал бы я с ними землю и пожинал бы плоды от трудов своих. Иногда смотрю, как в поле мужики и бабы работают, и становится завидно мне. Знаю, грех завидовать, а вот не могу иначе. Силы во мне много.

— А вы, батюшка, бросили бы монастырь и вернулись к земле.

— Да ты что, чадо, ошалел? Я посвятил себя служению богу и вдруг нарушу обет. Какая цена такому человеку?

Кроме меня, отец Пахом крепко сдружился с лейтенантом Подперечицыным. Этот лейтенант, как только увидел батюшку в кают-компании, сейчас же подошел к нему под благословение и облобызал его руку. И каждый день он так поступал при встрече с ним. В кают-компании, как принято вообще, все офицеры называют священника на «ты». Подперечицын же обращается к нему на «вы». В свободное время они всегда сидят вместе и разговаривают о церкви, постах, о святых мучениках. Подперечицын часто заходит к батюшке в его каюту.

Отец Пахом с умилением отзывается о нем:

— Благочестивый офицер. В таких ожиревших телесах, а какая возвышенная душа! Вот образец настоящего христианина. От него, вероятно, никто не слышал ни одного скверного слова. И веру православную блюдет, и священное писание знает, и церковь чтит лучше многих монахов.

Я в душе смеюсь над похвалами батюшки, но не хочется подрывать его доверие к этому лейтенанту. Думаю, что дальше будет? А дальше получилось что-то непонятное. Приносит Подперечицын книгу корпусного священника «Моряк-христианин» и давай отца Пахома уговаривать проповеди произносить. Для команды это будет большая польза. Но тот начал возражать:

— Да что вы... Я еще никогда не говорил проповеди. Боюсь запутаться в мыслях.

— А вы заранее напишите то, что хотите сказать. Я проверю, где не ладно, поправлю.

Такое предложение отец Пахом отверг.

— Не могу читать по бумажке. Я уж лучше как-нибудь скажу от души, как вдохновит меня господь.

Выбрали из книги «Моряк-христианин» рассказ о том, как один монах напился и что из этого вышло. Распалился он от вина и начал преследовать одну женщину. За нее вступился ее спутник. Монах пришел в ярость и убил этого спутника. За это попал в тюрьму. Для моряков такая проповедь должна быть самой поучительной: «Не опивайтесь вином, ибо в нем есть блуд».

Целую неделю отец Пахом готовился к этой проповеди и в ближайшее воскресенье разразился. Оказалось, то, что он вычитал из книги, он переделал по-своему и сразу ошарашил свою паству. Матросы ухмылялись, а офицеры выбегали из церкви, чтобы на свободе похохотать. Старший офицер растерянно смотрел то на батюшку, то на командира. Лезвин хмурил брови. Только Подперечицын держался иначе: он весь подался вперед и с таким молитвенным выражением на лице смотрел на батюшку, точно слушал откровение самого бога. Отец Пахом разошелся, вдохновился, воображение разыгралось у него. Он старался как можно ярче показать зазорное поведение пьяного монаха и гремел:

— И видит он: идет женщина, хорошо и богато одетая. Под руку ее ведет мужчина. Он — тоже приличный господин. Но спьяну монах ничего не разобрал и подумал грешно об этой честной женщине. А ведь дьявол не дремлет и пользуется тем, что пьяному человеку легче внушить поганые мысли. Посмотри, мол, какая на ней шляпка, какое чудесное лицо под вуалью, от ее тела пахнет дорогими духами. А какие красивые ножки в туфельках...

Командир мигнул старшему офицеру и, когда тот подошел, что-то шепнул ему. Старший офицер на минуту задумался, а потом быстро вышел на верхнюю палубу.

— И взъярился на эту честную женщину пьяный монах,— продолжал батюшка.

Но в это время послышались звуки боевой тревоги. Все бросились бежать по боевому расписанию. И тут же разошлись по сигналу «отбой».

Командир был не в духе. Приказал мне позвать отца Пахома. А когда тот явился, он резко сказал:

— Никаких больше проповедей! Прошу прекратить эти выступления.

Отец Пахом потом жаловался мне:

— Я только что вошел во вкус, а он прекратил. Ну, прямо как Авдей-Злодей.

Пробовал я утешить его, но он только отмахивался рукой.

Подперечицын снова подкатился к нему.

— Командиру не понравилась ваша проповедь, но матросы остались очень довольны. И вот, я думаю, не лучше ли вам заняться с командой духовными беседами. Знаете, для желающих, в вечернее время, по субботам.

Он так горячо начал убеждать отца Пахома, точно от таких духовных бесед зависело счастье самого Подперечицына. И батюшка согласился с ним.

Обсудили и выбрали текст «Несть власти, аще бо не от бога». Доложили старшему офицеру. Тема ему понравилась.

В субботу, в назначенный для беседы час, носовой кубрик оказался битком набит матросами. Пришли и офицеры. Временами заглядывал туда и старший офицер.

Отец Пахом сидел в раздумье и поглаживал свою густую бороду. Потом он встал, дернул себя за наперстный крест и сказал:

— Во имя отца и сына и святого духа, приступим, братия.

Он заговорил о повиновении начальству и о том, что всякое начальство поставлено волей небесной. Выходило это у него вяло и скучно. Матросы начали позевывать. Но старший офицер, который на минуту спустился в кубрик, посмотрел на отца Пахома одобрительно и ушел. Подперечицын обрадовался.

Пахом понемногу начал увлекаться. Чем дальше, тем сильнее гремел его басистый голос:

— Что сказал Христос в нагорной проповеди? Он сказал: любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, а отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.

У Пахома ощетинились усы и борода, загорелись глаза. Он встряхивал гривой густых волос и продолжал, словно грозный библейский пророк:

— Про кого же это говорил Христос? Кого он имел в виду? Кого вы в душе считаете врагами? Кто ненавидит и проклинает вас? Кто может ударить вас по щеке, и не попасть за это к мировому судье? Спрашиваю я — кто? Конечно, начальство ваше...

Матросы радовались таким словам, возбужденно подталкивали друг друга,— правильно, мол, говорит. Подперечицын смотрел на батюшку и в знак согласия кивал ему головой. Остальные офицеры покашливали.

Тут раздался властный голос старшего офицера:

— Время для беседы вышло. Команде разойтись!

Матросы весело расходились, довольные беседой.

Ну, как понять в этом деле Подперечицына? Сам он не признавал ни бога, ни черта. В этом я был убежден. Для чего же тогда притворяться верующим и петь только церковные песнопения? Для чего подводить отца Пахома, этого честного и совестливого человека? У меня создалось такое впечатление, как будто все это проделывал не лейтенант, а озорной бес.

Старший офицер сказал Подперечицыну:

— Зайдите ко мне в каюту.

Ну, говорят, и распек он лейтенанта и приказал ему прекратить дружбу с Пахомом. Батюшка был удручен. Только со мной он иногда отводил душу. По утрам и вечерам он выходил на верхнюю палубу и читал перед обеими вахтами судовой команды положенные молитвы. Он благословлял матросов, по-монашески кланялся им и уходил в свою каюту, где погружался в чтение пяти томов «Добротолюбия».

Еще один произошел случай. После него все думали: отцу Пахому конец, отплавал, мол, на кораблях. В воскресенье командир распорядился начать обедню, а сам каким-то судовым распорядком надолго задержался на верхней палубе. Покончил он со своими делами и вместе с боцманом начал спускаться по трапу. А этот трап у нас расположен недалеко от иконостаса сборной церкви. Командир, очевидно, был очень расстроен. На боцмана ли он рассердился, или еще на кого, но только в церкви многие явственно услышали его ужасные ругательские слова. А главное, он как бы отвечал на возгласы священника. Старший офицер беспокойно задергал плечами. Офицеры заулыбались, матросы начали сморкаться, а Подперечицын просиял весь, точно получил богатое наследство.

Отец Пахом побледнел и сверкнул глазами. Вдруг он высоко поднял крест, сделал только два шага и остановился. И все услышали его громогласный выкрик:

— Замолчи, нечестивец!

Офицеры и матросы были поражены смелостью отца Пахома.

Наступил самый напряженный момент. Лица у всех стали серьезные. Все смотрели на командира и ждали, как ждут после сильной молнии удара грома. Но Лезвин прошел вперед и стал на свое место, впереди офицеров, как будто ничего не случилось.

— Продолжайте дальше богослужение.

Отец Пахом точно опомнился от кошмарного сна. Из его уст, как это обычно у него выходило, полились заунывные возгласы.

Вечером, за выпивкой, я осторожно начал хвалить отца Пахома. Командир прервал меня:

— Зря стараешься, Захар. Если бы наш поп и не такой был хороший, как ты говоришь, я все равно не стал бы его преследовать. Сам я виноват. Лучше налейка мне перцовки. Эта водка благоприятно действует на пищеварение.

Вот как все дело обернулось,— потому что умный и справедливый был командир.

Я плохо спал эту ночь, взволнованный рассказами своего старого друга Псалтырева. Воспоминания о прошлом охватили меня. Я лежал с закрытыми глазами, и передо мной одна за другой возникали картины пережитого. Вспоминались даже незначительные случаи из той далекой жизни. Но ярче всего видел я коренастую и сильную фигуру самого Захара Псалтырева. В полудреме я слышал его голос, рассказывающий различные случаи из своей жизни. Этот человек, вышедший из гущи народа, благодаря своему природному уму, любознательности, труду и упорству достиг той цели, которая в дни его юности и самому ему казалась недостижимой. Революция помогла ему выявить свои врожденные таланты, она открыла ему широкую дорогу, идя по которой вестовой Захар Псалтырев превратился в капитана 1-го ранга Захара Петровича Куликова. Я думал и о том, сколько в нашем флоте новых людей, занимающих высокие командные посты, людей, вышедших из рабочих семей, из далеких глухих сел и деревень. Я с нетерпением ждал следующего дня, чтобы услышать рассказы Куликова об его участии в гражданской войне. Мне очень хотелось знать, за что он получил ордена, где и при каких обстоятельствах был ранен. Зная его смелость и твердый характер, я не сомневался в том, что немало подвигов



совершил он в то далекое кипучее время, ставшее теперь уже историей.

Летняя ночь неслышно плыла над морем, на смену ей уже приходило утро. Я уснул, когда стекло иллюминатора начало светлеть от нарождающейся зари.

Но следующий день опрокинул все мои ожидания. Я получил телеграмму: неожиданные и срочные дела вызывали меня в Москву. Когда я сообщил об этом Куликову, он разочарованно развел руками:

— Ну вот... А я думал, что ты поживешь... Столько лет не видались и так скоро расстаемся.

Он был искренне опечален. Я поспешил утешить его:

— Мы расстаемся ненадолго, и теперь мы уже не потеряем друг друга.

Мы вместе позавтракали в салоне. Я подарил ему несколько своих книг, сделав на них дружеские надписи. Мне приятно было видеть, что этот скромный подарок растрогал Захара Петровича. Крепко пожимая мне руку, он благодарил меня и говорил:

— А чем я могу отдарить тебя?.. Хотя... Подожди!..

Куликов ушел в каюту и спустя несколько минут вернулся с тоненькой и потрепанной книжечкой в руках. Он заложил руки за спину, как бы пряча от меня книжку, и сказал:

— Я хочу подарить тебе то, что очень дорого мне, что напоминает мне мою юность, любовь и первые годы нашей дружбы.

И он протянул мне книжку. Это была грамматика.

— Эту грамматику мне принесла Валя, когда я был еще вестовым, и помогала изучать ее. Помнишь, когда-то я рассказывал тебе, как ночами я сидел на кухне и зубрил грамматические правила. Иногда Валя диктовала мне, а я писал. Эта грамматика помогла мне объясниться в любви с будущей моей женой. Когда я впервые поцеловал ее, то от счастья у меня слезы навернулись на глазах. Я так растерялся, что не мог сказать ни одного ласкового слова и только выпалил невпопад: «А грамматику я обязательно одолею!..» Как видишь, я сдержал свое слово. А книжку эту сохранила Валя, как воспоминание о тех далеких днях.

Меня растрогал этот подарок не меньше, чем мои книги растрогали командира. Я бегло перелистал потрепанные страницы с помеченными и подчеркнутыми карандашом строками — этой первой ступени лестницы,

по которой упорно и настойчиво поднимался Захар Псалтырев. Я сказал взволнованно:

— Лучшего подарка ты не мог мне сделать!

Катер увозил меня от линкора. Обернувшись, я смотрел на стальную громаду и видел там, на мостике, крепкую фигуру капитана 1-го ранга Куликова. Он махал мне руками...

Вокруг расстилалось море, играющее золотыми всплесками под лучами солнца, море, которое так же близко мне, как и земля родины, которое всегда волнует меня и пробуждает во мне самые лучшие чувства,— море, которое я никогда не перестану любить...[1]



[1] На этом обрывается вторая часть романа, оставшегося незаконченным.

## СОДЕРЖАНИЕ

*Алексей Силыч Новиков-Прибой*

**В БУХТЕ «ОТРАДА»**

Заведующая редакцией *Л. Сурова*

Редактор *Т. Бойко*

Художник *В. Ковынев*

Художественный редактор *Г. Комзолова*

Технический редактор *Т. Павлова*

Корректоры *Т. Нарва, Т. Семочкина*

Сдано в набор 3/IX 1976 г. Подписано к печати 17/I 1977 г. Бумага № 1. Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,66. Тираж 150 000 экз. Цена 1 р. 45 к. Зак. 1055.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». Москва, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.